

**НОВЫЙ
МИР**

10

1933

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
Д Е С Я Т А Я
О К Т Я Б Р Ь

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 3

Отатформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—70101.

Об'ем 14 печ. лист. по 64.000 знак.

Зад. 2053.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Б. САМСОНИДЗЕ. — Салтэ, пьеса	5
2. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Собственность, рассказ	40
3. Янка КУПАЛА. — Над рекой Орессой, поэма, перевод С. Городецкого	46
4. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Человек меняет кожу, роман, книга 2-я, окончание	59
5. В. ЗАЗУБРИН. — Горы, роман, продолжение	111
6. Ал. СУРКОВ. — Гвардеец, стихотворение	121
7. А. БЕЛЫЙ. — Жан Жорес	123

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

8. П. ШИРЯЕВ. — Высокая земля, часть 3-я	134
9. П. ЛУКНИЦКИЙ. — Диванà	151

НАУКА И ЖИЗНЬ:

10. Г. ГАМОВ. — О происхождении элементов	179
11. В. Е. ЛЬВОВ. — Загадка космических лучей	184

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

12. Г. ЛУКАЧ. — Гергард Гауптман остался членом фашистской Литературной академии	202
13. Б. ГРОССМАН. — Писатель и окраина	217

Салтэ

(В ТИСКАХ)

Пьеса в 10 картинах

Б. САМСОНИДЗЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

- | | |
|--|---|
| 1. ГАРСЕВАН — середняк. | 15. КВАНТИЛ — юридивый, сын Илариона. |
| 2. ИОРДАН — 80 лет, отец Гарсевана | 16. КЭТО — техсекретарь комсомольской ячейки. |
| 3. ЕЛИСАБЕТ — жена Гарсевана | 17. ОТАР — секретарь комсомольской ячейки. |
| 4. АМИРАН — комсомолец, сын Гарсевана. | 18. АВТАНДИЛ |
| 5. ЦИРУ — 14 лет, дочь Гарсевана | 19. ВАРЛАМ |
| 6. ЭЛЕПТЕР — председатель колхоза, ра-
бочий. | 20. КАЛЭ |
| 7. ТАРАС — секретарь комячейки. | 21. ДИТО |
| 8. ЭЛИЗБАР — предсельсовета | 22. НИНО |
| 9. ИЛАРИОН | 23. НИКИФОР |
| 10. СОЛОМОН } кулаки | 24. РЕМАНОЗ } середняки |
| 11. КИРИЛЛ — сын Илариона. | 25. НИКО — товарищ Датунии и Хапичии. |
| 12. ЭГНАТЭ — сын Соломона. | 26. ЕЛЕНА — колхозница. |
| 13. ДАТУНИЯ } лодыри. | 27. МЗЕХА — знахарка. |
| 14. ХАПИЧИЯ } | |

Колхозники, женщины и другие.

Картина первая

(Сцена представляет двор с разрушенным забором. Иордан стоит, воздев руки к небу. Соломон причитает, опираясь на палку. Иларион стоит как бы в столбняке.)

ИОРДАН. Если бог захочет наказать человека, так сначала отнимет у него разум. И бог захотел, но решил наказать не одного и не двух, а весь народ, всю страну. Вот почему безумие обуяло всех и все мы на краю гибели. О, горе нам...

СОЛОМОН. О, мой любимый двор, ушло навсегда, кануло в вечность то время, когда я гордо заявлял всем: «Птице, и той не перелететь через мой двор», а теперь?.. Полюбуйтесь. Уничтожили границы, разрушены заборы, все, все сровняли с землей...

ИЛАРИОН. Что творится кругом? Как жить, когда все отняли? Как убедить семью от голодной смерти, как?

СОЛОМОН. Вот этот дуб я посадил сам, чтоб укрываться в его тени, этот забор я строил собственными руками, чтоб спасти огород от свиней. Эти колючки я рассадил сам. А теперь? Все пошло к чорту, все разрушено, уничтожено...

ИОРДАН. Брат не щадит брата, родителей — дети, младший — старшего, и так повсюду? Гибель ждет нас всех, гибель.

ИЛАРИОН. А кто виной всему? Кто губит страну?.. Мальчишки, паршивцы. И зачем, зачем господь все это допускает?..

ИОРДАН. Бог велик и долготерпелив, нам ли, земляным червям, понять его высокие помыслы?..

СОЛОМОН. Где мои поля, что отливали золотом на солнце...

ИЛАРИОН (*подходя к Соломону*). Ухватит, Соломон, ухватит, зачем так убиваться, может быть, все иначе обернется. Вставай, не валяйся.

ИОРДАН. Верно, дед, в причитаниях-то толку мало. Лучше взяться за дело, да, за дело!

СОЛОМОН. Но ведь это же моя земля, — пот мой, кровь моя.

ИЛАРИОН. Была твоей, да сплыла.

СОЛОМОН. А теперь, Иларион, теперь?..

ИЛАРИОН. А теперь? Известно чья.

СОЛОМОН. О горе мне, несчастному.

ИЛАРИОН. Послушай, дед, Иордан рассказывает, что Гарсеван что-то сильно поостыл к коллективу.

СОЛОМОН. Да правда ли это, дедушка Иордан?

ИОРДАН. Правда, правда. Мой-то не послушался старика, одним из первых вступил, а теперь жалеет.

СОЛОМОН. Как так?

ИОРДАН. Слышу, все бурчит: «Мои быки, моя земля», но главное все на порядок жалуются — кто работает, а кто валандается, шарамыжничает, на чужой шею хочет выезжать, не годится такой коллектив.

ИЛАРИОН. Вот оно, гляди: недалеко и до божьей помощи.

СОЛОМОН. Не верится мне что-то.

ИЛАРИОН. И напрасно. Брось ты плакаться. Надо за ум взяться да за Гарсеваном последить, ежели с божьей помощью стена трещину даст, то в трещину клин, а по клину молотом, это уже дело наше, нашего старанья. Так-то, брат, понял?

СОЛОМОН. Не верится мне что-то, ничего не выйдет.

ИЛАРИОН. Выйдет, но раньше надо узнать обо всем, а, может, у них и похуже дело обстоит, вот оно что! А теперь идем. (*Собираются. Уходят.*)

КИРИЛЛ и ЭГНАТЭ (*вваливаются пьяные, поют*). Вова чела, вова сичерчела, вова, вова, вова.

СОЛОМОН. Посмотри ты на наших-то, до какого свинства дошли они.

ИЛАРИОН. Где вы это, милые люди, нализались? Откуда вас несет?

ЭГНАТЭ. А тебе, отец, не все равно, где?

КИРИЛЛ. Чем комсомолам оставить, лучше самим свое добро с'есть, самим.

СОЛОМОН. Для того ли, сынок, я старался, из сил выбивался, чтоб ты в пьяницу да в бродягу превратился, а хотел ведь из тебя человека сделать, человека.

КИРИЛЛ. Отец, пойми ты наконец, что теперь как-раз время паскудников и бродяг. Погляди ты кругом, много ли осталось от твоих трудов. Ну, полюбуйся на свой двор. (*Обращается к Илариону.*) Разве я, дяденька, не прав, что ты скажешь?

ИЛАРИОН. Правильно, парень, правильно. И возразить-то нечего.

ЭГНАТЭ. Так вот, отец, не лучше ли своим добром самим же попользоваться, не так ли Кирилл?

КИРИЛЛ. Так, так. Вову чела. (*Поет.*)

ИОРДАН. Боже мой, и до чего мы дожили.

КИРИЛЛ. Брось, отец, брось. Вову чела, пить и есть, — вот это дело. Разве не так, Эгнатэ?

ЭГНАТЭ. А что же. Комсомолам, что ли, все отдать? Вову чела...

СОЛОМОН. Вот он, сынок-то мой, как распелся.

ИЛАРИОН. Идем, Соломон, идем. Нечего без толку спорить с ними. Пора и нам за дело. (*Уходят.*)

Картина вторая

(*Двор Илариона. Молодежь засыпает межи, разрушает изгороди. Слышно пение.*)

КАЛЭ. Добились-таки своего. Пусть теперь похвалится Иларион Ормоцадзе: «И птице не перелететь через мой двор».

ВАРЛАМ. Птице — не знаю, но человеку и вправду было трудновато попасть к нему, — такой крепкой оградой ни у кого не было.

АВТАНДИЛ. Ни Иларион, ни Соломон не могут без слез смотреть на свое хозяйство. Здорово коллектив их

обработал. Не видать беднякам старого, как своих ушей.

ВАРЛАМ. Вчера при встрече не стерпел он и выпалил: «Нас-то разорить — разорили, но сами-то, что от этого выиграли?»

КАЛЭ. Пусть себе болтает: мели, Емеля, твоя неделя. Ну их к чорту.

ВАРЛАМ. Автандил, затяни-ка песенку, а мы тебе поможем.

АВТАНДИЛ. В огород я заглянул,
Там цветочки перцу.

ВСЕ. Кулакам наш коллектив

Не совсем по сердцу.

АВТАНДИЛ. Все деревья уж

в цвету,

Что зевашь, слива?

ВСЕ. Мы развеем по ветру

Врагов коллектива.

АВТАНДИЛ. За реку загнал

скотину,

Сам искать пошел

сюда.

ВСЕ. Всех лентяев, паразитов

Вон отсюда навсегда.

(Хапичия и Датуния бросают на землю лопаты и садятся.)

КАЛЭ. Что с вами, ребята? Нашли время отдыхать. Сидели ведь только-то.

ДАТУНИЯ. Какое там, дяденька, только-что. У нас спину разломило от работы, а вы — только-что. Ух, чтоб ей! (Хватается за спину.)

ХАПИЧИЯ. Работать — работай, да про себя, брат, не забывай. Вы же знаете, что эта душа для меня... слаще меда. То-то больше часу прошло, как не курил. (Закуривает.)

НИКО. Если на то пошло, почему бы и мне не передохнуть?! Покурить и мне не вредно. (Бросает лопату наземь.)

ДАТУНИЯ. Ну, присаживайся, дяденька, коли не вредно. Сижу ведь я, а чем я хуже тебя?

ХАПИЧИЯ. Что ты, Датуния, что ты. Ты — парень что надо, никому не уступишь.

ВАРЛАМ. Товарищи, на что это похоже, все время сидите да курите. Слышанное ли это дело?

КАЛЭ. Стыдно, товарищи! Сознательный колхозник так поступать не должен.

ДАТУНИЯ. Ты, братец, крепче ухватись за свою сознательность и держи ее в кармане. Я же для себя и сознательный, и ученый.

ХАПИЧИЯ. Правильно, верно! Кто лучше Датунии сумеет покутить да повеселиться.

ВАРЛАМ. А работать?

ХАПИЧИЯ. О-о, на работу он сердит, как на икону. Что поделаешь, зато...

АВТАНДИЛ. Силач, молодец парень, да?

ХАПИЧИЯ. Как видите.

КАЛЭ. Хоть он и не проявлял себя ни в чем пока, не так ли, Хапичия?

ХАПИЧИЯ. Может, и так...

ДАТУНИЯ. Вы, дяденька, оставьте меня в покое, нето я вам задам такого, что вам не очень-то понравится. У-ух, изорви я вашу шубу! (Встряхивается всем телом.)

ХАПИЧИЯ (испугавшись). Шутим мы, братишка, шутим.

ДАТУНИЯ. Давно уж я вырвал шутовские зубы, слышите? Осторожнее, нето обозлюсь. У-ух! (Потягивается.)

КАЛЭ. Фу ты, от тебя не то, что мы, отец родной, и тот ничего путного не видел. Довольно, товарищи, пора и за работу!

ВАРЛАМ. И так уж благодаря ему немало времени потерял.

АВТАНДИЛ. Эй ты, Николай, нечего тебе водиться с Датуниями да Хапичиями, поди сюда, брат, да берись за лопату.

НИКО. Сейчас! (Хочет встать, но Хапичия хватается его за одежду.)

ХАПИЧИЯ. Погоди, вместе начнем...

НИКО. Нет, Хапичия... Автандил прав... Выгоды мало от вашей дружбы. (Освобождается и идет.)

ХАПИЧИЯ. Ну, и проваливай к чорту.

ДАТУНИЯ. Оставь его. У-уф, чтоб ему... (Работают все, кроме Датунии и Хапичии, которые, покуривая, валяются на траве.)

АВТАНДИЛ (поет). Все деревья
уж в цвету,

Что зевашь, слива?

ВСЕ (подпевают). Мы развеем по
ветру

Врагов коллектива.

ДАТУНИЯ (*приподнимая голову*). Это они в наш огород, что ли, с-сукины дети?

ХАПИЧИЯ. Как видишь, да не стоит обращать внимания. Я предпочитаю курить и валяться вот так на свежей травке... Ай да молодчина! (*Переваливается с боку на бок.*)

АВТАНДИЛ. За реку загнал
скотину,
Сам искать пошел
сюда.

ВСЕ. Всех лентяев, паразитов
Вон отсюда навсегда.

ДАТУНИЯ (*приподнимаясь вновь*). И это на наш счет, Хапичия?

ХАПИЧИЯ. На наш счет? Ну, чорта с два, руки коротки! Мы такие бедняки, и пальцем нас не тронут, не то, чтобы из коллектива выгнать.

ДАТУНИЯ. У-ух, если так, тогда чего пристали?

ТИНА (*входит*). Варлам, Калэ. Огар и Амиран зовут вас.

ВАРЛАМ. Где они?..

ТИНА. У Мечхер техник, ' говорят, приехал.

КАЛЭ. Хорошо, передай, что сейчас буду. (*Варлам и Калэ выходят.*)

ГОЛОС. Ну, ребята, поворачивайся! (*В сторону Датунии и Хапичии.*) Двое ушли, мы и за них отработаем. Довольно прохлаждаться...

ХАПИЧИЯ. И в самом деле, Датуния, мы уж чересчур. Пора вставать. (*Встает.*)

ДАТУНИЯ (*собирается встать*). У-ух, чтоб им пусто было! Меня такая лень забрала, что не могу за лопату взяться. (*Хапичия показывается то там, то здесь, создавая впечатление работы.*)

ХАПИЧИЯ. Так, так, ребята! Молодцы! Довелось-таки мне отплатить Илариону. Ребята, вот на этом самом месте я когда-то пас корову. Вдруг подкрался Иларион, собачья душа, да как огреет по спине кнутом, раз, другой... Вовек не забуду, а сам кричит: «Ах, ты, сукин сын, пройдоха, кто тебе позволил кормить свою дохлятину моей травой?» Эх, что за времена были!

АВТАНДИЛ. А теперь? Мы из тебя человека сделали, а ты чем пла-

тишь за добро? Почему не работаешь?

ХАПИЧИЯ. Как так не работаешь?.. Отдохнуть малость да затануться разочек, по-вашему, выходит, не работать? Ты лучше погляди-ка сейчас. Ну, ребята, начинай. (*Вертится, бросается то к одному, то к другому. Датуния лениво почесывается.*) Эй, ты, Датуния, чего чешешься? Давай, давай, не все коту масленица.

ДАТУНИЯ. Пошел ты...

КВАНТИЛ (*показывается на полянке, распевае*т).

На востоке ты, красотка,

А к закату я,

В мыслях по моей подружке

Гибнет жизнь моя.

ХАПИЧИЯ (*завидев Квантила, бросает работу и бежит к нему*). Ребята, Квантил пришел. Ай да молодец!..

АВТАНДИЛ. Куда, куда Хапичия, так-то ты работаешь?

ДАТУНИЯ (*обратив вчуждье на Квантила, которого окружили парни*). Поглядите-ка на эту божью коровку, и лопата за плечом, ишь ты!

КВАНТИЛ (*гримасничая и лепеча*). Чего пристали, что надо?

ХАПИЧИЯ. Что это ты, парень, на плечах тащишь?

КВАНТИЛ. Хочу работать в коллективе.

ДАТУНИЯ. Как, ты в коллектив?

КВАНТИЛ. Она сказала, что, если я не буду работать в коллективе...

ХАПИЧИЯ. Кто она?

КВАНТИЛ (*гримасничает*). Не скажу.

ДАТУНИЯ. Скажи, Квантил, а то знаешь ведь меня, как сорвусь с цепи, плоховато будет тебе...

КВАНТИЛ. Не скаа-а-жу, не скаа-жуу...

НИКО. Ребята, я знаю все, я скажу

ГОЛОСА. Расскажи, расскажи.

НИКО. Спиридона дочь знаете? Так вот полюбилась она ему, чтоб ему провалиться... и...

КВАНТИЛ (*бросаясь к нему*). Не правда. Молчи.

НИКО. Нет, нет, я должен сказать, Квантил... Ты же знаешь меня, что узнаю, скрыть не смогу.

ХАПИЧИЯ. Ха, ха... Ай да молодец!

НИКО. Так вот и полюбилась. И бегаеет все за ней, за Кэто этой, все время торчит у ворот Спиридона: взглянет на нее хоть одним глазом, да хихикает.

ДАТУНИЯ. Правда ли это, Квантил?

КВАНТИЛ. О-ох... люблю... (*Гримасничает.*)

ХАПИЧИЯ. Ай да молодец! А Кэто? Чго она говорит?

КВАНТИЛ (*гримасничает*). Не скажу...

ХАПИЧИЯ. Скажи, Квантил, ты же — парень хороший...

КВАНТИЛ (*гримасничает*). Не скажу-у-у...

ДАТУНИЯ. Не скажешь? Посмотри-ка сюда. (*Снимает вдруг пояс и, вертя в воздухе, гонится за убегающим. Шум, смех, крики.*)

ХАПИЧИЯ. Змея, Квантил, змея, змея-я...

НИКО. Беги, беги, укусит.

АВТАНДИЛ (*бросает работу, присоединяется ко всем*). Ну, и черти вы, мошенники, вы и ангела соблазните, не то, что меня. Ха, ха, ха, ну, и история! (*Как ошпаренный, убегаеет.*)

КВАНТИЛ (*останавливается*). Хорошо, скажу, скажу.

ДАТУНИЯ. Так-то лучше, а то как обовьется змея вокруг... пропало твое дело.

КВАНТИЛ. Спрячь ее, тогда скажу-у-у. (*Датуния опоясывается.*)

ДАТУНИЯ. Ну, говори скорей.

КВАНТИЛ. Люб-лю Кэто, хорошая она, что мне делать... Вчера поздно ночью, когда она вышла за ворота, я там стоял, кара-улил... и сказал ей: «Кэто, девушка, люблю тебя, что мне делать?» Я бы не посмел, но ее подруга Люба на-учи-ла, что на-до в любви об'ясниться.

ВСЕ. Потом, потом?

КВАНТИЛ. Потом... она как захохот, я ей в ноги бросился и стал умолять... Она мне и говорит: «Я бы вышла за тебя, но только ты — сын кулака и в коллективе не состоишь. Вот если б ты туда вступил и работать

начал, тогда можно было бы и о деле подумать...»

ДАТУНИЯ. Вот чорт-девка, ну и хитрая... У-уф ты, зятек мой, мой старый. (*Толкает Квантила.*)

ХАПИЧИЯ. Потом, потом, Квантил?.. Ай да молодчина...

КВАНТИЛ. А потом? Как видите, я и пришел.

НИКО. Ха, ха, зятенек ты мой золотой.

КВАНТИЛ. Но как же мне быть, если люблю я девушку...

ХАПИЧИЯ. Вот что, ты спой песенку, а я тебе помогу попасть в коллектив. Но сначала скажи мне, работать-то ты сможешь?

КВАНТИЛ. Пока не работал, но теперь хочу научиться, иначе девушка не захочет...

ДАТУНИЯ. Хорошо, Квантил, важный ты человек теперь. Ай да зять — вершков в пять!

КВАНТИЛ. Не хочу я петь...

ДАТУНИЯ. Как? Не хочешь петь? Я тебе покажу... ты мне запоешь. (*Хватается за пояс.*)

КВАНТИЛ. Не трогай его, не надо.

ГАРСЕВАН (*работавший до сих пор, вдруг бросает работу и подходит к ним*). Что, с ума сошли, чего пристали к парню, разве он не человек? Извели совсем беднягу. Нечего сказать, хороши колхозники...

ДАТУНИЯ. У-ух, чтоб тебе... опять затянул... старую песню...

ГАРСЕВАН. Что опять... По-вашему, только я должен работать, а вы баловаться? Это, по-вашему, коллектив?

ХАПИЧИЯ. Мы, дяденька, работать будем, как придется. Не для того коллектив создали, чтобы постоянно поясницу гнуть да животы надирать.

ГАРСЕВАН. Что болтаешь? А я-то, по-твоему, что же? Зачем потом обливаюсь, старый человек?

ДАТУНИЯ. Ты, дяденька, привычный, иначе и не можешь.

ГАРСЕВАН. Что такое? Иначе не могу? Кто тебе сказал? Моим старым костям отдохнуть вредно?

ДАТУНИЯ. Кто же тебя принуждает, — отдыхай на здоровье.

ГАРСЕВАН. Отдыхай... А работать кто будет? Кто сровняет эти горки? А надо сегодня закончить.

ХАПИЧИЯ. Не убивайся — не сегодня, так завтра.

ГАРСЕВАН. Завтра. Если не завтра, так послезавтра. Так, что ли? Нет, брат, видать, не работать мне с вами, бездельниками. Слышали поговорочку: «Яблоко от яблони недалеко падает»? Так и вы, вам хоть башню золотую выстрой, не то, что коллектив, — все равно вас не переделаешь.

ДАТУНИЯ. Как так?

ГАРСЕВАН. Да так, очень просто. Хотели, слышь, ворону соколом научить летать, а он все «ква-а, ква-а». Так и вы; всегда были лентяями и бездельниками, такими и остались. Нет уж, дяденька, мне с такими работниками дело иметь невыгодно, не могу. Пойду опять работать по-старинке.

ДАТУНИЯ. Ты, Гарсеван, что-то на душе темные замыслы таишь.

ГАРСЕВАН. Нет уж, братья, не я их таю, а вы. Соединили всю землю да поделили весь урожай поровну, а работать кто будет?

ХАПИЧИЯ. Что же кто?

ГАРСЕВАН. Вот тебе и на! А кто же, по-твоему, еще работает? Вот и сегодня я один всю землю сровнял, пока вы здесь с Квантилом баловались. Кроме того, с моего двора работает пара быков. А от остальных по одному быку, и те наполовину прогуливают. Нет, парень, счет простой... Видать, не выйдет с вас никакого толку... Не дай господи, станешь в роде вас нищим и бездельником.

ХАПИЧИЯ. Что же, уходить из коллектива собираешься?

ГАРСЕВАН. Не хотел бы, да приходится плохо, лучше бежать.

ДАТУНИЯ. Делу изменяешь...

ГАРСЕВАН. Не я, дяденька, не я, а вы сами себе изменяете. Говорю вам, с такими работниками и обработанное поле мыши поедят, а я, слышь, останусь несолоно хлебамши.

ХАПИЧИЯ. Так ты уходишь?

ГАРСЕВАН. А то как же? В раздорах да спорах с вами подыхать прикажешь, что ли?..

ДАТУНИЯ. Сыну-то своему, Амيرانу, что скажешь?

ГАРСЕВАН. Ежели сын он мне, пойдет со мной, не захочет, — на всякого быстрого коня впереди глубокая яма, — выгоню его из дому, и дело с концом.

ХАПИЧИЯ. Го-го, на сыночка, видать, запрет наложить хочешь?

ГАРСЕВАН. Чего я со своим сыном родным сделаю, это дело не ваше. И нечего совать нос в мои семейные дела. Лучше за собой присмотреть да хоть раз брюхо до краев набить.

ДАТУНИЯ. Что ты такое плетешь? Кто это там голодным ходит, а?..

ГАРСЕВАН. Да ты сам и ходишь. Отец твой нищим шатался по соседям, и ты по его следам идешь. Слава те господи, видать-то сразу, что ты из себя представляешь.

ДАТУНИЯ. Осторожней, дяденька, а то...

ГАРСЕВАН (вызывающе). А то что?

ДАТУНИЯ. Вот и увидишь, что...

ГАРСЕВАН. Фу ты. Все на кулак да на драку лезешь, ничего больше и делать не умеешь.

ДАТУНИЯ. Говорю, Гарсеван, молчи.

ГАРСЕВАН. Ударишь?

ДАТУНИЯ. И как еще, за тридцать земель отлегишь.

ГАРСЕВАН. Чего сказал?! Ах ты, голоштанник, мошенник ты этакий! Да ты, слышь, попробуй, ну-ка, посмей-ка! (Хватает рукой топорок. Суматоха, крики.)

ДАТУНИЯ. Пустите меня, давно руки чешутся, пустите меня. У-ух, изорви я твою шубу. (Идет на драку.)

АВТАНДИЛ. Датуня, стой, с ума спятил, стой, успокойся!

ДАТУНИЯ. Пустите, пустите, я его...

ХАПИЧИЯ. Датуня, паря, брось! Дуралей ты бессмысленный! Заткни глотку, нето такого нам зададут...

ДАТУНИЯ. Я сам ему задам. Глядите, я с пустыми руками, а он с топорком, я ему его топорок загоню в такое место, что он и вытащить не сумеет.

ГАРСЕВАН. Пустите его, пустите, попрыгает он у меня, давайте его.

ДАТУНИЯ. У-ух, я твою шубу! (В это время входит Элепер.)

ЭЛЕПТЕР. В чем дело, товарищи, остановитесь. (*Ссорящиеся утихают.*) Из-за чего ссора?

ГАРСЕВАН. Дело все в том же, товарищ Элептер, я не раз уже тебе говорил, не могу я работать с ними.

ЭЛЕПТЕР. Что случилось?

ГАРСЕВАН. Случилось то, что каждый день случается: работаю я один, без отдыха, а они, чорт их разберет, чем они только заняты: то им покурить — развалятся на земле да балуются, то им вдруг Квантил попадет, опять возня да баловство. А теперь что ни говорите, а меня в коллективе больше не будет. Да еще и с кулаками на старика лезут... Нет уж, хватит, гоюду сам по себе.

ДАТУНИЯ. У-ух ты...

ЭЛЕПТЕР. Замолчи сейчас же.

ХАПИЧИЯ. Говорил я тебе, дурак, не заводите ссоры. Теперь увидишь, что будет.

ЭЛЕПТЕР (*Гарсевану*). Успокойся, Гарсеван, уладим все, а вам, ребята, стыдно так поступать с лучшими работниками коллектива. Посмотрим, как вы оправдаетесь завтра перед собранием. Теперь же, Гарсеван, продолжайте работать.

ГАРСЕВАН. Уважаю я тебя, Элептер, очень ты человек честный, но в этот раз извини. Вступил в коллектив, думал, сообща легче жить будет, но видишь, не выходит... Кто работал, работает и здесь, а лентяи и шалопаи по-прежнему время зря теряют. Прости меня, уйду.

ЭЛЕПТЕР. Постой, Гарсеван, поговорим еще.

ГАРСЕВАН. Говорить не о чем. Что с Датунями работать не могу, и ты, слышь, хорошо понимаешь. Мир вам. (*Собирает свои инструменты и уходит.*)

ДАТУНИЯ. У-ух, проклятый ворчун!

ЭЛЕПТЕР (*резко*). Прикуси язык. Посмотрю я завтра, что сходу ответишь.

ХАПИЧИЯ (*Датунии*). Дурья ты башка, говорил, не зли Элептера. Э-эх ты, голова у тебя, что тыква.

ДАТУНИЯ. У-ух...

ХАПИЧИЯ. Вот тебе и у-ух. Балда ты, балда.

(*Спускаясь, Гарсеван встречает сына Амирана и его товарищей Варлама и Калэ.*)

АМИРАН (*появ, в чем дело*). Хорошо, отец, не надо. Стыдно уходить от общего дела.

ГАРСЕВАН. Не ушел бы, но не стоит, слышь, разговаривать больше об этом... Идем, слышь, домой, проживем не хуже их.

АМИРАН. Куда, отец? Мне итти некуда, я — комсомолец, я во главе ударной бригады.

ГАРСЕВАН. А я кто же, по-твоему? Отец тебе родной али кто?

АМИРАН. Да, ты — отец, но итти с тобой не могу.

ГАРСЕВАН. Ну, что же... Поживем, увидим, что из тебя выйдет. (*Уходит.*)

АМИРАН. Что случилось, товарищи, почему обидели старика?

ДАТУНИЯ. Подумаешь, обидели. Он всегда был с придурью.

ХАПИЧИЯ (*подскочив к Датунии*). Заткнись, говорю, дурья ты башка, говорю тебе, заткни глотку.

ДАТУНИЯ. Что делать, Хапичия, не могу.

КАЛЭ. Как только ушли мы, так ссора и началась?

ХАПИЧИЯ. Видишь ли, тут что-то непонятно. Я-то не при чем, моя хата с краю.

ВАРЛАМ (*Датунии*). Зачем затеял ссору?

ДАТУНИЯ. У-ух. изорви я ему шубу, обозлил, старый чорт, чуть не поколотил его...

КАЛЭ. Пустая у тебя башка... Но посмотрим, насколько прыти у тебя хватит.

ХАПИЧИЯ (*шопотом Датунии*). Советовал я тебе, дураку, помалкивать, а теперь, слышишь, все против тебя... грозятся.

ДАТУНИЯ (*не слушая его*). У-ух, осторожней, не то...

ВАРЛАМ. Не то что?

ДАТУНИЯ. А то, что и сам будь осторожней. Кажись, пробовал?

ХАПИЧИЯ. Балда ты, балда! Помалкивай, дурья башка!

ЭЛЕПТЕР. Хватит, ребята. Датуния ответит за все. (*Заметив стоявшего Квантилу.*) А ты чего пожаловал?

КВАНТИЛ. Хо-о-о-чу ра-работать.

ЭЛЕПТЕР. Ай да кулацкий сынок, а что умеешь?

КВАНТИЛ. Не знаю.

ЭЛЕПТЕР. Как не знаешь? Не работал раньше?

КВАНТИЛ. Нет.

ЭЛЕПТЕР. А у нас что будешь делать? Товарищи, приступайте к работе. Сегодня надо покончить с этим участием. Ты же, Амиран, пойдем со мной, нам надо потолковать об отце. (*Элептер и Амиран уходят. Остальные продолжают работать.*)

Картина третья

(*Дом Гарсевана. Амиран связывает вещи, собираясь уйти. Иордан у крыльца плетет корзину.*)

ГАРСЕВАН. Значит, уходишь? На своем стоишь, да?

АМИРАН. Да, уйду... я не могу остаться вне коллектива.

ГАРСЕВАН. Можешь, сынок, можешь, прошу, не отравляй моей старости, останься.

АМИРАН. Нет, нет, не могу.

ГАРСЕВАН. Ну, как знаешь, а дома разрушать я тебе не дам.

АМИРАН. И в мыслях этого у меня нет, оставь меня.

ГАРСЕВАН. То-есть как это оставить тебя, ты что же задумал — семью разбивать, а я и молчи, многого ты просишь, многого...

АМИРАН. А ты что же думаешь, из-за тебя я товарищей брошу. Не знаешь, что ли?

ИОРДАН (*оставляет работу*). Амиран, отца зарезать, семью по-миру пустить хочешь? Лучше брось, товарищей брось, поверь старику.

АМИРАН. Как, и ты, дедушка, то же самое советуешь?

ИОРДАН. Советую, советую. Вот уж восьмой десяток доживаю, чего я только не перевидал, где я не бывал... Крепостное право помню, тысячу горестей и унижений испытал, мне-то поверить можно. Ведь что написано в

Эфуте: «...и забудет бога народ, и отнимет мстительный бог разум у народа», — вот это сбылось. С ума сошел народ, забыл церковь, забыл уважение к старшим, забыл стыд, пропадаем, милый мой, пропадаем.

ЦИРУ. Что ты, дедушка, о какой гибели ты рассказываешь, новая жизнь начинается, новая жизнь!

ЭЛИСАБЕТ (*Циру*). Молчи, дочка... Вот новости какие, — возражает дедушке.

ЦИРУ. Как же не возражать, когда ты, дедушка, путаешь.

ИОРДАН. Ошибаешься, ошибаешься... мне-то в мои годы и мертвому поверить можно.

ЦИРУ. Что ты, что ты, дедушка, ты и живой-то всего не понимаешь, куда уж мертвому...

ГАРСЕВАН. Молчи, девчонка, ты... не лезь не в свое дело.

ЦИРУ. Вот теперь ко мне пристали. Почему это мне и слова сказать нельзя?

ИОРДАН. Говорил я, волки поедят стадо без пастуха. И вот сбылось — старших не слушаете, опытным людям не верите, и, гляди, взбаламутились все, не только волки с шакалами, даже крысы пожрут за милую душу.

АМИРАН. Что ты, дедушка, пристал да пристал. Запутали жизнь, взбаламутили все, чем, скажи на милость, чем?

ИОРДАН. Что мне, старику, прибавить к тому, что делается. Видишь, что за собачья жизнь пошла. Сначала разрушали страну, а теперь и за семьей взялись. Нет, милый мой, поверь, что неладное делается. Слышал ты про потоп? А по какой причине-то он был? Да потому, что народ-то бога забыл в то время, а бог-то — да святится имя его! — наказание послал: истребил их потопом. Карает господь народ безумием: и вот брат не щадит брата, а сын — отца, младший — старшего, и так гибнем мы, все гибнем...

АМИРАН. Стар ты, дедушка, не понять тебе сегодняшней политики, мы, молодые, многому обучены, знаем мы историю, — материализм, капитализм и многое другое, — и вот все, что мы делаем, это на основании политики и

экономики, и так нам говорит Маркс и Ленин...

ИОРДАН. Не знаю, девушка, не знаю я твоих Максимов и Леванов, но что...

ЦИРУ. Ха-ха-ха, дедушка, не Максим и Леван, дедушка, а Маркс и Ленин, Маркс и Ленин, понял?

ИОРДАН. Все равно, девушка, кто бы они ни были, все равно одно ясно, антихристы они, антихристы. Бросьте их, вернитесь к богу, признайте старшинство, — ей-ей, лучше это будет для вас, лучше.

АМИРАН. Нет, дедушка, нет, люблю тебя, но не могу я с тобой согласиться. Я — комсомолец и должен бороться за новую, лучшую и счастливую жизнь, должен бороться.

ГАРСЕВАН. Цыц, никакой новой жизни вам, ротозеям, не создать! Куда вам, вы и ту испортили, какая была...

АМИРАН. Чтоб новую построить, старую нужно было разрушить.

ГАРСЕВАН. И то вы с Датуней постройте новую жизнь...

АМИРАН. А то как же, вас не спросим.

ГАРСЕВАН. Чтобы не было вам ни дна, ни крышишки... Бросьте, бросьте, но только вы сами ничего не делаете, но и нам работать не дадите, будьте...

ИОРДАН. Берегись родительских проклятий, не выводи из терпения родителя. Вернись к родным, вернись к очагу, откажись от бесовского навождения, лучше тебе будет, не к добру эти коллективы.

АМИРАН. Эх, дедушка, сколько там ни говори, нам друг друга не понять.

ИОРДАН. Это потому, что ты в ладу с чертями, с чертями.

АМИРАН. Не знаю, с кем я в ладу, но это так. *(Обращается к Гарсевану.)* Ну что ж, дашь мне мою долю, чтоб внести в коллектив, или нет?

ГАРСЕВАН. Не даю.

АМИРАН. Это почему же, что я не имею на это права, что ли?

ГАРСЕВАН. Да некогда мне думать, есть у тебя право или нет. У меня семья на шее. Дай тебе половину, а семью, что же, по-миру пустить прикажешь?

АМИРАН. В таком случае возвращайся в коллектив.

ГАРСЕВАН. Нет... не будет у меня ничего общего с Датунями и Хапичьями, понял?

АМИРАН. Ну что мне теперь делать?

ЕЛИСАБЕТ. Делай то, что тебе дед указывает: отвяжись от чертей, вернись в семью.

АМИРАН. Я же — комсомолец, а комсомольцы все должны быть в коллективе.

ЕЛИСАБЕТ. Брось ты к черту этих комсомольцев, и никто тебя не заставит идти в коллектив.

АМИРАН. Что ты, мама, что ты?

ЕЛИСАБЕТ. То, что нужно для спасения твоей семьи и тебя самого.

АМИРАН. Как, оставить комсомол, уйти от товарищей?

ГАРСЕВАН. Товарищи, Отары эти, голодранцы какие-то, день и ночь ничем, кроме газет, не занимаются и ничего не знают.

АМИРАН. Как я вижу, вы меня живым хоронить собрались, ну, предположим, уйду от Отара и других, с кем же прикажете мне дружить?

ГАРСЕВАН. Ну, с Кириллом, с Эгнатэ.

АМИРАН. Да они ведь кулацкие дети, да нет, вижу, с вами у меня ничего общего нет. Итак, последний раз спрашиваю, дайте мою долю имущества?

ГАРСЕВАН. Нет, не даю.

АМИРАН. Ну ладно, но прошу не обижаться, если я свою долю силой возьму. *(Встает и направляется к дверям.)*

ИОРДАН. Амиран, не разрушай семьи, не губи семьи, молю тебя, тяжесть 80 лет на моих плечах, и я молю тебя, вернись, не разрушай семью.

АМИРАН. Не могу, дед, нет. Что мне делать, что? *(Собирается выйти.)*

ЕЛИСАБЕТ *(подходит к Амирану и обнимает его)*. Сынок мой, Амиран, иди ко мне. Грудь матери, вскормившая тебя, говорит: не губи семьи, не разрушай дома, видишь деда, он уже стар, ему уход нужен, отец твой уже сломлен годами, не тот уже, а Циру воспитать нужно, а потом и замуж отдать,

не губи нашей семьи, грудь матери тебя умоляет. *(Елисабет плачет. Свинцовой пеленой опустилась печаль. Гарсеван с поникшей головой разрывает у камина пепел, на глазах Циру слезы, она в волнении глядит то на брата, то на мать. Не знает, кого из них поддержать.)*

АМИРАН. Мама, мама. Что мне делать? Пусти, не могу больше... не могу изменить убеждениям, не могу. *(Высвобождается из рук матери и уходит.)*

ИОРДАН. Амиран, милый мой, молю тебя, не разрушай семьи.

ЕЛИСАБЕТ. Погибло все, ушел.

ГАРСЕВАН *(вскакивает)*. Увы, по миру пойдем все, по-миру.

ИОРДАН. Не волнуйся, сын, чему бывать — того не миновать. Все в руках божьих. Еще не все потеряно, а может случиться, что парень и образумится.

ЦИРУ. Перестань, дед, Амиран с его упрямством... Нелегко его сломить, куда там...

ГАРСЕВАН. Что же, девочка, семье погибать? Но что с тебя спрашивать, сама ты из ихней стаи. Раньше скажи, записана ты у них в комсомоле или как там он у них называется?

ЦИРУ *(не знает, что ответить)*. Я... Я...

ГАРСЕВАН. Да, ты?

ЦИРУ. Я только раз была на собрании...

ГАРСЕВАН. Так и ты, девчонка, с этими мальчишками. *(Тянется бить.)*

ЦИРУ *(плачет)*. Чем я виновата, подруги меня взяли и...

ЕЛИСАБЕТ. Оставь девочку, не видишь разве, вся молодежь с ума сошла.

ГАРСЕВАН. О, моя погибшая семья! О, Датуния, здорово же ты мне отомстил...

ИОРДАН. Так, девушка, так. Бог отнял разум у народа, и все мы через это погибаем. *(Свет постепенно потухает. Все более и более темнеет.)*

Картина четвертая

(Виден двор сельсовета и тропинка, ведущая к нему. Над небольшим овражком виден мостик, недалеко от него, на траве, растянулся Датуния, а повыше

от него Хапичия, который ловит мух. Датуния поет.)

ДАТУНИЯ. Все зеваю да ленюсь,
ре-ра-ра-ни-на,
Крепко я за них держу-
ся, ре-ра-ранина.
И признаться вам дол-
жен ра,
Что работать мне не
гоже,
Нам трудиться надо
малость..

Отдыхать — вот это
радость, рера-ранина,
Повалиться, полежать.

ХАПИЧИЯ *(перестает ловить мух)*.
Дурень ты мой, Дату-
ния, ра,
Ты послушай, что ска-
жу я, ре...
Ты от бога крепко скро-
ен, рере,
Я ж умен, и будь спо-
коен, реро-ранина,
Датуния, Датуния...

ДАТУНИЯ. Что тебе?

ХАПИЧИЯ. Как, что мне, дурацкая твоя башка. А почему сегодня собрание-то, а?

ДАТУНИЯ. Знаю. Ну что же?

ХАПИЧИЯ. Нужно что - нибудь устроить, а то вышвырнут нас из коллектива.

ДАТУНИЯ *(вскочив на ноги)*. Вышвырнут, ах ты, изорви я твою шубу. Не ты ль говорил *(передразнивая)*: «Мы такие бедняки, что не только выгнать из коллектива, но не посмеют и волоса тронуть». Обманывал, подлец?

ХАПИЧИЯ *(испугавшись)*. Не-ет, нет, я не обманывал тебя, выгнать — это я конечно нарочно, но...

ДАТУНИЯ. Но...

ХАПИЧИЯ. Но накажут. Дело какое-нибудь занозистое дадут, так что ни нашим, ни вашим весело не станет, на весь мир опозорят.

ДАТУНИЯ. Пусть попробуют. Чорта с два!

ХАПИЧИЯ. Заставят.

ДАТУНИЯ. Ну нет, брат. Это ты шутишь.

ХАПИЧИЯ. Подожди, дурак, не годится это, изведешь — так они и на

бедность нашу не посмотрят. Да из коллектива коленкой.

ДАТУНИЯ. Коленкой?

ХАПИЧИЯ. Вот так! *(Дает пинок сзади и убегает. Датуния бежит за ним. Хапичия, перепугавшись.)* Подожди, подожди, а что же, по-твоему, из-за нас весь коллектив разойдется, что ли?

ДАТУНИЯ *(сердито)*. Говори, что делать?

ХАПИЧИЯ. Надо действовать с умом да с оглядкой. Вот сегодня выступи на собрании, скажи, что работал, сколько мог, что-де Гарсеван напутал нарочно все, а, ежели тебе не поверят, ты худого ничего не говори, не ругайся. Помолчи.

ДАТУНИЯ. Помолчать?

ХАПИЧИЯ. Во, во.

ДАТУНИЯ. Нет, это не подходит, не могу я молчать...

ХАПИЧИЯ. А ты попробуй.

ДАТУНИЯ. Нарочно или в самом деле?..

ХАПИЧИЯ. Нарочно, нарочно, слышал историю про лису, как она... *(Оставливается.)*

ДАТУНИЯ. Что она?..

ХАПИЧИЯ. Забыл, забыл, может, ты помнишь?..

ДАТУНИЯ. Я? Нет, я не помню.

ХАПИЧИЯ. Ах, вспомнил... как она притворилась мертвой, чтобы ворона примануть, а там цап — и в глотку. *(В это время Хапичия поймал муху.)* Поймал, поймал.

ДАТУНИЯ. Кого, кого поймал?

ХАПИЧИЯ. Муху, самку...

ДАТУНИЯ. Покажи, она — верно вдовушка.

ХАПИЧИЯ. Ай, улетела.

ДАТУНИЯ. Ух ты, несчастный, мухи удержать не можешь, а еще о воронах мечтаешь. *(Ударяет коленом сзади.)*

ХАПИЧИЯ. Сильная была, стерва, не удержал.

ДАТУНИЯ. Никуда ты не годишься, сопляк бесполезный, мухи не удержал, на что ты коллективу нужен, вышвырнут нас, еще бы...

ХАПИЧИЯ. Не вышвырнут, братец, нет, дадут порученьице, и все этим и кончится, понял?

ДАТУНИЯ. Понял.

ХАПИЧИЯ. Так и будет. Если бы ты, дурацкая твоя башка, послушался меня во-время да не злил людей, то ничего бы и не было.

ДАТУНИЯ. У-ух, чортовы куклы, разозлили меня, не сдержался...

ХАПИЧИЯ. А надо было сдержаться, говорил ведь я тебе.

ДАТУНИЯ. Ничего не выходит, как разозлюсь, не только что других, себя не слышу.

ХАПИЧИЯ. А теперь вот слушай, оба выгадаем, ты понимаешь ведь, парень, что меня бог наделил умом, а тебя силой.

ДАТУНИЯ. Нет, это брось, умом-то наделил и меня.

ХАПИЧИЯ. Нет, нет, куда там. Тебе — силу, а мне — ум.

ДАТУНИЯ. Ну, согласен, а дальше?

ХАПИЧИЯ. А дальше? А дальше слушайся меня во всем. Идем на собрание. Только ты должен быть веселым, шуми, пляши, как всегда. *(Датуния начинает плясать.)*

ХАПИЧИЯ. Ну и дурак, разве я тебе говорю плясать сейчас?..

ДАТУНИЯ. А когда?

ХАПИЧИЯ. На собрании, там...

ДАТУНИЯ. Это ты о таком уме говорил? Нечего сказать, да где это ты видел, чтоб люди на собрании отплясывали.

ХАПИЧИЯ. Не на собрании, а после... до собрания... после... *(Пугается.)*

ДАТУНИЯ. До... после, не пойму никак...

ХАПИЧИЯ. Да ты меня не путай в самом деле, и не столько уж ума у меня.

ДАТУНИЯ. Ну, скажем, что не столько уж ума у тебя, но все-таки ты должен объяснить, для чего я должен танцевать?

ХАПИЧИЯ. Для того, чтобы показать всем, что ты прав и совесть у тебя спокойна.

ДАТУНИЯ. А-а-а. Понял. Идем, раз так... *(Обнявшись, идут и поют.)*

Нам трудиться надо малость,

Отдыхать — вот это радость,

Поваляться, помечтать

Да в блаженстве подремать.

(На дороге показываются Соломон и Иларион.)

ИЛАРИОН. Не видать их?..

СОЛОМОН. Не видать.

ИЛАРИОН. И чего только опаздывают.

СОЛОМОН. А бес их знает, а дело не терпит, торопиться надо.

ИЛАРИОН. Ждали до сих пор, пождем еще малость.

СОЛОМОН. А я думаю, скорее бы.

ИЛАРИОН. Нельзя, знаешь ведь, с кем имеешь дело? Узнают — загрызут.

СОЛОМОН. И вправду пропадем.

ИЛАРИОН. Погоди, может, и на нашей улице будет праздник, вчера Гарсеван бросил проклятый коллектив, сегодня Никифор и Реманоз оставят его, завтра другие, и так понемногу весь честной народ уйдет оттуда, останутся одни коммунисты, пусть себе поиграют в чехарду.

СОЛОМОН. Да-а, с Датунями да с Хапичиями не очень-то разживешься.

ИЛАРИОН. Сказать по правде, Гарсеван не только из-за них ушел оттуда: в нем, братец ты мой, собственник заговорил, вот тут-то и зарыта собака.

СОЛОМОН. Оно, может, и правда.

ИЛАРИОН. А то как же, недавно он мне жаловался: мой-де быки, мой земля, работаем двое. Другие пришли с пустыми руками да еще и работают неохотно. (Входят Кирилл и Эгнатэ.)

КИРИЛЛ. Отец.

СОЛОМОН (заметив). Это ты, сынок? Где ж Эгнатэ?

КИРИЛЛ. Вот и он.

СОЛОМОН. Повидал Никифора?

КИРИЛЛ. Повидал, тятя. Дело слажено. На него очень плохо действовал уход Гарсевана из коллектива.

ИЛАРИОН. Ты что сделал, Эгнатэ?

ЭГНАТЭ. Реманоз и трое других пойдут к Никифору. Будут ждать и тебя.

ИЛАРИОН. Молодец сынок. Глядите, Гарсеван идет в нашу сторону. Вы, ребята, уйдите, он не должен видеть вас.

СОЛОМОН. Вот и хорошо. Он-то нам и нужен.

ИЛАРИОН (шопотом). Тише, тише. (Громко.) Соломон, а сегодня, как-жестя, собрание будет?

СОЛОМОН. Слышал что-то...

ИЛАРИОН. А по какому поводу, не знаешь?

СОЛОМОН. А черт их знает, не знаю...

ИЛАРИОН (приблизившись к Гарсевану): Здравствуйте, сосед.

ГАРСЕВАН. Здравствуйте.

СОЛОМОН. Как чувствуете себя, уважаемый сосед?

ГАРСЕВАН. Трудные времена свалились нам на голову. Вы как?

СОЛОМОН. Спасибо. Держится еще дух в теле.

ИЛАРИОН. Слышали, Гарсеван, кое-что про тебя.

СОЛОМОН. С умом поступил.

ИЛАРИОН. Смотреть, как погибает трудом наработанное.

ГАРСЕВАН. Вот, вот, погибнет, и нет ни спасения, ни избавления.

ИЛАРИОН. А ми? Еле спаслись от высылки, а отнять — все отняли.

СОЛОМОН. Кроме хаты, ничего не оставили, и не знаем, как жить, чем семью прокормить?..

ИЛАРИОН. Гарсеван, ты же — человек умный, обдумай-ка, взвесь: из коллектива ты ушел, ну, не сегодня, так завтра отнимут и у тебя все так же, как у нас.

ГАРСЕВАН. А где же, по-твоему, спасение?

СОЛОМОН. Ты его послушай.

ИЛАРИОН. Нужно, чтоб народ потерял веру в этот проклятый коллектив. Распадется коллектив, тут и спасенье наше.

ГАРСЕВАН. Как же устроить, чтоб оно вышло эдак?

СОЛОМОН. Сегодня вечером собрание, постараемся вызвать недоверие и сомнение среди крестьян. Твой сын нам поможет. Он — парень молодец.

ГАРСЕВАН. Кто? Мой сын? Амиран — враг мне, слышь, враг...

ИЛАРИОН. Как так?..

ГАРСЕВАН. Да так. Требуется раздела хозяйства. Хочет свою часть в коллектив отдать.

СОЛОМОН. Скверно. А ты припугни его.

ГАРСЕВАН. Ничего не выходит. Упрямый он.

ИЛАРИОН. А мы-то так рассчитывали, думали, в отца пошел.

ГАРСЕВАН. Напрасно думали. Амиран с чортом связался, и никакого толка от него не будет.

СОЛОМОН. В таком случае нужно обойти его. Надо дело повернуть так, чтобы они его из комсомола выгнали. Он на них обозлится, и тогда добра им от него не ждать!

ГАРСЕВАН. Что ты сказал? Чтоб его из комсомола выгнали?

ИЛАРИОН. Это—прекрасная мысль.

ГАРСЕВАН. Подожди, подожди ты, Иларион, Соломон, слышь, а, может, я и не совсем пропал, может, еще и спасется дом от гибели?

ИЛАРИОН. Ежели это выйдет, куда же лучше?..

СОЛОМОН. Так вот, надо б, чтоб его выгнали из комсомола, согласен?..

ГАРСЕВАН. Мысль хорошая. Согласен, согласен.

ИЛАРИОН. Сегодня же на собрании ты должен выступить и открыть глаза людям, не работать же в самом деле с Датуниями да Хапичиями, да, да, надо замутить воду, легче будет рыбку ловить.

СОЛОМОН. Если удастся разорить коллектив, мы будем спасены от гибели, а вода опять войдет в свои берега и потечет по-старому.

ГАРСЕВАН. Ладно, ладно, теперь для меня все ясно.

СОЛОМОН. После собрания увидимся и поговорим.

ГАРСЕВАН. Вы не беспокойтесь, я им так напугаю, что...

СОЛОМОН. Дай бог тебе счастья...

ИЛАРИОН. Мир вам.

ГАРСЕВАН. Мир и тебе.

СОЛОМОН. А я к Никифору и Реманозу, втолковать им...

ИЛАРИОН. Иди, иди. *(Показываются и встречаются Кэто и Амиран. Иларион, завидев их, скрывается под мостом.)*

КЭТО. Ну, как дела, Амиран? Соглашаются?

АМИРАН. Нет.

КЭТО. Что же ты собираешься делать?

АМИРАН. Делиться с отцом.

КЭТО. А дома как к этому относятся?

АМИРАН. Поругались. Мать и дед, оба со слезами на глазах умоляли не губить семью.

КЭТО. Ну, а ты?

АМИРАН. Я вот мучаюсь, как меж двух огней.

КЭТО. Как же поступишь, если отец не согласится?

АМИРАН. Он никогда не согласится, значит, придется действовать силой.

КЭТО. Как это?

АМИРАН. Сегодня утром я подал заявление в бюро ЛКСМ о разделе имущества. Все говорят, что я как совершеннолетний имею право выделиться; с моей стороны третейских судей назначит совет. Отцу уже дали знать. Э-эх...

КЭТО. Что-то ты не в себе.

АМИРАН. Сердце болит... Мать жалею.

КЭТО. В самом деле тяжело.

АМИРАН. То-то и есть, но так мне и надо.

КЭТО. Почему?

АМИРАН. А потому, что надо было постараться наладить порядок в коллективе, надо было убрать Датунию с его товарищами.

КЭТО. Но ты же сам первый поддерживал его кандидатуру.

АМИРАН. Да вот думал — бедняк, выправится, потому и поставил рядом с ним отца как примерного работника. Загубил и отца, а как он звал всех в коллектив...

КЭТО. Это — правда.

АМИРАН. Что же вышло? Вышло то, что прекрасного работника превратил в злейшего врага.

КЭТО. Врага?..

АМИРАН. А то нет. Каково ему делить имущество? Недаром он вчера уговаривал меня: «Подружись с Кириллом и Эгнатэ». Это с кровными врагами коллектива!

КЭТО. Ну, не унывай, ты конечно пострадал, но цели своей добьемся.

АМИРАН. Добьемся-то, добьемся, но почему именно со мной все это случилось. Почему? *(К ним приближается Квантил.)*

КЭТО. Что тебе здесь надо, Квантил?

КВАНТИЛ. О чем он с тобой говорил только-что?

КЭТО. Ха-ха. Квантил, ревнуешь?

КВАНТИЛ. А что мне делать, девочка, люблю я тебя.

АМИРАН. Что такое, Квантил, ты любишь Кэто?

КВАНТИЛ. Ну да, красивая она, что поделаешь?

АМИРАН. Квантил, что ты говоришь?

КВАНТИЛ (бросаясь к нему). Ты...

АМИРАН. Что я?

КВАНТИЛ. А ты не...

АМИРАН. Что я, Квантил, говори же?

КЭТО. Квантил, что ты хочешь сказать?

КВАНТИЛ. Может, и ты любишь, девушку?

КЭТО. Ха-ха, нет, Квантил, нет, Амиран не любит меня.

КВАНТИЛ. Не знаю. Уж очень долго вы тут болтали вдвоем.

КЭТО. Это мы говорили по поводу Гарсевана и коллектива. Ты знаешь отца Амираана?

КВАНТИЛ. Да, я тоже был там, когда Датуния хотел побить Гарсевача.

КЭТО. Так вот о нем и говорили; как же ты мог подумать, что я тебе могу изменить, Квантил, а теперь ты поверил, что между мной и Амираном ничего нет?

КВАНТИЛ. Да.

АМИРАН. Вот и хорошо. А теперь, Кэто, пора и на собрание.

КЭТО. Пойдем. (Идут.)

КВАНТИЛ. Кэто, смотри не измени мне, а то...

КЭТО. Зачем я буду изменять тебе, Квантил? (Те уходят.)

КВАНТИЛ (садится и поет свою песенку). На востоке ты, красотка...

ИЛАРИОН (подкравшись к Квантилу). Ты что, Квантил, любишь ее?

КВАНТИЛ. Люблю. Красивая она, что делать...

ИЛАРИОН. Так вот что: она любит Амираана.

КВАНТИЛ. Что ты говоришь?

ИЛАРИОН. Послушай меня, устроим так, чтоб Амираана выгнали из коллектива, тогда Кэто останется тебе.

КВАНТИЛ. Что ты?.. Но как же это устроить?

ИЛАРИОН. А вот как. Ты видишь, все комсомольцы на собрании, а их комната, где у них бюро, там никого нет...

КВАНТИЛ. Ну, а дальше, дальше?

ИЛАРИОН. У Амираана в ящике деньги — членские взносы. Нужно потихоньку забраться в окно и этими ключами (дает ему связку ключей) попробовать открыть ящик стола. Достань все деньги, какие там увидишь, и тащи их ко мне.

КВАНТИЛ. А потом, отец?..

ИЛАРИОН. А потом его выгонят из комсомола, а Кэто останется тебе.

КВАНТИЛ. Хи-хи... Кэто останется мне. (Убегает с ключами.)

ИЛАРИОН. Тебе останется, сыночек, тебе. (Входит Кирилл и Эгнатэ.) Эгнатэ, подите-ка сюда.

ЭГНАТЭ. В чем дело? Батя...

ИЛАРИОН. Так смотрите, как вести себя на собрании, когда начнут судить Датунию и Хапичию: вы их защищайте, говорите, что они работали, как следует. Но будьте осторожны, не угробьте старика.

ЭГНАТЭ. Не бойся, батюшка, будь покоен.

СОЛОМОН (подходя). Так вот, братец, накрутил все дельце, останешься доволен. Никифор и Реманоз покажут себя, да так, что небу жарко станет.

ИЛАРИОН. Согласны?

СОЛОМОН. Что значит согласны? Ты только других обработай, а эти, как злые собаки, завоют там.

ИЛАРИОН. О других не беспокойся, я за них отвечаю.

НИКИФОР (входя). В чем дело? Правда ли, что Гарсеван ушел из коллектива?..

ИЛАРИОН. В мои-то года выдумывать да врать — дело неподходящее, братец ты мой.

НИКИФОР. Но он же первый пошел туда.

ИЛАРИОН. Это верно.

НИКИФОР. А что же теперь случилось?

ИЛАРИОН. Одумался, жалко стало свое-то добро разбазаривать.

РОМАН (входя). Соседушки, правду ли говорят, что у нас будут садить только чай да герань?

СОЛОМОН. А почему же не правда?

ИЛАРИОН. Ну и мужичье, спал ты до сих пор или с неба свалился, говорил же агроном на собрании, что кукурузе нашей капут, а вместо нее чай да герань.

(Недоверчиво оглядываясь по сторонам, входят несколько крестьян.)

КИРИЛЛ (бросаясь навстречу). Пожалуйте, пожалуйста.

СОЛОМОН. Поторопливайтесь, соседи, надо поскорей обдумать дело, если мы сегодня не устроим ничего, то пропали навсегда.

ЭГНАТЭ. Мы это, дяденька, для вас стараемся, а нам уж хуже не будет.

НИКИФОР. Ты, Иларион, одно скажи: какая выгода коллективу от чая да от герани?

ИЛАРИОН. Только задарма потраченный труд и деньги, а сами с голоду подохнем.

РОМАН. Пропадать — значит помирать всей семьей.

КИРИЛЛ. Не хотите подыхать, так выступайте на собрании, открывайте глаза народу, разгоните коллектив. Как скажу я: «Не хотим коллектива», так все в один голос и загалдите: «Не хотим-де, не хотим».

ВСЕ. Это можно.

СОЛОМОН. Народ уже собирается. Нельзя больше задерживаться, пора и нам.

НИКО (вбегает). Куда вы, куда? Почему не на собрании?

ИЛАРИОН. А что нам делать на собрании шалопаев да бездельников?

НИКО. Эти шалопаи вам поперек горла стоят, они душат кулаков этаких, как вы.

СОЛОМОН. Заткни глотку, молоко-сос ты проклятый, не то...

НИКО. Не то за уши отдерешь... ха-ха...

ИЛАРИОН. Что ты с ним связываешься, идем-ка. А ты убирайся к чертям.

НИКО. Пошли вы сами к чорту.

КИРИЛЛ. У-ух, мать твою за ногу.

НИКИФОР. Пошел ты, лучшего от тебя и ждать нечего. Бездельники в роде Датунии да Хапичии.

РОМАН. Ведь это они избили Якима и Гарсевана бить хотели. Сами ничего не делают, а другим подзатыльники дают.

НИКИФОР. Вот увидим, как им попадет за это.

РОМАН. Не попадет, наградят еще. Коллектив только для таких и существует.

НИКО. И вы по-кулачьи запели. Аль подкупили?

КИРИЛЛ. Провокацию ты брось, словами не кидайся.

НИКО. Сам не кидайся. Какая такая провокация?

ЭГНАТЭ. Не правда, што ль, что ты вместе с Датунией да с Хапичией всю деревню изводите?

НИКО. Провокаторы вы и есть, сукины дети.

КИРИЛЛ. Что такое? Я тебе все зубы выбью, сволочь ты паршивая.

НИКО. Пожалуйте-ка сюда, хулиганье вы этакое. (Тянутся друг к другу, их удерживают.)

ЭСТАТЭ (входит). Ого, собрание скандалистов уже началось.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Эстатэ.

ЭСТАТЭ. Что вам, ребята, нужно? Чего вы деретесь?

НИКИФОР. Новые господа насели на голову: Датуния, Хапичия и этот с ними.

РЕМАНОЗ. Вся деревня в их руках. И пожалеть-то некому.

ЕЛЕНА. Они ответят за свое поведение.

НИКО. А в чем мы виноваты?

ЕЛЕНА. По-твоему, Датуния не виноват?

НИКО. В чем?

ТАРАС. Подождите, подождите. Датуния виноват и будет наказан, но считать его целиком виной ухода Гарсевана нельзя. Это несправедливо.

ОНОПРЭ. Правда твоя, товарищ Тарас.

ЭСТАТЭ. И я так думаю, но не пойму я одного, как мог так поступить

Гарсеван, отец Амирана, активного члена ЛКСМ.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Эстатэ.

ЕЛЕНА. Главная причина его ухода кроется в нас самих. Нельзя, чтобы в коллективе один работал, а другой прохлаждался.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Елена.

НИКИФОР. В том и дело, что коллектив в руках бездельников.

ТАРАС. Товарищи, дело наше молодое и неналаженное, в будущем мы его наладим, и порядок будет полный. Все будут работать одинаково.

ОНОПРЭ. Вот это правильно, товарищ Тарас.

РОМАН. Послушайте-ка, мы в коллектив пришли уму-разуму учиться или работать?

ЕЛЕНА. Тебе можно и уму-разуму поучиться.

ЭСТАТЭ. Не лучше ли, товарищ Тарас, этаких людей совсем удалить из коллектива.

ТАРАС. Нет, не лучше.

КИРИЛЛ. Во-о-от оно. Говорил я вам.

ТАРАС. Постараемся воздействовать сначала иначе, может быть, станут хорошими работниками.

ЯЗОН. Товарищи, не поймите только меня как-нибудь иначе, хочу вот я спросить товарища Тараса кое о чем.

ТАРАС. Говори, Язон, говори.

ЯЗОН. Объясни мне, пожалуйста, куда это мы идем и что это мы делаем?

ТАРАС. Как так?

ЯЗОН. А вот так: чувствую я что-то новое, но темно кругом, не могу я понять, зачем все это делается? Вчера я на своих лучших участках уничтожил границы и присоединился к коллективу, а сегодня утром Ягор без спросу вошел в мой хлев, вывел моих быков и угнал на работу. Сердце у меня заныло, Тарас, заболело. Ты — честный, правильный мужик, Тарас, родился и вырос с нами, вот я и обращаюсь к тебе: скажи мне, объясни, действительно ли это хорошо, не погибнем ли мы, не обманываешь ли нас, не закрываешь ли

нам глаза. Будет ли нам лучше, будем ли счастливей, скажи, что вся болтовня о крепостном праве — это кулачьи сплетни. Исцели наболевшую душу, друг, и буду я верным слугой общему делу. Дай только веру и надежду.

ТАРАС. Язон, дай обнять тебя, спасибо за открытое слово, хорошо, что выложил все, как было на душе. Ты веришь мне?

ЯЗОН. Как никому.

ТАРАС. Так ты внимательно послушай, о чем сегодня будет речь на собрании, и поймешь, куда мы ведем народ и что мы хотим сделать.

ЯЗОН. Спасибо, Тарас.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Тарас.

КОНДРАТИЙ. Правильно, товарищ Онопрэ.

ОНОПРЭ. Тебе чего?

КОНДРАТИЙ. Ну-ну, милый, шучу.

КАЛЭ. Товарищ Тарас, техник дал знать, что не может быть на собрании.

ТАРАС. Не беда. Доклад обо всем сделаю я сам. (Входят комсомольцы, беседа.)

НИНО. Их надо убрать из коллектива.

ДИТО. Амиран не согласен. Он надеется, что они выправятся.

НИНО. Коллектив мало выиграет, если будет этого ждать. (Входят Кэто и Амиран.)

КЭТО. Если сегодня твой отец выступит против коллектива, то помни, что за ним пойдут многие.

АМИРАН. Думаю, что выступит, уж очень он чувствует себя обиженным.

ТАРАС. Амиран, как твой отец?

АМИРАН. На своем стоит.

ВАРЛАМ. Разве можно настоящему колхознику так считаться с Датунней.

КАЛЭ. Нет, тут дело не только в них, есть более важная причина.

КИРИЛЛ. Комсомольцы, хочу к вам в коллектив, да только маленькую отсрочку прошу, сперва проем начисто все отцовское состояние, а после сейчас же и в коллектив, согласны?

АВТАНДИЛ. Не место в коллективе таким шалопаем, как ты.

ЭГНАТЭ. Мы, шалопаи, живем не хуже вас, а едим и пьем даже лучше. А ты-то, несчастный, только коллектив

и спас тебя, а то тебя никто и за человека-то не считал.

АВАНДИЛ. Замолчи ты лучше, чтоб я не научил тебя уму-разуму.

(Шум. Вбегают девушки, за ними в погоне Датуния.)

ДЕВУШКИ. Свяжите его, люди добрые, свяжите.

ВСЕ. В чем дело, что такое?

1-я ДЕВУШКА.словно с цепи сорвался, кидается на девок.

ТИНА. Покая от него нет.

2-я ДЕВУШКА. Просит поддержать его на собрании.

3-я ДЕВУШКА. Говорите, мол, что другого такого работника во всей деревне не сыщешь.

ДАТУНИЯ (хватая Евфросинью). Клянусь жизнью, не уйдешь.

ЕВФРОСИНЯ. Пусти руку, проклятый, пусти.

ДАТУНИЯ. Нет, пташечка, не уйдешь, не пущу. (Девушка вырывает-ся.) У-ух, изорви я тебе шубу.

ХАПИЧИЯ. Что ты делаешь, дурацкая твоя башка?

ДАТУНИЯ. Ты же советовал мне, чтобы я был веселым.

ХАПИЧИЯ. Дурак ты, разве я тебе говорил, чтоб ты все почтенное обществу беспокоил?

ДАТУНИЯ. А чего им беспокоиться? (Поворачивается к Тарасу.) Тарасу — низкий поклон.

КИРИЛЛ. Датуния, папиросу не желаешь?

ДАТУНИЯ. Папиросы кулачьих сыновей с отравой и опасны.

ЭГНАТЭ. Ну, и дурак!

ДАТУНИЯ. Ты помалкивай. (Показывает кулаки.) Забыл, как пахнут?

ХАПИЧИЯ. Гляди, Датуния, а собрание еще не началось.

ДАТУНИЯ. Верно нас ожидали.

ХАПИЧИЯ. А теперь, брат, держи уговор, помалкивай.

ДАТУНИЯ. Ладно, да только пусть не изводят.

ЭЛИЗБАР. Товарищи, возможно, что техник не будет совсем, потому откровенно заседание без него. В порядке дня два вопроса: первое — о проведении канала от реки Мечхер и второе — о создании порядка в коллективе.

КИРИЛЛ. Лучше сначала о коллективе, а потом о канале.

АВАНДИЛ. Не твоего ума это дело.

ЭЛИЗБАР. По первому вопросу дается слово секретарю комячейки товарищу Тарасу.

ТАРАС. Товарищи, всем конечно известно, как опасна весной река Мечхер, все помнят историю прошлых лет, когда Мечхер, выйдя из берегов, унесла все хозяйство нескольких крестьян, не забыли еще верно Сильвана, Нестора, Гиго и других. Пострадавшие горевали, плакали, сочувствия было много, но помощи никакой, сами знаете: человек человеку — волк.

КИРИЛЛ. А нынче, милейший товарищ Тарас, во всех домах только и есть, что радость да счастье, не правда ли?

ТАРАС. В этом году мы организовали коллектив, земли пострадавших крестьян вошли в этот коллектив, то-есть стали общими, народными.

КИРИЛЛ. Бедная земля: лучше бы уж вода ее унесла.

ТАРАС. По этому поводу, товарищи, сельсовет имел совещание с правлением коллектива и постановил вызвать районного техника и приступить к проведению канала для орошения как коллективных земель, так и всех полей, погибающих от безводья. Таким образом, Мечхер вместо опасности и вреда будет приносить только пользу.

ГОЛОСА. Хорошо, очень хорошо.

ЕЛЕНА. А когда приступим к работе?..

ТАРАС. Время не терпит. На-днях начнем.

ЯЗОН. Эх, товарищи, неужто доведется посмотреть на это доброе дело? Проклятая река...

ЭСТАТЭ. Не бойся. Запляшет еще она у нас по нашей дудке.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Эстатэ.

КОНДРАТИЙ. Правильно, товарищ Онуфрий.

ОНУФРИЙ. Чего пристал, как банный лист? Убирайся от меня.

КОНДРАТИЙ. Да я же шучу, милый, шучу.

ОНУФРИЙ. А ежели мне не до шуток?

КОНДРАТИЙ. Что же поделаешь, милый, что поделаешь...

ЭЛИЗБАР. Итак, товарищи, доклад товарища Тараса принимается, и поручается правлению коллектива приступить немедленно к работам.

ГОЛОСА. Да, да, приступаем к работе.

ЭЛИЗБАР. Первый вопрос исчерпан, по второму вопросу слово предоставляется товарищу Элептеру.

ХАПИЧИЯ. Вот оно, Датуния, пробил наш час. Возьмется теперь Элептер за наши души.

КИРИЛЛ. Сейчас речь пойдет об уклонах Датуни.

ВАРЛАМ. Прикажете замолчать этому шарлатану.

ЭЛЕПТЕР. Товарищи, я человек рабочий и говорить я буду по-рабочему. Начинаю, работа коллектива не клеится, и это в самую горячую пору. Канал мы должны были уже давно закончить, а у нас еще ничего не сделано, даже бугры и межи не сровняли. А кто виноват? Виноваты лентяи в роде Датунии и Хапичии.

ВСЕ. Это — правда?

ЭЛЕПТЕР. Скажу откровенно: в нашем коллективе объединено всего 125 домов, а вряд ли работает хотя бы половина. Вам известно, из-за чего ушел от нас Гарсеван? Может быть, в нем, кроме всего прочего, заговорили чувства собственника, но об этом нам пока не известно, а потому прямой причиной будем считать Датунию и его товарищей.

ВСЕ. Правда, правда.

ЭЛЕПТЕР. Поэтому, чтоб в будущем избежать подобных историй, правление коллектива приступило к разработке общих правил, в силу которых каждый член коллектива будет обрабатывать отмеренную ему часть земли и при окончательном расчете он получит столько, сколько стоит его работа. Но до разрешения этого задания предлагаю собранию иметь суждение относительно Датуни и его товарищей и вынести свое решение.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Элептер.

ДАТУНИЯ. Прошу слова, товарищ председатель.

ЭЛИЗБАР. Слово дается товарищу Датунии.

ДАТУНИЯ. И вот, товарищи, чего от нас хотят? Я и Хапичия и другие работали, сколько могли, а Гарсеван все приставал: работайте да работайте. А мы ему отвечали, что, поработавши, можно и отдохнуть. Правду я говорю, товарищи?

ХАПИЧИЯ. Правда, истинная правда.

НИКО. Правда, Датуния, с этим и я согласен.

ДАТУНИЯ. И вот он все ругался и ругался, а под конец и совсем ушел, так при чем же тут мы?

КАЛЭ. Врешь, Датуния, врешь.

ВАРЛАМ. Это благодаря тебе пропала у всех охота к работе.

ГАРСЕВАН. Председатель, прошу слова.

ЭЛИЗБАР. Слово товарищу Гарсевану.

ГАРСЕВАН. Во-первых, я должен заявить, что никакие собственнические чувства во мне, слышь, не просыпались. Во-вторых, Датуния врет, потому что дурак и больше ничего. Он и его товарищи не работали, слышь, и, когда я им сказал, что надо торопиться сровнять землю, они начали ругаться со мной и даже избить хотели. Другой причины не было, и я думаю, что всякий порядочный работник поступил бы так же, как и я.

НИКИФОР. И вправду мы с такими шалопаями работать не можем.

РЕМАНОЗ. И я, дяденька, не останусь работать, чтобы за таких дармоедов отдуваться.

4-й КРЕСТЬЯНИН. И я не хочу.

1-й КРЕСТЬЯНИН. И я хочу выйти из коллектива.

2-й КРЕСТЬЯНИН. И я тоже.

ЭСТАТЭ. Никифор, Реманоз, стыдно вам глупости говорить, стыдно.

ЕЛЕНА. Что это значит? Кулачье подкупило? (*Шум и гам.*)

АМИРАН (*выступая вперед*). Товарищи, товарищи...

КИРИЛЛ. Товарищ председатель, разреши мне одно слово сказать.

АВТАНДИЛ. Как это, ты осмеливаешься еще слова требовать на нашем собрании? Ну-ка вылезай отсюда и убирайся к чорту.

(Парни окружают Кирилла и Эгнатэ и выгоняют их с собрания.)

ЭЛИЗБАР. Тише, товарищи, тише. Слово принадлежит Амирану.

АМИРАН. Товарищи, наш коллектив только-что создан и потому пока еще не успел достаточно организоваться. Поэтому и происходит так, что некоторые действительно работают, а некоторые бездельничают. Поэтому, чтоб и впредь не повторялись такие неполадки, говорю: наказать лентяев... А чтобы их наказать, вношу следующее предложение: Датуния, Хачичия, а также и Нико, который очень часто плелся за их хвостом, пусть будут переведены на постройку дамб реки Мечхер. В течение определенного времени они должны выполнить определенную работу, в противном случае пускай будут исключены из коллектива.

ГОЛОСА. Да, да, вот это я понимаю... умно сказано.

ЕЛЕНА. Попробуем еще раз: исправятся — хорошо, нет, так пусть пеняют на себя: они будут удалены из коллектива окончательно.

ОНУФРИЙ. Правильно, товарищ Елена.

КОНДРАТИЙ. Правильно, товарищ Онуфрий.

ОНУФРИЙ. Оставь меня в покое, что пристал ко мне, как неприкаянный.

КОНДРАТИЙ. Шучу, миленький, шучу.

ОНОПРЭ. Фу! ты...

ТАРАС. Товарищи, я согласен с предложением товарища Амираана. Теперь нужно проголосовать.

ЭЛИЗБАР. Товарищи, кто за — подымите руки. *(Многие поднимают руки.)* Кто против? Кто воздержался? *(Оглядываясь на некоторых.)* Товарищи, почему не принимаете никакого участия?

НИКИФОР. Мы не желаем коллектива.

РЕМАНОЗ. Мы заявляем, что в коллективе много таких молодцов, как

Датуния, мы не желаем работать с ними.

3-й КРЕСТЬЯНИН. И я хочу уйти.

4-й КРЕСТЬЯНИН. И я также.

ЭСТАТЭ. Что вы, товарищи, записывались в коллектив, а теперь уходите? Это недопустимо.

НИКИФОР. Как так не допускается?

ЭСТАТЭ. Очень просто, если не хотели, зачем записывались?

ЭЛЕПТЕР. Подождите, товарищи, мы никого не принуждаем: кто не желает, может уйти. Подымите руки, кто хочет выйти из коллектива.

ГОЛОСА. Я, я, я!

ГОЛОСА. Я хочу, и я!

ЭЛЕПТЕР. Раз, два, три — всего пять человек. Подайте, товарищи, заявление и завтра же можете уйти. Остальные, хотите остаться в коллективе?

ГОЛОСА. Да, хотим, да!

ЕЛЕНА. Пусть только Датуния и его товарищи нам не мешают работать.

ЭЛЕПТЕР. Датуния и его товарищи наказаны, а, если не исправятся и в будущем, будут удалены совершенно из коллектива. Согласны?

ВСЕ. Да, да!

ЭЛИЗБАР. Итак, товарищи, все вопросы исчерпаны, собрание объявляю закрытым.

НИКО. Все это хорошо, Элептер, но я-то тут при чем?

ЭЛЕПТЕР. А при том, дяденька, что прихвостнем был у Датунии и Хачичии, а как отстанешь от них, так и наказывать не за что будет.

ДАТУНИЯ *(выступая вперед)*. После тех оскорблений, которые мне здесь пришлось выслушать, я никуда и не двинусь отсюда.

ЭЛЕПТЕР. Не двинешься, получишь по шеем и баста.

ДАТУНИЯ. По шеем? Еще посмотрим, кто кого... У-ух! Видите это? *(Сжимает кулаки.)*

ЭЛЕПТЕР. А ты до каких пор собираешься глядеть другим в руки? Чем ты хуже других, здоровья тебе не хватает, лицом не гош, ростом мал или силы мало у тебя?

ДАТУНИЯ. Ну и что ж? Есть все, и работаю, как могу. Чего вам от меня надо?

ЭЛЕПТЕР. Вот и поработаешь, как нам надо!

ХАПИЧИЯ. Помолчи, Датуния, помолчи.

ДАТУНИЯ. Ну ладно, ладно, как вам угодно, сумею и поработать.

ХАПИЧИЯ. Ай да Датуния! *(Датуния приглашает поплясать Апраксию.)*

АВАНДИЛ. Ну, попляши, что...

АПРАКСИЯ. Фуй ты, чего пристал, леший? Отстань, сделай милость!

ДАТУНИЯ. Апраксия, ясный месяц,
Попляши, попляши,
Стан твой, стройный и
прекрасный,

Покажи, покажи.

ХАПИЧИЯ. Эх, Парсадан, жарь, жарь!

АПРАКСИЯ. Ну тебя, болтливая голова, и зачем мать тебя на свет родила, шут гороховый! *(Убегает.)*

ДАТУНИЯ *(Тине)*.

Апраксия прочь подрала,
Но ты, Тинка, туточка,
Ты б со мною поплясала,
Тинка-прибауточка.

ХАПИЧИЯ. Парсадан, не обижай Датунью. Тиночка, выходи плясать.

(Тина танцует с Датунией, постепенно все пускаются в пляс. Общее оживление.)

Картина пятая

(Балкон дома Гарсевана. Общее горе.)

ГАРСЕВАН. Медиаторов уже назначили, медиаторов! Эх, Датуния насмеялся-таки надо мной!

ЕЛИСАБЕТ. Ох, Амиран, Амиран, за все это могилы для тебя не жаль, могилы!

ИОРДАН. Не проклинай, невестушка, грех это большой, — что бы он ни делал, все-таки он свой, кровь наша.

ГАРСЕВАН. Нет, отец мой, он уже не наш, чужой он.

ЕЛИСАБЕТ. Свой бы не зарезал своих родных.

ИОРДАН. Проклинять не дело, грех это, грех.

ЦИРУ. Ну, и пусть проклинают, какой в этом прок.

ИОРДАН. Что ты, что ты, Циру, бог слышит проклятие матери. Хотя и то правда: когда мать проклинает, груди благословляют.

ЦИРУ. Тем более, бабушка.

ИОРДАН. А все же не по сердцу мне эти проклятия, нет...

ГАРСЕВАН. Вот уже пришли. Циру, беги, открой кувшин и захвати вина. *(Циру уходит, к дверям подходят Иларион и Соломон. Гарсеван — Елисабет.)* Встречай, жена!

ЕЛИСАБЕТ. Пожалуйста, люди добрые, пожалуйста!

ИЛАРИОН. Мир дому сему!

СОЛОМОН. Мир вашей семье!

ИОРДАН. И да сопутствует вам благословение святого Квирикэ!

ГАРСЕВАН. Как дела, Иларион?

ИЛАРИОН. Вот так. *(Показывает большой палец, направленный вверх.)* Пять человек вырвали из них, разве это не дело?..

СОЛОМОН. А если и дело Амира-на на лад пойдет, совсем хорошо получится.

ИЛАРИОН. Вот по этому делу мы и пришли сегодня. А Амиран-то будет сегодня?..

ЕЛИСАБЕТ. Обещал Циру зайти.

СОЛОМОН. Ну и хорошо.

ИЛАРИОН. Ради бога с Циру будьте осторожнее. Ребенок она, разнесет по свету.

СОЛОМОН. Да, да, разнесет, разнесет.

ИЛАРИОН. Значит так, как только придет Амиран, Гарсеван пусть завалится в постель, будто кондрашкахватила и помирает.

ЕЛИСАБЕТ. Что ты, что ты, бог с тобой.

ИЛАРИОН. А далее Мзеха-гадалка подспеет, с ней уже уговорено, осмотрит и скажет: гневается икона святого Квирикэ, и ничего ему не поможет, кроме свечи в рост человека, зажженной первенцем — Амирани.

СОЛОМОН. Это не дурная мысль!

ГАРСЕВАН. Дальше, дальше!

ИЛАРИОН. Амиран конечно не согласится, но вот здесь вам, Елисабет и Иордан, нужно вмешаться, — умолить нужно, а, если согласится, дальше, как по маслу, пойдет.

ГАРСЕВАН. А зачем все это, ума не приложу.

ИЛАРИОН. И этого не понимаешь? Да совсем просто: как узнают товарищи про это, так и исключат его из комсомола, этого не простят!

СОЛОМОН. Не простят, не простят, знаю я этот народ!

ИОРДАН. Да, да, сын мой, этак дело выгорит.

СОЛОМОН. Да, дело слажено.

ИЛАРИОН. Не совсем, этого недостаточно.

СОЛОМОН. Правильно, недостаточно.

ГАРСЕВАН. Недостаточно.

ИЛАРИОН. Может статься, что только за это его из комсомола не исключат, надо и другую причину.

ЕЛИСАБЕТ. Какую причину?..

ИЛАРИОН. Причину, а какую — сами пораскиньте умом, а то что это все меня думать заставляет. (*Для вида задумывается.*) Да, воровство!

ГАРСЕВАН. Как воровство?

ИЛАРИОН. А очень просто, видишь это?

(*Достает банковский билет в 5 червонцев.*)

ГАРСЕВАН. Что это такое, Иларион?

ИЛАРИОН. А деньги ячейки комсомола, подробности после узнаешь... А теперь как-нибудь постарайтесь потихоньку засунуть деньги Амирану в карман.

ИОРДАН. Грех напраслину на человека взводить.

СОЛОМОН. Нет, дед, не грех, — этим вы спасете семью от разорения.

ГАРСЕВАН (*в сомнениях*). Как это, Соломон, Иларион, — семья пропадает, а тут еще и сына губить, нет, не могу я этого сделать.

ИЛАРИОН. Пойми же, Гарсеван, это дело навсегда закроет для Амирана двери в комсомол, и семья твоя будет спасена, и сын.

ГАРСЕВАН. Нет, нет, на это не могу согласиться...

ЕЛИСАБЕТ. Нет, нет, не можем мы так поступить с сыном.

СОЛОМОН. А как же вы хотите спасти свой дом, хозяйство?

ИЛАРИОН. Другого выхода нет, поймите вы, поймите!

ГАРСЕВАН. Нет, не можем!

ИЛАРИОН. Не можете, ну, и оставайтесь со своим блудным сыном... Одну половину уже взял, возьмет скоро и вторую. Тогда вот и покричи: не могу да не могу. Идем, Соломон, идем отсюда... (*Хотят уйти.*)

ГАРСЕВАН. Подождите же немного, обдумаем: может быть, какое-нибудь другое средство найдется.

СОЛОМОН. Другого ничего не придумаешь.

ИЛАРИОН. Если б было, за что другое ухватиться, мы бы согласились.

ГАРСЕВАН. Жена, как нам быть? Как поступить?

ЕЛИСАБЕТ. Что нам делать? Тяжело такую вещь с сыном.

СОЛОМОН. Когда выгонят из комсомола, вы увидите, как он переменится, злобой и мстостью наполнится вся его душа... не сдобровать коллективу тогда.

ИЛАРИОН (*протягивает деньги Гарсевану*). Незаметно положи ему в карман. А потом грех замолить можно у святого Квирикэ. Зарежем барана, и все тут. (*Гарсеван берет деньги*).

СОЛОМОН. Вот и хорошо. Ты лучше заставь Циру положить деньги, девочке грех скорей простится.

ИЛАРИОН. Она и не выдаст нас, она будет бояться, чтоб ее не обвинили в воровстве.

СОЛОМОН. Ну, Иларион, дальше и без нас дело пойдет.

ИЛАРИОН. Идем, идем.

ГАРСЕВАН. Куда вы, куда? Выпьем чарочку вина...

ИЛАРИОН. Нет, не стоит. Еще увидят, заподозрят.

СОЛОМОН. И то правда. Надо быть осторожными! (*Циру приносит вино.*)

ГАРСЕВАН. Ну, хоть по стаканчику, стоя, недолго.

ИЛАРИОН. Стоя?

СОЛОМОН. Стоя, пожалуй, что и можно. Что ты скажешь?

ИЛАРИОН. Да, да, стоя можно.

СОЛОМОН. Это за наше дело. Дед Иордан, благослови.

ИОРДАН. Да поможет вам бог.

ИЛАРИОН. За наше дело выпили, выпьем второй за поражение врага нашего. *(Замечает, что хозяйева очень грустны.)* Вы чего затосковали-то? За ваше здоровье! Многие лета!.. *(Поет. Соломон, подтягивая, поднимает голос выше.)* Соломон, чего ты орешь, обалдел, што ли, а сам все говорил: тише да тише, а теперь...

СОЛОМОН. Ну, так идем, идем! Слушай, дядя, можно еще по одной, а?

ИЛАРИОН. Нет уж, братец, идем! *(Уходят.)*

ГАРСЕВАН. Циру, на тебе вот деньги, ты их незаметно положи Амирану в карман.

ЦИРУ. Почему незаметно?

ЕЛИСАБЕТ. Ты же знаешь, он без денег.

ГАРСЕВАН. А от нас не захочет взять.

ЦИРУ. Хорошо, батя, хорошо.

ГАРСЕВАН. Беги к нему в ком-ячейку и скажи, чтоб поскорее шел домой.

ЦИРУ. Бегу.

ГАРСЕВАН. Елисабет, послушай, как бы Циру не сказала что-нибудь Амирану. Она у нас, кажись, все понимает.

ИОРДАН. Она у нас смышленная:

ЕЛИСАБЕТ. Со свечой у нас ничего не выйдет, если нам Циру не поможет.

ГАРСЕВАН. Это верно. Ну так я сейчас же и лягу, а когда они придут, так вы и начинайте реветь!

ИОРДАН. Хорошо.

ГАРСЕВАН. А теперь все зависит от вас. *(Повязывает голову платком и ложится.)*

МЗЕХА *(входит)*. Сила нечистая, сила нечистая. Мать твоя в слезах, отец твой плачет. Выйди из него, войди в другого. Уйди, уберись. Иначе у меня сто быков, сто коров заревут за тобой. Засохнешь, завянешь. Подожгу огнем, задует сверху, унесет книзу. Ай, больно уж вспотел.

ГАРСЕВАН. Что поделаешь, слышь,

говорят: нужда заставит — и с царицей ляжешь.

МЗЕХА. Ишь ты, наказание какое — с царицей-то лечь... А?

ГАРСЕВАН. Так уж, слышь, говорят...

МЗЕХА. Ничего, для того, чтоб свое добро сохранить, и не на такие дела согласишься.

ИОРДАН. Что ж поделаешь?

ЕЛИСАБЕТ. Тише, Амиран идет! *(Начинается плач, причитания и крики.)*

МЗЕХА. Сила нечистая, сила проклятая...

ЕЛИСАБЕТ *(бросаясь к сыну)*. Амиран, дитя мое, отец, отец твой...

ИОРДАН. Внучек, мальчик мой, отец твой...

АМИРАН. Что такое, что случилось? *(Увидел распростертого на скамейке отца.)* Что с ним?

ЦИРУ *(придя в себя)*. Ай, тятя! *(Подбегает к отцу.)*

ИОРДАН. Умирает он, умирает, ох, я, несчастный старик!

АМИРАН *(бросаясь к отцу)*. Отец, отец!.. Хороший мой!..

ГАРСЕВАН. Хе-е-е-е. *(Несвязно бормочет.)*

МЗЕХА *(лепечет)*. Выйди из него, войди в другого...

АМИРАН. Как это произошло? Отчего?

ЕЛИСАБЕТ. Работал в саду... вижу, падает, подбежали, внесли в дом, а он уже без памяти!

АМИРАН. Давно?

ИОРДАН. С полчаса, не больше... Ой, горе мне, старику!

АМИРАН. Отец, отец, скажи хоть слово!..

ГАРСЕВАН. Ф-э-э!..

АМИРАН *(плачет над ним)*. Ой, ой, отец дорогой!..

МЗЕХА. Него заревут за тобой... Засохнешь... завянешь...

АМИРАН *(привстав)*. А это кто?

ЕЛИСАБЕТ *(причитая)*. Мзеха.

АМИРАН. Что ей здесь надо?

ЕЛИСАБЕТ. Нечистую силу заговаривает.

МЗЕХА *(перестает бормотать)*. Не плачьте!.. -Спасенье есть!

ИОРДАН. Как? Какое?

МЗЕХА. Икона святого Квирикэ сердится на ваш дом. Нужно поставить ей свечу ростом с Амираана.

ЕЛИСАБЕТ. Ну?

МЗЕХА. Мзеха никогда не лжет.

ИОРДАН. Кто же должен поставить свечу-то?

МЗЕХА (*воздев руки вверх*). Наследник больного.

ЕЛИСАБЕТ. Амиран?

МЗЕХА (*все в том же положении*). Так хочет святой Квирикэ. Слава ему!

АМИРАН (*бросаясь на нзе*). Что ты сказала? Как ты сказала?

МЗЕХА. Тише, дитя мое, тише, вот и сейчас слышу шелест крыльев ангела хранителя Гарсевана... Он говорит: «Нет спасенья иного, Амиран должен немедленно бежать к иконе святого Квирикэ и поставить ему свечу...» Мзеха не врёт...

ЕЛИСАБЕТ. Дитя мое, спаси отца, спаси его!

АМИРАН. Что ты, что ты, матушка... Что она понимает!.. Я побегу за доктором!

МЗЕХА. Нет, нет, доктор ему не поможет... Он сразу же встанет на ноги, как только свеча будет зажжена перед иконой.

ИОРДАН. Помоги отцу, внучек, помоги ему.

АМИРАН. Да, да, дедушка, но разве не лучше доктора?

МЗЕХА. Нет. Святой Квирикэ сердится на Гарсевана и требует жертвы. Мзеха говорит правду.

ГАРСЕВАН (*ворочает глазами в сторону дверей*). Е-е-е...

АМИРАН. Что тебе, отец, что с тобой?

ГАРСЕВАН. Е-е-е. (*Глаза в сторону дверей*.)

МЗЕХА. Вот видишь, он сам тебе на двери указывает. Ангел хранитель и ему внушил, что надо обратиться к святому Квирикэ.

ЕЛИСАБЕТ (*несет длинную свечу*). Амиран, спаси своего любимого отца от смерти, носи свечу святому Квирикэ!

ИОРДАН. Спаси, спаси его!

ГАРСЕВАН. Е-е-е-е...

ЕЛИСАБЕТ. Видишь, и он тебя умоляет.

АМИРАН. Мама, что с тобой? Мне, комсомольцу, итти со свечой?! Я пойду к доктору. (*Бежит, но его хватают за руку, обнимают, умоляют.*)

МЗЕХА. Мзеха правду говорит... надо зажечь свечу... наследнику... Гарсеван тогда на ноги станет... заговорит.

ЕЛИСАБЕТ. Спаси нас, спаси отца! Циру, попроси его, стань на колени перед ним!..

ЦИРУ. Спаси батю, Амиран, спаси!..

АМИРАН. Циру, я — комсомолец... а она, Мзеха ваша, — обманщица... Она все врёт... Маменька, я сбегая за доктором!

ГАРСЕВАН. Е-е-е-е...

МЗЕХА. Мзеха не врёт... свечу надо... Гарсеван встанет.

ИОРДАН. Спаси, спаси от смерти отца!

ЦИРУ. Братец мой, золотой мой, спаси батю!

ЕЛИСАБЕТ. Нет, дитя мое, на что ему доктор, он ему не поможет. Теперь я знаю, за что сердится святой Квирикэ: вот уже три года, как мы не приносили ему никакой жертвы. Спаси его, помоги ему, сыночек мой родной, золотой мой мальчик! (*Становится на колени.*)

АМИРАН. О-ой, что вы со мной делаете... О-ох, как быть? (*Скрежещет зубами.*) Давайте свечу. Лучше я приведу доктора, маменька. Свеча не может.

ГАРСЕВАН. Е-е-е-е...

МЗЕХА. Свечу, свечу!..

ЕЛИСАБЕТ. Нет, дитя мое, не надо доктора.

ЦИРУ. Амиран, бери свечу, бери...

АМИРАН. Хорошо, я пойду, но... ты... у-у-у, проклятая баба! (*В сторону Мзехи.*) О-ох!.. (*Убегает.*)

ИОРДАН. Следите, следите, зажжется ли в церкви свеча?

ЕЛИСАБЕТ. Зажглась!..

ИОРДАН. Ослеп я, но и я вижу теперь.

ГАРСЕВАН. Зажглась, зажглась!.. (*Встает. Циру начинает целовать отца.*)

ЦИРУ. Батя, батя, бегу обрадовать Амираана!

МЗЕХА. Ай да Мзеха, молодец баба, состряпала дельце-то как, а? Ха-ха-ха!

ИОРДАН. Дом спасен!

МЗЕХА. Ну-ка-сь, подайте за труды. *(Берет деньги.)* Спокойной ночи. Ай да баба, ай да молодчина! Вот состряпала-то!

ГАРСЕВАН. Действовать надо и дальше осторожно, авось вернем мальчика совсем.

ИОРДАН. Вот, вот, хорошо, слава господу богу! *(Входят Иларион и Соломон.)*

СОЛОМОН. Люди, а Амиран-то ваш свечу выкинул.

ГАРСЕВАН. Как так выбросил, а как же она зажглась, мы ее отсюда видели?

ИЛАРИОН. Слушайте, мы за вами следили с самого начала, и вот Амиран вышел из дому, мы, обрадовавшись, бросились тайком вслед за ним, хотели посмотреть, как комсомолец будет зажигать свечу иконе святого Квирикэ, и вдруг слышим крепкую брань, и вслед за этим свеча полетела на землю, а сам он побежал по направлению, где живет доктор, а мы, тотчас же отыскивали свечу и сами поставили перед святым Квирикэ.

ГАРСЕВАН. Неужели это правда?

ЕЛИСАБЕТ. Вот тебе и раз, даром пропали все наши труды.

СОЛОМОН. Не беспокойтесь, положение-то от этого не меняется.

ГАРСЕВАН. Как?

ИЛАРИОН. В ту минуту, когда Амиран побежал к доктору, с нами поровнялась комсомолка Нино, но до нас она встретила с Амираном и спросила его о чем-то, Амиран не ответил ей, удивленная этим, она спросила нас, не знаем ли мы, в чем дело, а мы ей и сказали: вы-де вот в бога что верите, а он для спасенья отца, разбитого параличом, поставил свечу перед иконой святого Квирикэ. Нино вскрикнула и побежала к церкви. К тому времени подошли и другие соседи, которых мы также уверили, что свечу поставил Амиран.

СОЛОМОН. Так что... мой Гарсеван, дело все-таки выгорело.

ГАРСЕВАН. Как так выгорело?

ИЛАРИОН. А так, что Нино эта самая завтра же побежит в бюро комсомола и сообщит об этом, а, чем это кончится, это вам хорошо известно.

ГАРСЕВАН. Но ведь Амиран заявит, слышь, что он выбросил свечу.

СОЛОМОН. А кто ему поверит? Не будет же он отрицать того, что из дому он вышел со свечой в руке.

ГАРСЕВАН. Это верно, значит, дело не совсем пропащее.

ИЛАРИОН. Ничуть. До свиданья. Скоро Амиран явится с доктором, и нам оставаться здесь нельзя.

ГАРСЕВАН. Помоги тебе господь, спас ты мне семью и дом.

ИОРДАН. Да, сыночек, бог велик и не оставит никогда своих детей.

ЕЛИСАБЕТ. Святой Квирикэ, спаси нас, помилуй и прости нам грехи наши невольные.

ИОРДАН. Да, дочка, грех велик, но слава ему, святому Квирикэ, он простит нам.

АМИРАН *(вбегает. Доктора не стал. Увидев отца на ногах, вскрикивает, поняв все).* Отец, отец!.. *(Опускается на скамью.)*

(Молчанье, чувствуется тяжелое настроение.)

Картина шестая

(Заседание бюро ЛКСМ.)

ОТАР. Товарищи, вношу предложение рассмотреть сначала заявление относительно Дито, а затем перейдем к обсуждению вопроса об организации ударной бригады, так как, товарищи, этот последний вопрос потребует много времени. Согласны?

ВСЕ. Согласны.

ОТАР. Кэто, читай жалобу на Дито.

КЭТО *(читает)*. «Заявление в бюро комсомола... Настоящим доводим до вашего сведения, что комсомолец Дито, которому нужно следить за скотиной, почти больше половины сена дает своей бывшей скотине в то время, когда остальная скотина голодает. Прошу принять меры.

Калэ Бериашвили».

(Комсомольцы начинают смеяться, слышатся голоса.)

ГОЛОСА. Правда ли это, Дито? Ай да молодчина, вот так комсомолец! (Дито чувствует себя неловко. Лицо у него горит.)

ОТАР. Что это с тобой случилось, Дито?

ДИТО. Калэ — болтун и выскочка... Я уже пять дней с ним не разговариваю.

ОТАР. Неправда. Ты и Калэ всегда были друзьями.

ДИТО. Если б были друзьями, он не донес бы на меня.

ОТАР (входит Калэ). Вот и он. Что скажешь, Калэ?

КАЛЭ. То же, что написал. Вчера он накормил только своих быков. Остальные остались без корма и на работу не годились. Не правда разве, Дито? Смотри-ка в глаза!

ДИТО (глядя то на одного, то на другого). Ну, что ж, правда. Сена было мало, и на всех нехватило бы.

ОТАР. И дал?

ДИТО. Своим бычком.

АМИРАН. Что такое? Каким таким своим?

ДИТО (вытирает глаза). Как?

АМИРАН. Как? А ты разве не знаешь, что такое коллектив?

ДИТО. Как не знаю?

АМИРАН. Если знаешь, то должен знать кому принадлежат быки.

ДИТО. Коллективу.

ОТАР. А только-что говорил: своим.

ДИТО. Это так... они — бывшие мои.

АМИРАН. Вот именно бывшие, но это надо понять и проводить в жизнь.

ОТАР. Вот что, Дито, ты, видимо, еще не совсем сознательный комсомолец, иначе знал бы, что вся скотина коллектива — твоя и уход за ней должен быть одинаковый.

ДИТО. Не знаю. Я так люблю своих Джотия и Кокия, что...

АМИРАН. Как своих? Ты все не хочешь понять, что они не твои, а коллективные.

ДИТО. Не знаю, коллективные или нет, но знаю, что люблю их больше остальных.

ОТАР. Товарищи, все это означает, что Дито не освободился еще от чувства собственника. Предлагаю вынести ему, как оскорбившему комсомол, строгий выговор и перевести его на другую работу. Кто согласен со мной?

ГОЛОСА. Хорошо, правильно! Так ему и надо!

ДИТО. Какую-то охапку сена дал моим Джотия и Кокия, и за это наказываете меня. Кто же за ними при- смотрит без меня.

ОТАР. Послушай, Дито, повторяю еще раз тебе, что Джотия и Кокия не твои, а собственность коллектива, и раз навсегда брось эти глупости.

ДИТО. Хорошо, но...

ОТАР. Конечно об этом. Теперь, товарищи, переходим к вопросу об организации ударной бригады. Слово дается товарищу Амирану.

АМИРАН. Товарищи, коллектив у нас есть, но порядка в нем мало. Благодаря Датунни и Хапичии и им подобным многие крестьяне охладели к работе и даже уходят. Но самое главное теперь — это провести посевную кампанию и так, чтобы ни один кусок земли не остался незасеянным. Работы много, и я вношу предложение об организации ударной бригады, на которую будет возложено как быстрое и точное выполнение прямых ее обязанностей, так и принягие мер для соблюдения вообще порядка и общей дисциплины.

ОТАР. Кто за бригаду, товарищи?

ГОЛОСА. Дело хорошее, принять.

ОТАР. Кто желает, записывайтесь.

ГОЛОСА. Я, меня, и меня.

ДИТО. Кэто, запиши и меня.

ОТАР. Кэто, запиши и его.

КАЛЭ. Когда бригада начнет работать?

АМИРАН. Как можно скорее... в два, три дня. (В это время влетает комсомолка Нино с бумагой в руках.)

НИНО. Товарищи, товарищи!

ВСЕ. В чем дело, что такое?

НИНО. Товарищи, Амиран — предатель. (Ударяет рукой об стол.)

ОТАР (вскакивая). Как?

НИНО. Вот, читайте! (Амиран застыл. Все смотрят то на него, то на

Нино. Отар читает бумагу, потом грозно Амирану.)

ОТАР. Правда это, Амиран?

АМИРАН. Что?.. (Ошеломленный.)

КАЛЭ. Читай, Отар, читай.

ОТАР (читает). «В бюро ЛКСМ. Сообщаю, что вчера ночью, четвертого марта, член бюро ЛКСМ Амиран Боадридзе для спасенья отца, разбитого параличом, вместо того, чтобы позвать врача, по просьбе матери и дедушки пошел в церковь Квирикэ и поставил перед иконой свечу. Сообщая об этом, предлагаю поставить вопрос о нем на заседании бюро ЛКСМ. Член ЛКСМ Нина Теладзе». Амиран, что ты наделал?..

ВАРЛАМ. Изменил?

АМИРАН. Я... я... (Бормочет.)

ОТАР. Что ты?.. Такой сознательный и ставишь свечу!

АМИРАН. Я... я...

ОТАР. Что, у тебя язык прилип? Отвечай!

КЭТО. Что ты натворил?

АМИРАН. Это — ложь, товарищи, выслушайте меня!

КЭТО. Слушаем!

АМИРАН. Отца разбил паралич, до моего прихода домой позвали знахарку, она что-то над ним долго бормотала, приговаривала и под конец заявила, что икона святого Квирикэ гневается и что, пока Амиран не поставит свечи, больной не встанет на ноги. Дед и матушка начали слезно умолять меня поставить свечу. Я свечу, правда, взял у них, чтоб успокоить их, но не зажигал перед иконой, а забросил в овраг, а сам пошел за врачом.

НИНО. Врет, врет! Он встретился со мной и ни слова не сказал. Я видела сама, своими глазами зажженную свечу.

КАЛЭ. Оправдывайся, Амиран, почему молчишь?

АМИРАН. Что я могу сказать?.. Не виноват... не зажигал.

НИНО. Что же она, по-твоему, сама зажглась? На церковных дверях и сейчас торчит недогоревшая половина! (К Дито.) Поди принеси. Пусть собственными глазами поглядит. (Дито уходит.)

АМИРАН. Нет, товарищи, я не зажигал ее, слышите?.. А выбросил ее в овраг.

НИНО. Кто же зажег?

АМИРАН. Откуда я знаю!

КАЛЭ. Фу ты, и как только тебе не стыдно оправдываться, ей-богу?

ВАРЛАМ. Что же нам теперь делать? Оскандалилась наша ячейка навсегда!

КЭТО. Да, слава по всей деревне пойдет.

НИНО. Ночью Иларион, Соломон и другие соседи стояли, смотрели на горевшую свечу и хихикали: вот он-де, Амиран, на словах против святого Квирикэ, а на деле свечку ему ставит! Так издевались надо мной, что лучше бы мне сквозь землю провалиться... Эх!

ОТАР. Молодец, Амиран, молодчина, ты скажи нам, выздоровел ли твой отец по крайней мере от этого?

АМИРАН. Отец мой, оказывается, вовсе не был болен. Когда я вернулся домой, он был уже на ногах. Это была выдумка.

ОТАР. Как так выдумка? Для чего, для кого?

АМИРАН. Не знаю.

ОТАР. Дед и бабушка твои знали об этом?

АМИРАН. Повидимому, знали.

ОТАР. Значит, вся семья провела это дело, заранее обдумавши?

АМИРАН. Очевидно.

ОТАР. А ты ничего не знал и сейчас ничего не знаешь, в чем дело?

АМИРАН. Нет, не знаю!

ОТАР. Товарищи, здесь дело нечисто. Иларион... и Соломон... Товарищ Нино, кого ты еще встретила по дороге?

НИНО. Илариона и Соломона.

ОТАР. Спустя сколько времени?

НИНО. В ту же минуту.

ОТАР. В каком месте?

НИНО. Как только рассталась с Амираном.

ОТАР. Амиран, Иларион и Соломон были у тебя в доме?

АМИРАН. Нет.

ОТАР. И по дороге их не встретил?

АМИРАН. Нет.

ОТАР. Хорошо. (Обращаясь ко

всем.) Товарищи, мы имеем дело с целой организацией, у которой и план обдуман, и цели намечены. Иларин, Соломон, уход отца из коллектива, симуляция болезни, знахарка и свеча. Ясно, они ведут наступление как на нас, так и на коллектив, и думается мне, Амиран, что тебе не безызвестно все это.

АМИРАН. Что вы говорите, товарищи, вы забываете, что я отделяюсь от отца, и заявление об этом я уже подал в бюро ячейки. (В это время пьяные Кирилл и Эгнатэ подходят с пенным.)

Во ву чела сирерчела чела, чела
во-ва-ва.

Пить и есть, вот это — дело, чела,
чела во-ва.

КИРИЛЛ. Эй ты, Эгнат, погляди-ка на наших комсомольцев!.. Ха-ха!

ЭГНАТЭ. Что ты понимаешь, Кирилл, они — политикане!.. Дурак, политикане, и дело делают!.. Хи-хи!

КИРИЛЛ. Эгнатэ, видишь, как комсомольцы обступили бедного Амирана, как свора собак, ей-богу.

ЭГНАТЭ. А ты не знаешь, почему? Да потому, что мы с ним позавчера здорово дернули в кооперативной лавке! Хи, хи, хи!

КИРИЛЛ. Хи-хи, здравия желаем, комсомольцы. Что вы, дяденьки, обступили парня?.. Или косточку утащил?..

ЭГНАТЭ. Да, да, именно, косточку утащил, косточку. (Входят на балкон.)

КИРИЛЛ. Дяденьки, нас в партию не записывайте...

ЭГНАТЭ. Запишите, милые, нас... Что мы — парнишки почище вас. Это и вам заметно...

ОТАР. Вам что здесь понадобилось?

ВАРЛАМ. Вы зачем притащились?

ЭГНАТЭ. Хи-хи! Нам ничего особенного, кроме вашего здравия да нашего зачисления в комсомольцы.

КАЛЭ. Где нализались, там же и оставались бы, а сюда никто вас не просил.

КИРИЛЛ. Нам сказали, комсомольцы — все равно, что граммофон, они вас повеселят.

ЭГНАТЭ. Пойдемте, дяденька, приглашаем всех, двенадцать кварт вина ставлю.

КИРИЛЛ. Хи-хи, повеселим вас на славу. Забудете не только комсомол, но и свечу святого Квирикэ.

АМИРАН. Ох... вашу... (Сжимает кулаки.)

ОТАР. Убирайтесь сию же минуту вон!

ВАРЛАМ. Или, может быть, захотелось, чтобы я исполосовал ваши кривые рожки?

КИРИЛЛ. Почему же, дяденька, почему?.. Двенадцать кварт он покупает да еще моих двенадцать. Угощение хоть куда!..

ВАРЛАМ. Вам говорят или кому? (Рвется ударить.)

ЭГНАТЭ. Эй ты, Варлама, ты чего, кукурузная труха, разорешься? Чем хуже тебя Амиран, а, небось, кутил со мной позавчера... И пели мы с ним под орган, заливались назло врагам.

АМИРАН. Что такое, что ты там городишь?

КИРИЛЛ. Ну, чего ты, парень, злишься, аль правда глаза режет? (Хихикает.)

ЭГНАТЭ. Ну, идем же, ребята, двадцать четыре кварты вина на стол, угощайтесь! (Вглядывается в лица близстоящих комсомольцев.) Чего нахмурились, милые, мы вас не заставим растрачивать деньги комячейки, как Амирана.

КИРИЛЛ. Да, да, да... вот они, деньги, видите, сколько их у нас? (Достает деньги.) Недаром же мы — кулачьи сыны!..

ОТАР (подойдя грозно и хватая за шиворот). Что сказал, повтори-ка.

ЭГНАТЭ. Отпусти немного, а то как прикажешь говорить, когда ты глотку сдавил, как дьявол.

ОТАР. Повтори-ка, скорее, что такое... деньги комячейки?.. Ну, слушаем!

ВАРЛАМ. Выкладывай, да поскорее, говори, а то...

КИРИЛЛ. Что ему говорить, больше сказать нечего, дяденьки мои, случилось вот что: Амиран позавчера продул

комсомольские деньги в кооперативной лавке, и все тут... И из-за этого душисть честного парня, а?

АМИРАН. Что такое? Что же это в самом деле?

ОТАР (глядит на Амираана, потом бросается к ящику стола, ищет, не находит). Амиран, где деньги?

АМИРАН. Как где? Должны быть там.

ОТАР. Здесь ничего нет. Куда ты дел деньги?

КЭТО (бросается к ящику). Амиран, деньги!

АМИРАН. Что с вами? Вчера утром я положил туда.

ОТАР. Если спрятал, найдешь. Подай сию минуту деньги сюда. (Амиран идет, ищет деньги.)

АМИРАН. Удивительно, деньги были здесь.

ЭГНАТЭ. Кирилл, погляди-ка... Хихи... Оказывается, из ящика деньги утащила крыса... Она проглотила все червонцы.

КИРИЛЛ. А знаешь, Эгнатэ, а у этой-то крысы, кажется, две ноги, и пройдоха она, видно, коли по сию пору коту в лапы не попалась.

ВАРЛАМ. Амиран, подавай деньги да живо!

КАЛЭ. Совсем потерял ты голову. Куда дел?

ВАРЛАМ. Прокутил, молодец? (Указывая на Кирилла и Эгнатэ.) Может, они и правду говорят?

КИРИЛЛ. Правду, дяденька, правду... И зачем нам врать?

ЭГНАТЭ. Такая же правда, как и свеча, ведь это он зажег ее вчера перед святым Квирикэ! (Входит Дито, неся огарок свечи.)

ДИТО. Вот, товарищи, нашел на церковных дверях.

НИНО. Дай сюда! (Рассматривает.)

КИРИЛЛ. Эгнатэ, братец, пойдем во-свосяси, честью просили...

ЭГНАТЭ. Ребята, идем, что ль, двенадцать кварт...

ВАРЛАМ. Идите вы к... (Направляется к ним.)

КАЛЭ. Идите, а то получите по шеям!..

ОТАР. Ну, ко всем чертям, вон!

КИРИЛЛ. Ладно, дяденька, ладно, уберемся!.. Этак-то заместо благодарности.

ЭГНАТЭ (хихикает). Ишь ты, мы им ворешку, а они на нас же лаются... Ам-ам! (Лает по-собачьи.)

КИРИЛЛ. А ты разве не знаешь?.. Злая собака лается на чужих и на своих одинаково. (Уходят с пением.)

(Все смотрят на Амираана, опустившего голову на руки у стола.)

ОТАР. Ну, что скажешь? Говори скорей!

ВАРЛАМ. Окаменел?

АМИРАН. Я... я... ничего не знаю... что мне говорить?

КЭТО. Осрамил... на всю деревню! Э-эх!

ОТАР. Ты был хорошим комсомольцем, Амиран, с этого дня — позор и стыд, а также презрение всех товарищей!

АМИРАН (вскакивая). Не знаю, товарищи, не знаю, что происходит со мной!.. Вы видите, целый ад восстал против меня!

КАЛЭ. Не называй нас товарищами... Их у тебя нет больше!

ВАРЛАМ. Пора покончить с этим! Растратчику и молельщику места среди нас нет!

КЭТО. Правильно, товарищи, я первая поднимаю руку за его исключение!

ОТАР. И я, кто еще? (Руки всех поднимаются тихо вверх.) Итак, товарищи, вопрос исчерпан. А ты, молодец, можешь оставаться с Эгнатэ и Кириллом, можешь вместе с ними и повести наступление на нас, но извиняемся, если получите по зубам. Мы — на-чеку неусыпно. Теперь же разойдемся, чтоб собраться снова вечером для выбора нового бригадира ударной группы. Заседание объявляю закрытым.

КЭТО. Идемте. Думаю, что среди нас не найдется ни одного, кто захочет когда-нибудь заговорить с ним.

АМИРАН. И ты, Кэто!.. Выслушай меня!

ОТАР. Не надо... Идем! (Уходят, Амиран стоит в отчаянии. В последнюю минуту Кэто оборачивается и смотрит ему пристально в глаза со слезами.)

КЭТО. Нечего сказать... оправдал надежды... крепко же ты меня любил!

АМИРАН. Кэто, выслушай меня!

КЭТО. Не надо... прощай навсегда! (Уходит.)

АМИРАН. Кэто!.. (Опускается за стол.)

Картина седьмая

(Направо у реки работают с лопатами в руках Датуния и Хапичия и Нико. Налево остальные работают над прокопкой канала. Слышится пение.)

Слезы льет старик Гигуша,
Плачет над рекою,
Унесло, что было в поле,
Нет ему покою.
Что теперь с семьею станет,
Как изжить кручину,
Кто пособит, кто поможет
Вновь расправить спину.
А соседи посмеялись:
«Поди, Гиго, на реку,
Позови Мечхер к ответу
И отшлепай за щеку».

ЭСТАТЭ. Ишь ты, соседушки-то милые, сочувственные.

ЕЛЕНА. Не в самом же деле было адак. Это — шуточки.

АВТАНДИЛ. Почему так же, товарищ Елена, а разве раньше, до коллектива, мало было зависти между крестьянами?

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Автандил.

ЕЛЕНА. Это правда, что было, но как можно думать, чтобы над бедным Гиго в этакое время смеялись?

ТАРАС. Надо понимать, товарищ Елена, что жизнь при частной собственности строилась на обмане и грабеже одного другим. Недаром говорят, что человек человеку — волк.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Тарас.

ЯКИНТЭ. Это и я знаю. Недаром грузинская пословица говорит: «Если б не было носа, один глаз выклевал бы другой...»

АВТАНДИЛ. Да, правильно, это так и есть, а почему глаз глазу — враг? Потому что каждый хочет быть богатым и праздно жить. Идет борьба

за существование, при таком порядке побеждает всегда сильный, умный и умелый.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Автандил.

КОНДРАТИЙ (тихо подкравшись к Онопрэ). Правильно, товарищ Онопрэ.

ОНОПРЭ. Кондрат, что ты хочешь от меня, что пристал ко мне, как проклятый?..

КОНДРАТИЙ. Шучу, миленький, шучу.

ОНОПРЭ (оборачиваясь к нему спиной). Фу ты, окаянный! (Сердится.)

ТАРАС. Потому, товарищи, когда Гиго стал нищим от наводнения, другие издеваются над его горем. Чем беднее сосед, тем богаче чувствуешь себя.

ОНОПРЭ. Правильно, товарищ Тарас.

КОНДРАТИЙ. Правильно, товарищ Онопрэ.

ОНОПРЭ. Фуй ты, паскудник!..

КОНДРАТИЙ. Шучу, милый, шучу.

ОНОПРЭ. А, может, мне не до шуток!

КОНДРАТИЙ. Что поделаешь, миленький!..

ТАРАС. Но, товарищи, кончилось то, что было. Коллектив — это одна семья. Если Мечхер по сих пор был врагом Гиго и других, то теперь он — враг всей коллективной семьи, и эта семья превратит общими силами Мечхер в своего послушного раба.

ЭЛЕПТЕР (входит). Ну, как дела, товарищи?

ТАРАС. Очень хорошо, товарищ Элептер, думаю, сегодня вечером Мечхер уже потечет по каналу.

ЭГНАТЭ. А плотины?

ТАРАС. На этой стороне заканчиваем. Завтра к вечеру будет готово и у начала.

ЭЛЕПТЕР. А на правом берегу?

АВТАНДИЛ. И там не хуже. Датуния и Хапичия работают на славу.

ЭЛЕПТЕР. Молодцы ребята. (Идет к ним.) Товарищи, вечером зайдите ко мне взять расчетные книжки. Они уже готовы. Туда будете заносить результаты своей работы каждый день.

ЕЛЕНА. Вот и прекрасно. Не будет больше разговоров, кто сделал больше и кто меньше.

ЭСТАТЭ. И каждому видно, сколько он получит к концу года.

ВСЕ. Правильно, правильно!

ОТАР. Товарищи, мы кончаем в четыре дня, что было положено на пять дней, мы имеем право вызвать других на соцсоревнование.

ХАПИЧИЯ. Датуня, ударим еще раз-другой и баста.

ДАТУНИЯ. Ишь, чтоб ему... а что ж я, по-твоему, зеваю?

ХАПИЧИЯ. Датуня, Датуня, мне в голову мысль пришла!

ДАТУНИЯ. Мысль?

ХАПИЧИЯ. Пойдем к Отару и заявим: мы, беспартийные, хотим создать отдельную ударную бригаду и вызываем вас на соцсоревнование! Неплохо, а?

ДАТУНИЯ. Неплохо!

ХАПИЧИЯ. Будешь работать как следует?

ДАТУНИЯ. Если только лень не заберет. Что ж, по-твоему, не умею работать?

ХАПИЧИЯ. Ну, идем! *(Подходят к Отару.)* Товарищ Отар!

ОТАР. Чего тебе, Хапичия?

ХАПИЧИЯ. Мы хотим создать ударную бригаду.

ДАТУНИЯ. И вызвать вас на соцсоревнование. Поглядим, чья возьмет.

ВСЕ. Ура, ура!

ОТАР. Молодцы ребята! Зайдите завтра в бюро.

ДАТУНИЯ. Я вам покажу, где раки зимуют!

ВСЕ. Ура, Датуня, ура!

ТАРАС. Ну, товарищи, еще немного, и канал будет готов.

КАЛЭ. Товарищи, Амиран идет!

АВТАНДИЛ. Ай да молодчина парень!

ВАРЛАМ. И чего он таскается?

КАЛЭ. Не заговаривайте с ним! Что он думал, когда срамил на всю деревню? У-у, чтоб ему! Пускай мучается теперь!

АВТАНДИЛ. А хороший был парень, но ничего, обойдемся и без него.

АМИРАН. Товарищи, выслушайте!

(Уходит, за ним бежит Датуня, но его удерживают.)

ДАТУНИЯ. Ишь ты, сволочь!

ХАПИЧИЯ. Что ты делаешь, дурак? Если бы не он, были бы мы с тобой у чорта в гостях!

ДАТУНИЯ. Почему так?

ХАПИЧИЯ. Дурак, а не помнишь. Кто предложил дать нам работу? Он. А иначе были бы мы в глазах всех людей лентяями и дармоедами.

ДАТУНИЯ. Кажись, оно и правда, а?

ХАПИЧИЯ. А что же я, вру, што ли, по-твоему?

НИКО. Нет, правильно, Хапичия, правильно!

ХАПИЧИЯ. Ну, товарищи, ударим раз-другой и закончим работу раньше срока.

ДАТУНИЯ. Если я захочу, тогда и пять человек не сделают того, что я один.

АВТАНДИЛ. Смотрите, как работают, а?

ВАРЛАМ. И вправду вчерашние бездельники опередили нас!

КАЛЭ. Нет, брат, не уступлю.

КЭТО *(входит)*. Товарищ Тарас, тебе депеша.

ТАРАС. Давай сюда. *(Читает.)* Товарищи, Элизбар пишет, трактор дали, везет.

ВСЕ. Ура-а-а!..

ВАРЛАМ. Пусть поговорят теперь, что коллективу не быть.

ХАПИЧИЯ *(слушает, вдруг)*. Поймал, поймал!

ДАТУНИЯ. Муху поймал, муху.

ХАПИЧИЯ. Что ты, парень, нынче я мух не ловлю! Товарищи, я поймал трактор!

ДАТУНИЯ. Чего? Трактор? У-ух, елки зеленые, кажись, ты с ума спятил?

ХАПИЧИЯ. Товарищи, если будет трактор, обернется все иначе, и все тут!

ДАТУНИЯ. Как так?

ХАПИЧИЯ. А очень просто. Научимся, сядем на него и давай кататься туда, сюда... *(Вскакивает на спину Датунии и идет к своему месту, все поют и работают.)*

Картина восьмая

(По дороге в деревню Амирану встречается Кэто.)

АМИРАН. Кэто!

КЭТО (увидя его). Чего тебе?

АМИРАН. Выслушай хоть ты!

КЭТО. Некогда!

АМИРАН. Выслушай, иначе закричу, завою, сделаю что-то небывалое, хуже будет. (Становится поперек дороги.)

КЭТО (прислушивается). Говори, что хочешь.

АМИРАН (падая на колени). Умоляю, поверь хоть ты мне, что невиновен я ни в чем.

КЭТО. Да что ты?

АМИРАН. Виновен я в одном, я взял свечу, но не зажигал ее, не зажигал. Выбросил в овраг. Если это преступление, накажите, как хотите, снесу, стерплю, но в воровстве, в растрате денег не вините... Нет не виноват я!..

КЭТО. Ведь деньги нашли у тебя в кармане.

АМИРАН. Это и убивает меня... но все же я не виновен, никогда я их не грогал, не видел, никогда не был я в духане с Эгнатэ.

КЭТО. Кто же подложил деньги в твой карман, кто зажег свечу?

АМИРАН. Вот это сводит меня с ума. Думаю и ничего не понимаю... голова кругом идет... как очутились деньги комячейки в моем кармане, кто зажег так быстро выброшенную свечу?

КЭТО. Странно... значит, ты не растратил деньги?

АМИРАН. Нет, нет, Кэто... Клянусь всем, чему верю, что люблю!

КЭТО. И свечи не зажигал?

АМИРАН. Нет, нет!

КЭТО. Удивительно!

АМИРАН. Это убивает меня. Не знаю, что делать. Товарищи не выслушали, повернулись ко мне спиной, не захотели ни понять меня, ни говорить со мной, но теперь ты, хоть ты, поверила, что я невиновен... нет. Передай им, убеди их, что я вовсе не такой подлец! Если тебе удастся убедить их, я буду счастлив. Теперь же прощай, я не буду больше надоедать тебе.

КЭТО (встает). Куда ты?.. О чем ты говоришь?

АМИРАН. Не все ли равно?.. Надо итти!

КЭТО. Нет, нет. Ты как-то не так разговариваешь.

АМИРАН. Глупости... Ты только исполни мою просьбу.

КЭТО. Амиран, Амиран... О-ой, что-то недоброе чует мое сердце, ты забыл, что ты для меня...

АМИРАН. Кэто, что с тобой, приди в себя, кто говорит такие вещи вору, изменнику?

КЭТО. Нет, невиновен ты, нет! (В эту минуту подкрадывается Квантил и хочет ударить дубиной Амирана по голове, но Кэто во-время ловит его руку.) Квантил, ты с ума сошел!

КВАНТИЛ. А что ты, девушка, делаешь с этим воришкой тут?

АМИРАН. Видишь, даже Квантил издевается надо мной!

КЭТО. Ты что болтаешь, Квантил! (Гневно.)

КВАНТИЛ. Это и другие говорят, что Амиран — вор и его выгнали из коллектива.

КЭТО. Ну!

КВАНТИЛ. Это еще ничего, но, когда я увидел тебя одну с ним, кровь к горлу подступила, и я не стерпел, говорю себе: «Эх, парень, пропало твое дело, как же это случилось с тобою, что с твоей милой какой-то воришка разговоры-де разводит?»

КЭТО. Иди, Квантил, домой!

КВАНТИЛ. А ты как же? Остаешься с ним?

КЭТО. Нет. Пойду и я домой. Мне только несколько слов надо ему сказать.

КВАНТИЛ. Нет, не пойду я.

КЭТО. Иди, Квантил, а то будет плохо: полюблю другого.

КВАНТИЛ. Разве ты любишь меня?

КЭТО. Ну, а как же, Квантил? Люблю конечно.

КВАНТИЛ (хихикает).

КЭТО. Ну иди же домой.

КВАНТИЛ. Ладно, пойду, пойду.

АМИРАН. Видишь, и он меня по голове... но к чорту это. Ты зачем его приручила?

КЭТО. Чорт его знает, чего-то пристал.

АМИРАН. Убери его во-время, иначе не даст тебе покоя, неприятностей не оберешься!

КЭТО. И правда, что все ходит вслед. Не знаю, как и избавиться.

АМИРАН. Ты ласкова с ним, а он и вправду вообразил.

КЭТО. Да, придется, а то уж слышном.

АМИРАН. А теперь прощай... Все зависит от тебя, как ты сумеешь убедить их в моей правоте! *(Уходит.)*

КЭТО. Амиран, подожди!

АМИРАН. Чего тебе?

КЭТО. Какое-то предчувствие томит меня, дай поглядеть в твои глаза.

АМИРАН. Глупости... Прощай!

КЭТО. Амиран. О-ой... что-то сердце болит.

Картина девятая

(Дом Гарсевана.)

ГАРСЕВАН *(входит)*. Его еще нет?

ЦИРУ *(холодно)*. Нет.

ГАРСЕВАН. Где же он, ты не знаешь?

ЦИРУ. Попутал ты ему все пути, похоронил заживо, а теперь спрашиваешь, где он.

ГАРСЕВАН. Ты, девчонка, много не болтай, а отвечай путно, когда старшие спрашивают.

ЦИРУ. Чего пристал?.. Что хочешь?

ГАРСЕВАН. Чтоб ты убралась вон отсюда. Спрашиваю, обедал он сегодня?

ЦИРУ. Нет.

ГАРСЕВАН. Что ж он, так голодным и будет все время?

ЦИРУ. Тебе лучше знать.

ГАРСЕВАН. Ах ты, животное, что это мне лучше знать, что ж, по-твоему, лучше было дать ему разрушить всю семью?

ЦИРУ. Конечно лучше, чтоб он голодал и понемножку умирал.

ГАРСЕВАН. А чем я виноват?

ЦИРУ. Не так ты конечно, как я.

ГАРСЕВАН. Замолчи сию минуту, окаянная, нето я тебя, как червяка, раздавлю. *(Кидается побить ее.)*

ЦИРУ. Чего пристал... Чего тебе надо от меня? *(Плачет.)*

ЕЛИСАБЕТ. Погоди, дай переварить сначала того, кого раздавили, а ее не трогай.

ГАРСЕВАН. Что же мне, баба, делать, когда она родному отцу по-человечески и отвечать-то не желает.

ЕЛИСАБЕТ. А ты лучше камнем по голове себя самого... Это будет лучше для тебя.

ГАРСЕВАН. Ох, чтоб вы все подошли... язык же у вас ядовитый.

ЕЛИСАБЕТ. Ну и садись себе один и живи.

ИОРДАН *(входит)*. Дяденька, Амирана все нет?

ЕЛИСАБЕТ. Не видишь?

ИОРДАН. Ой, милый мой, загубили мы с тобой сыночка родного...

ГАРСЕВАН. Ну, заткни слезливую... и так сердце, что в огне горит.

ИОРДАН. Горе большое, загубили молодца, а жизнь кипела в нем. Со звездами спорил.

ГАРСЕВАН. Ценили, уважали, знаем, угомонись-ка скорей.

ИОРДАН. Замолчу, замолчу, но сердце ноет, болит, проклятое.

ГАРСЕВАН *(жене)*. Неужто так и не узнала, где он ест, пьет, спит все эти дни?

ЕЛИСАБЕТ. Узнала на горе себе.

ГАРСЕВАН. А что узнала?

ЕЛИСАБЕТ. Обошла всех родных, говорят, бывает, но есть — не ест, пить — не пьет.

ГАРСЕВАН. Значит, все эти дни он голодает. Исхудал как.

ИОРДАН. О, горе мне, старику! Зарезал внука собственными руками.

(Слышен собачий лай, входят Иларион и Соломон.)

ИЛАРИОН. Чего носы повесили?.. В чем дело?

СОЛОМОН. Будто покойник в доме. А дела-то ваши хороши.

ЕЛИСАБЕТ. А чего нам радоваться, кум Соломон, был у нас один сын, и того...

СОЛОМОН. Вы об Амиране?

ЕЛИСАБЕТ. Ну, о ком же?

ИЛАРИОН. А что с ним случилось?

ЕЛИСАБЕТ. Как, что случилось? С того самого дня, как подстроили мы ему эту проклятую историю, он не ест, не пьет и не разговаривает ни с кем. То придет ночевать, то, как говорят, ночи проводит на балконе школы. О-ой, сыночек, и зачем только мы тебя замучили? *(Плачет.)*

ИЛАРИОН. Ничего... молод еще... попрыгает и перенесет.

ГАРСЕВАН. Я тоже на это рассчитываю, иначе сошел бы с ума, глядя на него.

СОЛОМОН. Не беспокойся, так и будет... Вот скоро не станет коллектива.

ГАРСЕВАН. Почему не станет?

ИЛАРИОН. Ты только послушай.

СОЛОМОН. Послушай его.

ИЛАРИОН. Надо мужикам, которые ушли из коллектива, помочь засеять поля побольше прежнего, а некоторым можно и деньгами дать.

ГАРСЕВАН. А коллективу-то что от этого?

ИЛАРИОН. Мужики, как увидят, что нашим живется лучше ихнего, так и побросают коллектив. Заживут по-старому.

СОЛОМОН. Золотые мысли, золотые.

ГАРСЕВАН. Бросьте, мужики, не до вас мне.

ИЛАРИОН. Что ты, Гарсеван? Видно, в сторону...

ГАРСЕВАН. Как погляжу на дело, не так оно, слышь, как вы говорите.

СОЛОМОН. Как так не так? Что ты говоришь?

ГАРСЕВАН. Да не видите сами, что ли? Провели канал, ввели сдельщину, и коллектив работает как следует.

СОЛОМОН. Что ты, Гарсеван?

ИЛАРИОН. Губишь нас, губишь налаженное дело.

ГАРСЕВАН. Не я, слышь, а вы хотите загубить уж сделанное-то.

СОЛОМОН. Это о чем ты?

ИЛАРИОН. Говори толком!

ГАРСЕВАН. Да что вы, ослепли, што ль? В коллективе-то нынче, слышь, все работают, шарлатанщиков да шалопаев больше нет. Скоро и трактор получают. А вы вот желаете все им загубить.

СОЛОМОН. Да что ты, с ума, што ль, спятил?

ИЛАРИОН. Дьявол, дьявол его попутал.

ГАРСЕВАН. И вправду с ума сойду, слушая вас.

ИЛАРИОН. Да погляди ты сюда, мы для тебя хлопочем, а ты куда глаза упер.

ГАРСЕВАН. Говорю вам, оставьте меня, оставьте.

ЦИРУ *(вбегает)*. Амиран идет!

ЕЛИСАБЕТ. Слава богу. Гарсеван, прошу тебя, будь с ним ласков, и ты, дедушка, постарайся.

ИОРДАН. Еще бы, ты только покажи мне моего мальчика! *(Показывается Амиран, который, завидя Илариона и Соломона, останавливается.)*

ЕЛИСАБЕТ. Иди, дитяченько мое, подойди... радость и сердце мое.

ИОРДАН. Подойди к дедушке, Амиран, дитя мое.

ГАРСЕВАН *(приближается к нему)*. Дитя мое, Амиран, забудем все, что было. Ты же знаешь, нет у меня никого, кроме тебя, вернись к родным, к очагу своему, забудь, успокойся! *(Амиран молчит. Горящим взором пронизывает Соломона и Илариона. Все обращают внимание на это. Те наконец не выдерживают остроты взгляда и, растерянные, топчутся на месте.)*

ИЛАРИОН. До свиданья. Амиран на нас смотрит так, будто перед ним заклятые враги.

СОЛОМОН. До свиданья. *(К Амирану.)* Что ты, парень, волком глядишь... Здравствуй... подыми голову, не стыдно тебе.

(Продолжается неловкое положение. Соломон и Иларион не знают, куда девать глаза, и уходят. Наконец Амиран идет от дверей в угол и садится.)

ЕЛИСАБЕТ. Сыночек мой родной... сердце мое!

ГАРСЕВАН. Амиран, подыми голову, мать с тобою разговаривает.

ИЛАРИОН. Ты ведь знаешь, нет у нас другого, кроме тебя.

ЕЛИСАБЕТ *(подносит ему ужин и ставит на стол)*. Дитя мое, покушай, посмотри, как ты исхудал! *(Амиран ногой опрокидывает стол.)*

ЕЛИСАБЕТ. Что ты делаешь, Амиран? *(Подбирает упавшее.)*

ГАРСЕВАН *(дочери)*. Циру, пойдй... может, тебя послушается.

ЦИРУ *(обнимая брата)*. Братишка мой, любимый, скажи хоть одно словечко мне... поешь чего-нибудь...

АМИРАН *(глядит пристально в глаза Циру, потом крепко прижимает ее голову к груди)*. Циру, зачем ты с ними, зачем? *(Циру плачет, все в смятении. Картина тяжелая.)*

Картина десятая

(Холодная, лунная ночь. Амиран встает с постели, одевается, выходит, в руках веревка. Смотрит на нее.)

АМИРАН. Что со мною, что я делаю, простят ли мне товарищи такую слабость? Но что я говорю, где они у меня, товарищи? Я — отверженец. Нет, другого выхода нет у меня. Прощайте все! *(Забрасывает веревку и продевает голову в петлю.)*

ЦИРУ *(выбегает с криком)*. Амиран! *(Хватает с земли топорок и перерезывает веревку. Амиран падает на землю.)* Братишка мой, дорогой, милый! *(На крик выбегают все.)*

ЕЛИСАБЕТ. Сын мой, дитя мое!

ГАРСЕВАН *(с ревом)*. Амиран, дитя мое, о господи, что это с ним? *(Амиран приходит в себя, садится.)*

ИОРДАН *(плачет)*. Грех, грех-то какой!

(Входят Иларион и Соломон.)

ИЛАРИОН. В чем дело?

ГАРСЕВАН. Помогите, соседи. Видите, к чему привело затеянное нами дело?

ИЛАРИОН. Что за несчастье? Соломон, видишь?

СОЛОМОН. Дело плохо, вижу, вижу.

ИЛАРИОН. Подождите, он в обмороке, сейчас отойдет.

ГАРСЕВАН. Циру, доктора, доктора!

ЕЛИСАБЕТ. Пожалей родителей, не наказывай нас так страшно.

ИОРДАН. Виноваты мы перед тобой, собственными руками убили тебя.

ГАРСЕВАН. Амиран, дитя мое, приди в себя, делай все, как хочешь. Я согласен.

КЭТО *(входит)*. Амиран, что ты наделал?

(Собирается народ.)

АПРАКСИЯ. И как его, беднягу, довели до этого?

ТИНА. Если б не был виноват, так не поступил бы.

1-я ДЕВУШКА. А был ли он виноват? Все знали его за честного парня.

АПРАКСИЯ. Он-то погиб, а теперь разговаривайте сколько угодно.

СОЛОМОН. Иларион мой, советую убираться пододру, поздорову.

ДАТУНИЯ. Хапичия, теперь наша очередь помочь Амирану.

ХАПИЧИЯ. А как, чем помочь?

ДАТУНИЯ. Ты все о своем уме болтал, вот и придумай, как.

ХАПИЧИЯ. На столько ума уже не хватает.

ДАТУНИЯ. У-ух... я твою шубу, чего же ты хвастался?

ЕЛЕНА. Убить тебя мало, Нино! Это все из-за тебя.

НИНО. Я только выполнила свой долг.

ОТАР. Что с Амираном?

КЭТО. Кажется, отойдет. Очень уж, Отар, мы с ним жестоко поступили.

ОТАР. Но у нас не было другого выхода.

ЭЛЕПТЕР *(входит)*. Что случилось?

ТАРАС *(входит)*. Что с парнем?

ЦИРУ. Если б во-время не подоспели, он повесился бы.

ХАПИЧИЯ. Все бегали он него, что от чумной собаки, вот и не выдержал.

ТАРАС. Если был прав, должен был обратиться в райком в ЦК и восстановиться.

ДАТУНИЯ. У-ух! Вашу... ЦК, райком... да разве знал он столько.

ЭЛЕПТЕР. Какой же он был комсомолец, если не знал об этом?

КЭТО *(встает)*. Мы слишком поторопились, товарищи.

ВАРЛАМ. Чего мы могли ждать, когда деньги оказались в кармане?

НИНО. А зажженная свеча, которую мне показали Иларион и Соломон?

ТАРАС. Иларион и Соломон тебе показали!

КЭТО. Товарищи, Амиран все время утверждает, что он не знал, откуда у него оказались деньги в кармане.

ЦИРУ. Это я положила ему деньги! *(Услышав эту фразу, Амиран поднимает голову.)*

ОТАР. Ты, ты положила деньги в карман?

АМИРАН. Циру, ты меня погубила.

ТАРАС. А откуда ты взяла их?

ЦИРУ. Отец мне дал и сказал, что-бы я украдкой положила в карман.

ЭЛЕПТЕР. Гарсеван, правда ли это?

ГАРСЕВАН. Правда.

АМИРАН. Отец, отец, но кто их тебе дал?

ГАРСЕВАН. Иларион.

ТАРАС. Одолжил?

ГАРСЕВАН. Нет.

ТАРАС. Подарил?

ГАРСЕВАН. Нет.

ТАРАС. Но зачем кулаку понадобилось дать их тебе?

ГАРСЕВАН. Люди меня обманули, соблазнили. Уверяли оба, Соломон и Иларион, что, если Амирана обвинить в воровстве, его из комсомола выгонят и дом мой будет спасен.

ДАТУНИЯ. У-уф! Мать вашу... *(Лезет в карман к Соломону.)*

ТАРАС. Иларион и Соломон, отвечайте, как очутились деньги комячейки в ваших руках?

ИЛАРИОН. Неправда, люди, неправда все это!

ГАРСЕВАН. Как неправда? Не ты ли говорил, что заставил Квантила стащить их?

ДАТУНИЯ. Ах вы, подлецы!

ХАПИЧИЯ. Замолчи! Дай говорить Тарасу.

ТАРАС. Товарищи, мы допустили большую ошибку. Этих людей давно надо было выселить из деревни.

ГАРСЕВАН. Устроили здесь настоящий театр, меня якобы разбил паралич. Привели знахарку. Амиран хотел доктора, а ему о свечке говорили.

КАЛЭ. А он зажег свечу?

ГАРСЕВАН. Нет.

НИНО. Как нет, когда я видела собственными глазами?

ГАРСЕВАН. Свечу зажгли Иларион и Соломон.

НИНО. Да ну-у! Амиран, братец!..

СОЛОМОН. О господи, погубил нас мужик!

ИЛАРИОН. Неправда, неправда!

ГАРСЕВАН. Как неправда, не вы ли сюда прибежали сообщить, что Амиран свечу выкинул, но мы-де ее зажгли?

ИЛАРИОН. Люди, свечу зажег Амиран. Спросите вот деда Йордана.

ИОРДАН. Иларион, брехней далеко не уйдешь. Хватит!

ОТАР. Амиран, брат мой!

КЭТО. Амиран, поздравляю, правда твоя победила!

АМИРАН. Я как будто во сне. Правда ли это, что я опять с вами, товарищи?

ОТАР. С нами, с нами, хоть ты и виноват все-таки: зачем хотел повеситься. Хорошо, что так кончилось. Завтра заседание комячейки, и ты будешь восстановлен.

АМИРАН. Спасибо, товарищи. Жить иль умирать, но с вами!

ЦИРУ. Хочу и я с вами!

ОТАР. Циру моя, девочка моя!

ТАРАС. Дело же кулаков передадим завтра суду. А теперь Датуния и Хапичия присмотрят за ними.

ХАПИЧИЯ. Очутились волки в капкане. Если на большое нехватало ума, сидели бы себе спокойно в своей берлоге.

ДАТУНИЯ. Как куры, выклевали нож на собственную шею.

ЭЛЕПТЕР. Идем, товарищи, и смотреть на них противно.

ГАРСЕВАН. Товарищи, простите мне все грехи мои: я многое понял. Если примете обратно в коллектив, обещаю всю свою силу положить на него. *(Элептер тихо подходит к Тарасу и разговаривает с ним.)*

ТАРАС. Хорошо, товарищ, ты будешь принят в коллектив.

АМИРАН *(в восторге)*. Отец, отец, товарищи, у меня снова есть отец. *(Обнимает отца.)*

Собственность

Рассказ

Л. СЕЙФУЛЛИНА

Посвящается А. Б. Халатову.

I

Кузнец Трунов пил горькую. Семья его бедствовала. Старшая дочь, красивая Лизавета, вышла замуж за нелюдимого, нехорошего лицом и телом, набожного вдовца. Сожительство с ним претило ей. Но была она сыта, одета, обута, защищена от злых соседей. Родные и знакомые считали ее жизнь — счастьем... Мать хотела, чтоб и вторую подрастающую дочь, Клавдию, миновали нищета и порок, чтобы устроилась она так же, как старшая.

В один апрельский вечер за всеобщей усталой, старой матерью молилась об этом богу. Она устремляла искательный взор на иконы, на трепетный огонь свечей, навстречу душистому кадильному дыму, вздыхала, простиралась ниц, часто крестилась боязливими, мелкими крестами. Близ нее сердито молилась увечная женщина, знаменитая в городе белошвейка. От сухотки спинного мозга ей плохо служили ноги. Она то и дело присаживалась на складной ковровый стульчик у стены. Тогда странный взгляд ее затуманенных глаз с неравномерными зрачками бегал по толпе молящихся. Униженное, суетливое моление старухи разжалобило ее. По выходе из церкви они разговорились и пошли рядом. Костистая Трунова бережно поддерживала под локоть низенькую, рыхлую белошвейку. Рассказывая, она неловко взмахивала левой рукой, будто подшибленным сухим крылом. Горестные движения заскорузлых, темных ее

пальцев были выразительней, чем слова. Белошвейка сочувственно приговаривала чудесным голосом, нежным, искренним, как у детей. Она обещала даром учить, одевать и кормить Клавдию с тем, чтоб, обучившись ремеслу, девушка отработала на хозяйку еще три года за небольшое жалованье. Озирая темнеющее небо с яркой каймой заката, белошвейка назидательно проговорила:

— И на небе, и на земле создал бог прекрасную красоту. И людям была бы жизнь прекрасная, если б достойны были. Ну, что же делать!

Она глубоко вздохнула и, тяжело усаживаясь в извозничьей пролетке, заключила:

— Бог — за всех, а мы — уж друг за друга. Помогу девушке. Бумажку мы у нотариуса заверим. Завтра приходи. Мой домишко в Заречной слободе тебе все покажут.

II

Проезжал освободившийся катафалк. Траурные лошади бежали вольной рысцой. За колесницей вздымалась позолоченная солнцем веселая пыль. Клавдия приостановилась на перекрестке. Черный возница крикнул ей:

— Хороша девчоночка, жалко — некогда!

Клавдия слов не разобрала, засмеялась в ответ на обрадованный взгляд. У ней было хорошо на душе. Утром чай пила с молоком и с сахаром. На теле — чи-

стая рубашка, отмытые ноги обуты, платьице, перешитое из старья, сидело ловко. Воспоминанье о том, что всего месяц назад она виновато шныряла меж людей босой, простоволосой, голодной, не омрачало ее сегодняшней радости. На ходу она потаенно пела, иногда беззвучно шевеля губами. В песню вплетались ее собственные неприятельные мечтанья. Когда белошвейка станет ей платить за работу, она справит себе зеленую шерстяную юбку и две-три кофточки. Одну розовую шелковую, как у Шурки гулящей. Этой кофточке завидовали все женщины на их улице. Потом она купит матери валенки к зиме, а весной — крепкие ботинки. Так, мечтая, она откормила, одела всю несчастливую свою семью и пристроила себя. Она вышла замуж. Ее муж улыбался ей, как проехавший мимо приветливый похоронщик, но лицом и голосом походил на молоденького почтальона. Тот приносил зимой Труновым письмо с родины. Клавдя больше не видела его, но дважды он приснился ей. Один раз, будто смотрит на нее во все глаза, берет за руку и говорит: «Милка моя». Во втором сне он шел по странной, цветущей дороге, оглядываясь на Клавдю, кланялся, кланялся ей, нето звал, нето прощался. Клавдя хотела побежать за ним, но не могла двинуть ногами, проснулась в слезах и весь день думала: «Не помер ли?» При воспоминании об этих снах сердце Клавди сжалось от светлого страданья, доступного только юности. Зрелому возрасту оно чуждо, старость знает, желает, но не может его ощутить.

Когда Клавдя пришла с покупками, белошвейка заметила ее душевное состояние. Оно не понравилось хозяйке. Ее жизнь была окутана горьким туманом болезни. И, как в тумане всякая чуть выступившая тень кажется большой и недоброй, каждое юное смятенье казалось ей грехом. Будто разыскивая нечистоту, она брезгливо, издали, оглядела девочку до ног и сказала звенящим голосом:

— Моль точит одежду, ржа — железо, девушку — улица. Я думала, ты скорей вернешься.

У девочки задрожали ресницы. Она побледнела, ответила, заикнувшись:

— В другой раз скорей схожу.

Испуг ее смягчил хозяйку. Но, когда Клавдя, босая, передетая в заношенную рубашку с холщевой становиной, несла чистить во двор большой медный самовар, белошвейка еще раз оглядела злыми глазами ее тело. Клавдя втянула грудь в плечи, пошла сгорбившись. Ей было стыдно и горько, но она не оскорбилась. В узком проходе между глухой стеной дома и каменной кладовой помещалась тесовая будочка с высокой вытяжной трубой. Строеньце внутри было выскоблено, вымыто; закоулок, ведущий к нему, чисто выметен руками Клавди. Созданная ею самой, но неподобающая, как ей казалось, этому месту чистота вызывала в ней уважительное удивление. Сиреневый куст закрывал постройку. Под ним Клавдя чистила большой медный самовар и думала о том, что у хозяйки есть другой, томпаковый, его ставят вероятно только на пасху.

Однажды белошвейка открывала при ней окованный блестящей жестью сундук. В нем — большие отрезки шерстяных и шелковых тканей, много сшитой, ненадеваемой одежды. В кухне помещалось обилье неиспользуемой утвари. Все ткани, вся излишняя посуда, дом, двор, чистая будочка для грязной нужды и благоуханная эта сирень, овощные гряды и прелестно цветущие две молодые яблони в другом конце двора — все это собственность белошвейки, Марьи Васильевны Клепиковой. Поэтому Марья Васильевна сильна, несмотря на увечье, всеми уважаема. С ней спорить нельзя, сердиться на нее бесполезно, надо ей угождать. Иначе хозяйка прогонит. Для Клавди навсегда захлопнется вход в этот мир, где за высоким забором растут цветущие деревья, существуют чистота и счастливые излишки. Тогда опять — избенка без двора близ кузницы, меж ними полянка с затоптанным гусиным щавелем, где по воскресеньям дерутся взлохмаченные хмельные мужики, в потемках крадутся озорные парни. Крадутся к дочерям кузнеца, чтоб обольстить или осилить,

потом смеяться. Если ж во всем угодить Марье Васильевне, она поможет добиться хорошей судьбы.

III

Время было горячее, перед рождеством. Пожилая мастерица Ксенофоновна не уходила домой ночевать. Спали в сутки часа три. На Клавде лежала также вся ежедневная домашняя работа и разноска законченных заказов. Девушка сильно уставала, часто впадала в дремоту за ночным шитьем. И она, и Ксенофоновна, чтобы прогнать сон, выбегали во двор умываться снегом, нюхали горчицу. Хозяйка страдала бессонницей. Но в эту ночь она вдруг закрыла глаза, улыбнулась блаженной улыбкой. Пальцы ее с нежной осторожностью задвигались по столу. Клавдя увидела, вскрикнула:

— Ой, что вы шупаете, Марья Васильевна?

— Собираю их в решето, — счастливым голосом ответила увечная и очнулась. Ей приснилось, что под руками — пушистые, желтенькие цыплята. Рассказав, она заплакала.

— Одолеает сон. Это у меня — к смерти.

С усилием приподняв грузный зад, потянулась она за горчицей. Движение было смешное, но лицо, мокрое от слез, некрасивое, озарилось строгим светом самой страшной человеческой мысли. Клавдя посмотрела на нее и с бессознательным уважением потупилась. Работали в полном молчании, потом хозяйка встала.

— Укладывайтесь, часика через три разбуду.

Клавдя охнула. Она забыла принести постель. Мария Васильевна рассердилась.

— Ты думаешь, я тебе должна и постель стелить, и нос вытирать? Поработала бы, когда я была ученицей, узнала бы.

Клавдя спала на полу, на войлочке, в спальне хозяйки. На день, чтоб не нарушалось годами утвержденное благообразие двух маленьких комнат и чистой кухни, ее постель, скатанная в трубку,

ставилась в чулане, в сенях. Зимой необходимо было приносить ее заранее, чтоб согрелась. Виногато улыбаясь, Клавдя побежала за постелью в чулан. Стены его покрылись студеным пушистым налетом. Обхватив руками стоявший в углу войлок, девушка сразу озябла. А спать сильно хотелось. Глаза слипались, ноги дрожали. Клавдя склонилась к войлоку и заплакала. Увечная улеглась, вздремнула, проснулась, девушка все не возвращалась. Белошвейка, сердито дыша, поднялась, оделась потеплее и вышла с лампой в чулан. Прижавшись к войлоку, Клавдя крепко спала стоя. В склоненной шее, во всех членах неловко согнутого, сладко уставшего молодого тела было столько животной теплоты, что сердце Марии Васильевны сжалось от умиления и зависти. Белошвейка больше не заснула, но помощниц подняла на час позднее, чем собиралась. Увечная лежала в темноте. Она упорно смотрела в черный потолок, будто именно там, из прошлого, как болотные огни, вставали разрозненные видения. Наутро хозяйка замучила Клавдю неровностью в обращении. То была слишком ласкова, то до крайности придиричива. Девушка на бегу глотала слезы, отвечала невпопад. До рождения оставалось пять дней. У белошвейки был обычай в этот срок раздавать подарки. Ксенофоновне вручалась благородная материя, шерстяная или шелковая, очередной ученице — ситец. Избранным беднякам ее церковного прихода Клепикова дарила старые вещи. Она рассуждала, что в пять дней при желании можно сшить обнову к наступающему празднику.

Вечером пришел кривой сосед. Он чистил двор, возил Марье Васильевне воду и колос дрова. Кроме церковного причта, это был единственный мужчина, входящий к белошвейке.

Клавдя быстро пригладила волосы, выпрямилась над шитьем. Ксенофоновна мельком на него взглянула, на хозяйку посмотрела оживившимися глазами. Клепикова благожелательно улыбнулась и пошла в спальню. Собрав подарки водовозу и Ксенофоновне, она задумалась над ситцем, приготовленным

Клавде. Первым отблагодарил и откланялся, со стыдом и неловкостью, кривой сосед. Потом Ксенофонтовна поцеловала руку Марьи Васильевны, приложилась к ее щеке уважительно подтянутыми губами. Белошвейка отмахивалась от обоих и светло улыбалась. Дарить было приятно. С помолодевшим лицом она протянула материю Клавде.

— А тебе, птица, голубой шелковой сюрты на кофточку. Юбку из моей перешьем.

Клавдя, как в прежние годы, поклонилась хозяйке в ноги быстрым земным поклоном, но глаза ее засияли счастьем. Руки, принимавшие подарок, дрожали. Увечная душевно растрогалась. Она за свой счет отдала срочно сшить модную обтяжную кофточку с пышными рукавами.

В сочельник старуха Трунова постилась до первой звезды. Теперь она с наслаждением ела мягкий хлеб, запивая его водой. Хмельной кузнец необычно спокойно уснул на печи. Старуха отдыхала в радости насыщения. Нарушал тишину трудный храп кузнеца. Он был привычен для жены, она его не слышала. Все кругом казалось ей погруженным в блаженный отдых. Клавдя вбежала шумно. Мать содрогнулась, не сразу обрадовалась дочери. Потом старая и молодая долго рассматривали кофточку, щупали шелковистую ткань, переговаривались приглушенно, как бы воркуя. Проспавшийся кузнец долго прислушивался к их разговору. Он слез с печи, опухший, запущенный, красноглазый, хрипло сказал.

— Тряпичницы! Пускай гнилая кикмора замуж Кланьку выдаст.

И ушел, натянув полушубок лишь на один рукав. Неожиданный совет его показался дельным старухе. Она решила переговорить с благодетельницей-белошвейкой. Праздничные дни Клавдя проводила приятно. Отец загулял где-то в городе, дома не буянил. Вечерами Клавдя ходила со слободскими девушками, плясала на одной вечеринке. Она была одета хорошо, ее теперь звали в гости, парни не стеснялись заигрывать с ней. С вечеринки она вернулась на-свету, но сразу не смогла уснуть. Сердце стучало

громко и часто. Девушку томило множество желаний. Они не укладывались ни в какие слова, сливались в одно ощущение, похожее на страх от предвкушения счастья.

IV

В крещение ночью, на пустыре, около своего жилища, замерз кузнец Трунов. Сумеречным утром нашла жена его скрюченное, черное тело, запорошенное чистым снегом. Бурное горе старухи удивило детей и соседей. Она рыдала, ползая по снегу на коленях, долго целовала нечистое лицо пьяницы, обнимала его, не могла оторваться. Вместо положенного причитанья из ее груди вырывался отрывистый плач, похожий на ропщущий клёкот. С похорон вернулась она домой, сразу одряхлевшая, безучастная ко всему окружающему. И после оживляла ее только забота о замужестве Клавди. О нем были последние слова кузнеца. Жена считала их заветом.

Избу Труновых заколотили. Мать поселилась теперь в семье Лизаветы. Она помогала, как умела, няньчила детей, но зарабатывать стиркой уже не могла. Спина старухи сильно сгорбилась, ходила она с батожком. Зять ею тяготился. Со двора старуха уходила только в церковь шептать свои пугливые мольбы да к белошвейке поглядеть на Клавдю. Марья Васильевна была приветлива, жалела обессилевшую мать. Она охотно беседовала со старухой. Разговоры их состояли в том, что белошвейка говорила, Трунова с ней во всем соглашалась. Увечная обстоятельно и подолгу жаловалась на свое слабое здоровье. Поэтому и старуха, и все окружающие (все больше убеждались, что хозяйка недолго проживет).

У старой Труновой была на примете небольшая дружная семья, куда взяли бы Клавдю за сына охотно, если б хозяйка помогла на первое обзаведение. Старуха долго выбирала удобное для разговора время, а заговорила неожиданно и некстати. В нерабочий, праздничный день, в марте, когда сквозь видимую хмурость веяло незримым ве-

сенним теплом, они вдвоем ходили по двору. Хозяйка осматривала деревья и голые ягодные кусты. Вдыхая, она приговаривала:

— Расцветут и плод принесут, а меня уж не будет. Для меня росли, а кому после одинокой достанутся?

Старуха остановилась, взмахнув батожком, и придержала Марью Васильевну за рукав.

— Благодетельница, золотая, многим обязаны... Выдай Клавдюшку от себя замуж...

Хозяйка не сразу поняла, в чем дело. Ей подумалось, что Клавде надо спешно прикрыть девичий грех, что где-то близко, может быть, сейчас за воротами, ждет выгоды распутный жених. Она закричала, размахивая руками:

— Все вы такие, все, все... Распутные, корыстные, урвать бы только чего!..

Нежный ее голос в гневе становился пронзительно тонким. С криком, ковыляя неверными ногами, она поспешно ушла в дом.

Поздно вечером за матерью к Лизавете прибежала Клавдя. Белошвейка извещала, что умирает и просит старуху немедленно притти проститься. Клепикова, правда, занемогла, даже пролежала три дня в постели, почти не вставая, но поправилась. Старая Трунова прислуживала ей у кровати. Увечная говорила о несчастливых супружествах, о многодетности, о нужде, о нечистых нравах мужчин и хвалила Клавдю. Наконец она заявила:

— Если дочка твоя до моей смерти не выйдет замуж и сохранит себя в девичестве, оставляю ей свой дом со двором, со всем, что есть. Пускай послужит мне, как родная. Недолго придется служить.

V

Тихо болея, Клепикова прожила еще двадцать пять лет. С каждым годом она двигалась все меньше. Ее лицо становилось прозрачным, тело грузнело. Уход за ней был тяжел. Клавдя не одну ночь плакала злыми, необлегчающими слезами. Девушка решала утром уйти на вольную работу и каждый раз оста-

валась. Она думала: «Уйду, а она помрет, и все мои годочки — прахом...»

Старуха Трунова умерла не дождав-шись. Наконец Клавдя почтительно, с богатой милостыней похоронила хозяйку. В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года во владении домом утвердили Клавдию Максимовну Трунову. Ей шел сорок третий год. В слободке уже давно за ней утвердилось прозвище «закопченная невеста». К сорока годам у нее сильно потемнело лицо, на лбу и около рта легли тонкие морщины, прямое тело чуть пригорбилось. Но в застенчивой улыбке отцветших губ, во взгляде, прямом и чистом, таилась молодившая стареющую девушку печальная детскость. Белошвейное дело у новой хозяйки пошло плохо. Клавдия Максимовна порой думала, что люди перестали рассчитывать на долготелье. Все чаще на белье приносили батист вместо полотна. Дорогую, кропотливую, но прочную ручную вышивку выгесняли жидкие машинные узоры и дешевая мережка. Клавдя приспособила ножную машину и для вышивания, и для мережки, но не нравилась ей эта работа. Она собиралась выйти замуж и заняться домом, хозяйством. После получения наследства привсатывались женихи—приличные, пожилые вдовцы. Клавдии Максимовне были неприятны бородатые, озобоченные лица, расчетливые движения их немолодых рук. Безусый почтальон не старел в ее мечтах. Она отказывала. Однажды, отбирая старье для семьи Лизаветы, Клавдя вынула из сундука кофточку из голубой шелковой сюрсы. Ласково расправляя слежавшиеся пышные рукава, она задумалась. В доме вставляли зимние рамы. Племянница Клавдии Максимовны протирала стекла и негромким, мирным голосом пела новую песню:

Бей буржуазию, товарищи, ура!..

Очень ясный свет осеннего солнца заливал девочку и полосатую кошку на стуле.

Клавдия Максимовна окликнула:

— Полюшка, погляди, вот эту мне первую справили...

Девочка оглянулась, откидывая тыльной стороной ладони спустившиеся волосы, и засмеялась:

— Какие старые моды были смешные... Мурка, и чего ты все спишь, ах, ты, ах, ты, ах, ты!..

Она подхватила кошку, потискала ее, нежно повизгивая, на мгновение заглядела в окно, как в прозрачном воздухе кружатся ржавые листья, и подхватила с полу таз.

— Пойду, воду сменю...

Полюшка пошла к двери, шала на коду длинными ногами, высоко ими взбрыкивая, как бы приплясывая. Она качала головой в такт беззвучной музыке, играющей в ней самой, улыбалась глупой, милой улыбкой. Клавдия Максимовна с неприязнью оглядела чуть сложившееся девичье тело и закричала:

— Шестнадцатый год, а кривится, как маленькая! Уходи с глаз долой, дура, растрепал!..

Она сильно хлопнула крышкой сундука. Чтоб ее умиловить, пришла ночевать сестра Лизавета. Лежа рядом на кровати, они долго разговаривали. Клавде хотелось вспоминать их молодость. Но Лизавета свою забыла. Она вспоминала только боль и радость, доставленные детьми, выпрашивала у Клавди для семьи подарки. Клавдя вдруг почувствовала, что и у самой у ней мало воспоминаний, вслух и рассказать нечего. Она перестала слушать сестру, думая о своей жизни. За радость, за ласку никто уж ее не возьмет, сватаются из-за дома. И какой-нибудь седой вдовец, если он хороший человек, ставши мужем, будет лишь добр к ней. Тело у нее худое и усталое, к непогоде ноют кости, волосы седеют и сильно

падают. Клавдя заплакала. Чтобы скрыть всхлипыванья, она сердито сморкалась и кашляла. Но Лизавета ничего не слышала. Она заснула внезапно и крепко, как засыпают дети и счастливые старики.

О замужестве скоро прекратились всякие разговоры. Человеческая жизнь вокруг стала такой же путаной и непрочной, как машинная вышивка. Собственный дом Клавдии Максимовны уже мало кого привлекал. По совету зятя она спешно продала его первому покупателю за новые тысячи. Уходить со двора ей было тяжело. Она долго простояла у ворот, сгорбившись и утирая слезы. Но вечером у Лизаветы, обильно и льстиво угощавшей богатую сестру, Клавдия Максимовна развеселилась. Она пригубила лишнее из стаканчика самогонки. На темных щеках выступил пот и разлился пятнами немолодой, некрасивый румянец. Коротенько, визгливо посмеиваясь, она тягуче говорила:

— Бог с ними, с домами да садами, не в радость они нынче. Пока поживу с вами, за кусок заплатит хватит. А потом, говорят, по новым правилам, заставляют кормить одиноких стариков. А? Вот Петеньку заставят, он тетку прокормит, а?

Семнадцатилетний Петя, рассыльный в суде, гордясь знаньем законов, стал обстоятельно объяснять:

— Видите, во-первых, мы обязаны кормить родившую нас мать...

Клавдия Максимовна низко склонила голову с потускневшими редющими волосами, уронила меж колен горестно сплетенные руки, заплакала, повторяя нетрезво:

— Родившую мать!..

Над рекой Орессой

Поэма

ЯНКА КУПАЛА

1. Вместо вступления

Много ходит сказок
И легенд, и песен,
Что ~~сложили люди~~
Про свое Полесье.

Но не слышно песни
О победах юных
Славных коммунаров,
О житье Коммуны.

Как они ворвались
В глушь, в лесные дали,
И всему Союзу
Славы прибавляли.

Я про то не слышал
В песнях про болото,
Что и коммунарки
Шли туда работать.

Как со всеми вместе
На борьбу с трясиной
Красоту и силу
Тратили девчины.

В песнях я не слышал
Правды про героев,
Что в глухих болотах
Путь победы строят:

Как они без страха,
Трудности осилив,
Дикую природу
Смело покорили.

Я еще не слышал
Новых гулких песен,
Что поет сегодня
Новое Полесье.

2. О минувшем

Свой клюв ястреб свесил
Над сгнившей колодой,
И снятся Полесью
Минувшие годы.

Болота тут млели
Трясиной глубокой,
Под тиною прели
Тростник и осока.

Пройдет там крестьянин,
Оступится в тину, —
Болото затянет,
Он крикнет — и сгинул.

Там рыскал зверь дикий,
И влажный был воздух.
Гусей диких клики...
Змеиные гнезда...

Медведь сосал лапу
В берлоге сонливой,
И лось с жадным храпом
Блуждал за поживой.

Под зарослью тихой
Ходил днем и ночью
Кабан с кабанихой,
Табун бегал волчий.

Просунется длинный
Челнок в роде гроба,
И снова трясина
Застынет в чащобах.

Весною лишь ясной
И в день предвесенний
В Полесьи несчастном
Звучало движение.

Напев соловьиный
Из чащи зеленой,
Пастушьей кручины
Свирельные стоны...

Кукушка кричала
Кукующим звуком,
Как будто считала,
Когда конец мукам.

И вновь, как могила,
Полесье смолкало.
И вновь его сила
Под топью дремала.

А люди? Где ж люди?
Их было немного.
Давили их груди
Беда и тревога.

Меж топей прогнивших,
На горках песчаных,
Как на пепелищах,
Ряд хат, как курганы.

Живут люди в хатах,
Над лаптем трудятся,
Чтоб с сумкой в заплатах
Итти побираться.

Под шум бесконечный
Березок и сосен
Песок дерут вечно
Сохою несносной.

Их разум в болотах
И в тине потерян.
Он тьмою обмотан
Глухих суеверий.

Туман старой сказки
И рабских законов
Ползет мохом вязким
И ряской зеленой.

Сквозь лета и зимы
В веках ныла грудь их:
— Полещуки мы,
А вовсе не люди!

3. Зашумело, загудело...

I

Загудело, затрясло,
Как землетрясенье.
На полесское село
Хлынуло движение.

Туча люду наплыла,
Птичий крик поднялся.
Посинела неба мгла.
Люд откуда взялся?

Украинский тут народ,
Старобинский тоже,
Как на ярмарку, идет,
Глушь болот тревожит.

Сколько хлопцев, — просто страх! —
Дядек бородатых!
Пилы острые в руках,
Топоры, лопаты.

— Что-то будет тут теперь?
— Ничего не будет! —
Хитро думали в четверг
Полесские люди.

Воскресенье настает —
Топоры стучат там.
С тела топкого болот
Рвут кору лопаты.

Шум и крик кругом пошел,
Словно на гульбище,
А лопаты режут дол,
А топорик свищет.

Роят люди топкий торф,
Погружаясь в лужи.
И кипит по жилам кровь,
И никто не тужит.

Знают все, что бремя бед
Не вернется снова,
Что их труд оставит след
Подвига большого.

За канавой, как струна,
Новая канава,
Все похожи, как одна,
Льются слева, справа.

Звери, страхом смущены,
Дикий бег торопят
И по кочкам торфяным
Мчатся в дебри, топи.

Сеть каналов обняла
Черной топи недра
И спокойно потекла
Вдаль по километрам.

Магистралю дальний путь
Не измеришь взором,
И былым болотам в грудь
Зерна лягут скоро.

В топи чертят дренажи
Линию дороги.
Где ж, полесский старожил,
Все твои тревоги?

Не заметил, полещук,
Ты из темной хаты
Дней без горя и без мук,
Без трудов проклятых.

Дали выход из цепей
Почвам плодородным
Люди доблестью своей
И трудом свободным.

II

И текут канавы
В русло магистралю.
Как река, их воды
В даль болот помчались.

До реки Орессы
Добегают резво,
Целину болота
Напрямик прорезав.

Протянули ловко
Магистралю реку,
Но еще работы
Много человеку!

Землю приготовить
Надо в самом деле,

Чтоб на поле ровном
Тракторы запели.

Чтоб высокий, буйный
В торфянице чистом
Тростником шумел бы
Колос золотистый.

Заждалось Полесье
Той дружины смелой;
Что пришла б и сразу
Принялась за дело.

Новых рук хозяйских
Ждет оно издавна,
Ждет борцов способных
И бригад ударных.

И они придут
И костры раздуют,
Силы топи старой
Быстро расколдуют.

Ведь повсюду слышен
Их могучий топот.
Все они открыли,
Что таит болото!

4. Коммуна

I

Весной их появилось семь,
Чтоб новый мир создать,
А осенью еще пришли
Их семьдесят пять.

Самарская дивизия
Дала ребят своих,
Вождей болота первых,
Способных, молодых.

И фрунзенцы явились,
Чтоб торф разворошить,
Веками спавшее болото
Работой обновить.

А также из Чангарской
Дивизии боевой
Сюда пришло их восемь
В один поход с весной.

Желанье строить новый мир
Сюда их привело.

Надеждой верной на успех
Их рвение цвело.

И были не страшны им
Ни холод, ни жара,
Ни осени ненастье,
Ни вьюжная пора.

Бугор тот Заболотьем
Звал прежде пощук;
Где шага коммунаров
Раздался первый звук.

Болота, топь, торфяники, —
Как там ни называй, —
Но раз пришли#большевики,
Они изменят этот край.

Палатки, пилы, топоры
Приволокли с собой
И вместе, как одной семьей,
В решительный шли бой.

Одни налаживают гать
И кверху по буграм идут,
Другие кипятят в котлах
Их скромную еду.

Вытаскивают третьи лес,
Чтоб выстроить барак,
В палатках летом славно жить,
Но уж зимой не так!

Корчуют недра день за днем
И вглубь и вширь. А вслед
Палатки движутся, спешат, —
Жилья другого нет.

За шагом шаг, за метром метр,
За гектаром гектар...
Яснеет торфяная даль,
И ярко солнца шар.

II

Кипит работа, как нигде,
Как будто бы горит в руках.
Так вот он, коллектив в труде!
Какой полет, какой размах!

Казалось бы, чего хотеть?
Трудись да веселее пой!
Но вот паук расставил сеть
Семье Коммуны трудовой.

Иные стали хмурить взгляд,
Как будто им желают зла.
Проклятья кое-где звучат.
Змея под сердце подползла!

В Коммуне будто нелады,
И будто бы в ней толку нет...
Но слухов темных и худых
Открыть нетрудно было след.

Из восьмерых чангарцев пять
Нашлось нестоящих людей.
Они не захотели снять
С себя невольничьих цепей.

В Коммуне много им помех,
Они — как дикое зверье.
Они отдельное от всех
Хозяйство завели свое.

Они сторонятся других,
Хотят одни гулять и спать,
Пять беспокойных и чужих,
Негодных «коммунаров» пять.

Работа их? Цена ей грош!
То там прогул, то тут простой.
А что посеешь, то пожнешь
И перемелешь только то!

Работа вся их — никуда!
Бузить погромче — вся их цель
Чтобы отлынуть от труда,
Их обособилась артель.

Но на «делянке», на «своей»
На месте топчутся они.
Нет, в тине глупых их затей
Болото также будет гнить!

Уж больше силы нет терпеть
В Коммуне люд такой плохой!
Пускай пустует лучше клеть,
Чем заполнять ее трухой.

Средь молодежи шум идет,
И созывает сход она,
И, как всегда, пришел на сход
Товарищ Модин, старшина.

И слово взял, и молвил так:
— Тут не пристанище у нас
Для лодырей и для гуляк,
А место для рабочих масс.

Быть может, вы явились к нам
Кормиться хлебом трудовым?
Какая ж вам тогда цена?
В Коммуну не годитесь вы!

ОДИН ИЗ ПЯТИ:

За что, про что
Трудись, терпи?
Кругом тут топь!
В болоте спи!

Плохой тут сон!
Не в срок еда!
Сечет комар,
Смердит вода.

ОДИН ИЗ КОММУНАРОВ:

А вы чего б хотели?
В пуховой спать постели?
Бутылки распивать бы,
Как на веселой свадьбе?

Чтоб на столе блинов и сала
Гора высокая лежала,
Чтобы трудов вам никаких
Ни дая себя, ни для других?

ВТОРОЙ ИЗ ПЯТИ:

Слушать не буду,
Что ни мели!
Много повсюду
Свободной земли!

Не нужно нам
Твоих болот!
Тут ноги сам
Сломает чорт!

ОДИН ИЗ ЧАНГАРЦЕВ

(к пятерым):

Какой вам стыд, какой позор
Себя вести так среди братвы!
Чангарцы были до сих пор,
Теперь уж не чангарцы вы!

В своей семье вам место дал
Коммуны вольной коллектив,
Чтоб силой вольного труда
В болотах ясный путь найти.

Сказал вам правду старшина,
И правды я еще поддам:
Измена ваша всем видна, —
Не место уж в Коммуне вам!

ВТОРОЙ ИЗ КОММУНАРОВ:

Долго ли цацкаться
С ними нам придется?
Без таких коммунщиков
Коммуна обойдется!

Не нам с отщепенцами
Брататься и возиться!
С бригадой неудалою
Пора нам разводиться!

ТРЕТИЙ ИЗ КОММУНАРОВ:

В бой за качество работы
Партия ведет нас,
И с советской нашей властью
Мы сомкнулись плотно.

Мы за всем хозяйством нашим
Зорко наблюдаем,
Никому вредить Коммуне
Мы не позволяем.

Если ты лентяй заядлый,
На прогулы падкий,
Уходи отсюда, лодырь,
Забирай монатки!

СТАРШИНА МОДИН:

Товарищи, прошу
Вести себя спокойно!
Коммуне трудовой
Горланить непристойно!

Во всех речах одно
Тут ясно прозвучало:
Пятерку исключить
Давно бы не мешало!

Средь честных коммунаров
Не место этой шайке.
Вопрос я голосую.
Как быть тут, — вы решайте!

Кто «за» — за исключенье, —
Прошу поднять тех руки.
Кто против? Воздержался?
Никто! Без лишней муки.

Прошло единогласно,
Чтоб исключить за «барство»
Из трудовой Коммуны
Тех пятерых чангарцев.

ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗ КОММУНАРОВ:

Да выдать им бумагу,
 Чтоб их в Союзе знали,
 За честных коммунаров
 Напрасно не считали.

А трое чангарцев
 Работает с четью
 В Коммуне свободной
 В том новом Полесьи.

III

Как гору с плеч, свалили
 Нелегкую заботу.
 С пятеркой расквитались
 И дальше за работу.

И мысли просветлились
 У коммунаров наших.
 Коммуне обновленной
 Разлад уже не страшен.

Кипит работа тяжкая
 С утра до темной ночи.
 Исчезли слухи темные,
 Растет напор рабочий.

Загон болота ширится,
 Расчищенный и ровный,
 И звонко пилы пильщиков
 На доски режут бревна.

Одни готовят пахоту,
 Чтоб всходы были бойки,
 Другие — сруб бревенчатый
 Под новые постройки.

И так тянулись месяцы,
 Но выплыло такое,
 Что вдруг обеспокоило
 Их сердце молодое.

Вдруг все они заметили,
 Что женщин нет в отряде,
 Что без хозяек трудно им
 Со всем хозяйством сладить.

Сход. На сходе старшиною,
 Как всегда, товарищ Модин.
 Думой занят он одною.
 Сход глазами он обводит.

— Я скажу одно лишь слово, —
 Говорит (в глазах забота), —
 Для Коммуны нашей новой
 Женщин нужно! Ну и все тут.

— Нужно! Нужно, — стоголосно
 Загудела гулко масса,
 Так, что раскатилось в соснах
 Эхо тенором и басом.

— Голосую! — крикнул Модин.
 — Принимайте! Дело ясно!
 И вопрос на этом сходе
 Был решен единогласно.

— Ну так вот, — продолжил Модин: —
 Отпуск всем поочередно.
 Каждый в выборе свободен,
 Сам суди, кому что годно!

Ликвидируйте, спешите,
 Все, что есть в усадьбе старой,
 И в коммуну привозите
 Хоть сегодня коммунарок.

Кто женат, везите женку,
 Без подушки иль с подушкой.
 Нет жены, — так на сторонке
 Поищи себе подружку.

После этих предложений
 Веселей пошли по хатам,
 Все довольные решеньем, —
 Неженатый и женатый.

Коль жениться, так жениться!
 Есть у всех на то охота.
 Посветлеет в их светлицах,
 И спорей пойдет работа.

Всей артели их рабочей
 Будет помощь на трясине:
 Если женщина захочет,
 Не уступит и мужчине.

Шум и гомон кругом.
 И что ж оказалось?
 То Коммуна разаз
 Вдвое больше стала!

И работа пошла
 Там спорее вдвое.
 Коммунарский народ
 Ходит буйным роєм.

Настает новый год,
 Девятьсот тридцатый.
 Бедным будет ли он,
 Или будет богатым?

Дни бегут, как вода,
 Снег повсюду сходит.
 Свой порядок весна
 На земле заводит.

Лес зеленый шумит,
 Песней залился.
 Над полянкой журчит
 Жаворонок в выси.

А в Коммуне — гляди! —
 Какое веселье!
 Целых триста га
 Им трактор засеял!

Важно ходят в полях
 Коммунары, смотрят,
 Чтобы первый посеял
 Ничем не испортить.

Походили кругом
 И снова в болото —
 Корчевать да пахать
 Ударною ротой.

IV

Многого добились,
 Дело вширь идет.
 Выросли постройки
 Посреди болот.

Избы и сараи
 Вытянулись в строй.
 На болоте старом
 Стала жизнь другой.

Вот и паровая
 Мельница стоит.
 Тут же лесопилка
 Пилами свистит.

Мельница им мелет
 На муку зерно.
 Режет лесопилка
 За бревном бревно.

Был на лесопилке
 Коммунар один.

Звался Борисенко,
 Всех был впереди.

Подавал колоды,
 Доски принимал,
 Рук своих могучих
 Вниз не опускал.

Но вдруг сделал промах
 Парень боевой,
 И доска с разлету
 Двинула его.

Двинула жестоко,
 Словно обухом...
 Весь народ сбежался,
 Обступил кругом.

Принесли носилки,
 Унесли... Три дня
 И три долгих ночи
 Умирал бедняк.

Он погиб в разгаре
 Жизни трудовой.
 Уж ему не нужно
 Больше ничего.

Над могилой свежей
 Капнула слеза.
 Речь с глубоким чувством
 Старшина сказал:

— Спи, наш Борисенко,
 Коммунарский сын!
 В трудовом семействе
 Был ты не один.

В армии ты Красной
 Верным был бойцом,
 Ценен командиру
 И любим полком.

Ой, товарищ милый!
 Рано ты погас!
 Коммунистом стойким
 Был ты между нас.

Спи, наш Борисенко!
 Легким будь, песок!
 От тебя остался
 Маленький сынок.

Он тебя заменит,
Вслед пойдет тебе,
Будет первым в нашей
Трудовой борьбе.

Будет он ударник,
Будет бригадир...
Спи, наш Борисенко,
Жизни командир!

Брызнули землю
На сосновый гроб.
И могильщик важно
Бугорок нагреб.

Коммунарки рядом
Плакали тайком.
Хоронить им друга
Было нелегко.

А старухи громко
Плач вздымали свой:
— На кого ж покинул?
— Умер для чего?

V

И опять за стройку,
И опять корчуют
Дальше, больше, шире,
Устали не чуя.

Есть в Коммуне школа,
Для ребяток ясли,
Дымные лучины
Навсегда погасли.

Есть в Коммуне стадо,
И коровы гладки,
И ржут резво кони,
Растут буйно грядки.

А за стройку глянуть —
Не окинешь оком!
Разлетелось поле
Далеко-далеко!

Тракторы шныряют
Над рекой Орессой,
Плугами и диском.
Торфянице режут.

Рожь, овес, капусту,
Коноплю, картофель

Засевают, садят
На том жирном торфе.

И пески взирают
С завистью великой:
Урожай на торфе,
А на них все дико.

И растет все пышно
Небывалым ростом.
Для чужого взора
Все это так просто!

Будто здесь от века
Так все выросло,
И сама собою
Поле тина стала.

Но не так ведь это!
Создали все руки!
Их не позабудут
Правнуки и внуки.

И чего сумел там
Человек добиться,
Был с весною вместе
Стих мой очевидцем.

Тысяча гектаров,
Да еще за триста
Взято под посевы
У трясины чистой!

Сам посевы видел,
Обходил я поле.
На житье Коммуны
Нагляделся вволю.

Тут же я заметил
Чудо вот какое:
Будто вся работа
Шла сама собою.

Как ни озираю
Поле острым взором,
Но над их работой
Не видал надзора.

И нигде начальства
Не видал, не слышал.
Там без принужденья
Труд свободно дышит.

Да и не такое
Там я видел всюду,
Что для чужеземца
Было б просто чудом.

Перед целым светом
Должен я отметить,
Что людей печальных
Не пришлось мне встретить.

Не слышать в Коммуне
Скрытых вздыханий,
Ругани и свары,
Горьких нарежений.

VI

До совхоза «Сосны»
По болоту рейки —
Это от Коммуны
Путь узкоколейки.

Строили ударно
По всему простору
Ее коммунары
В зимовую пору.

Не было там спецев,
Никаких прорабов,
Сами ж они знали
Инженерство слабо.

Им нужна чугунка, —
Знали это только, —
Как зерно для хлеба,
Как дожди для поля.

Собирались часто,
Обсуждали вместе,
А из минских центров
Никаких известий!

Думают, мудруют
Коммунары чинно.
Думка о чугунке
В мозг засела клином.

Взяться за постройку
С неразумной прытью —
Можно государству
Причинить убыток.

За нерасторопность
Молодцов неловких

Ласково не будут
Гладить по головке!

Обсуждали дело,
Лбы и брови хмуры,
То в беседе тихой,
То гремя, как буря.

Вдруг тут Одериха
Речь сказал большую:
— Выстроим чугунку
Или пропаду я!

Был ведь на заводе
Мастером я тонким,
Склепывал рессоры,
Ладил шестеренки.

Выложу чугунку,
Будьте уж спокойны!
Все, что нам потребно,
Сделаем достойно!

Под его командой
Дело закипело,
И за шпалой шпала
Люди клали смело.

Потянулись рельсы,
Как по скрипке струны.
Все уже готово,
Пользуйся, Коммуна!

Принял Одериха
Для Коммуны бремя.
Демобилизован
Был он в это время.

Не учился в втузах,
Не был инженером,
Был он только смелым,
Коммунаром верным.

С тем иль этим стажем,
Но борец Коммуны
Проложил в болоте
Рельсы, словно струны.

И рельсы несутся
На семь километров,
Легят паровозы,
Обвеяны ветром.

И пишет Коммуна,
 Что сделала дело,
 Что всем уж можно
 Проехать к ним смело.

Скорей приезжайте
 И в счет запишите
 Советских республик
 Наш новый прибыток!

Приехали спецы, —
 Нельзя ж не приехать! —
 Но был новый путь им
 Как будто помехой.

— А где ж разрешенье? —
 Так начали сразу: —
 И кто вам оформил
 Подряды, заказы?

— Кто место отвел вам?
 Кто планы составил?
 И где циркуляры?
 Не знаете правил!

И злостно бурчали,
 И спорили много,
 Но приняли все же
 В итоге дорогу.

Свистнул раз, свистнул два
 Шустрый паровозик
 И повез, и повез
 За возиком возик.

Вагонетки бегут
 По рельсам чугунным
 Прямо в «Сосны», в совхоз,
 От самой Коммуны.

От совхоза назад,
 До Коммуны едут.
 И свистом своим
 Возвещают победу.

Да и шутка ль сказать!
 Провели на подмогу
 Коммуне своей
 Железную дорогу!

Ты кукуй, не кукуй,
 Птичка горевая!
 Коммунары паровоз
 Кукушкой называют!

VII

А на речке, на Орессе,
 Слышен гулкий рокот:
 Наступают на болото
 С севера, с востока.

Там встает уже Коммуна
 На болотах бурых.
 Полещук же одиночка
 Свои брови хмурит.

Ты насупился напрасно,
 Дядька неразумный!
 Чтоб твою улучшить долю,
 Выросла Коммуна.

А по речке, по Орессе,
 Бегают моторка.
 На нее челнок старинный
 Смотрит с грустью горькой.

Срок твой скоро истекает
 В жизни, уже новой!
 В глушь Полесья грудь вонзилась
 Челнока стального.

Новый челн тебя сильней!
 И, гордясь новинкой,
 Очаровано Полесье
 Красною кувшинкой.

А на речке, на Орессе,
 Темп бушует бодрый.
 Коммунар, коммунарки
 За хозяйством смотрят.

Тут ударная работа
 Очень много значит.
 Каждый знает свое место —
 Ведь нельзя иначе!

И для них не гаснут зори,
 Как досель не гасли.
 Расширяется Коммуна,
 Новой жизни ясли.

А на речке, на Орессе,
 Растут октябрята,
 Пионеры, комсомольцы —
 Крепкие ребята.

Растет смена коммунарам,
 Стойким и примерным.

Все служить Коммуне будут,
Как отцы их, верно.

Не уйдут от нашей правды
В бурю, в лихолетье.

Им весь мир — страна родная,
Для них солнце светит.

А по речке, по Орессе,
Растут избы хлестко,
Пахнут деревом смолистым,
Свежею известкой.

Стены выструганы гладко,
Белой жести крыша.
Потолки, полы сверкают,
Окна — метра выше.

Электричество им солнце
Заменяет ночью.
Это сам себе все строил
Коммунар-рабочий.

А на речке, на Орессе,
Много, много дива.
Стали жить там коммунары
Весело, счастливо.

Там свою Коммуну строят
В боевом разгоне.
Запевают гулко песню:
— Если кто затронет,

Если час придет и кликнут
К новой нас работе,
Мы пойдем тогда с винтовкой
Осушать болота!

5. Совхоз имени десятилетия БССР

I

Марьино болото!
Трудно доискаться,
Сколько в твоих недрах
Спрятано богатства!

Марьино болото,
Как ты расцветает!
Ты растишь Коммуну
И совхоз питаешь.

Марьино болото,
Много дать ты можешь!
И людей ты кормишь,
И животных тоже.

Всюду о Коммуне
Слышен слухов шорох,
Что среди болота
Выросла так скоро.

Эхо носит слухи —
Правда ль? Не мечта ли?
А вокруг Коммуны
И совхозы встали.

Вот один уж в Соснах
Вырасти стремится.
Стал уже гигантом,
Есть чему дивиться!

А другой — «Загалье» —
На реке Орессе
Расцветает быстро
В диком пустолесьи.

Сорок тысяч га он
Взял себе отважно.
Это вам не шутка,
Это не мираж вам!

Но про то «Загалье»
Петь мне не по нраву.
Пусть ему другие
Воспевают славу.

Здесь о нем не буду
Говорить я длинно,
Потому что пахнет
Там еще трясиной.

Сосны, мои Сосны!
Издавна росли вы.
Видели немало
В жизни несчастливой.

Гнет царя и пана
Видели вы, Сосны,
Под метелью зимней,
В голубые весны.

Видели вы муки
Под ярмом тяжелым,

Нищету людскую,
Груды трупов голых.

Далеко ушли вы,
Сосны, в жизни новой,
Хоть расти над топью
Было нелегко вам!

Выросли вы буйно
Только за три года,
Гордо поднялись вы,
Выстроились гордо!

Солнце ли восходит,
Месяц ли сияет, —
Небо вас улыбкой
Весело ласкает.

Сосны, мои Сосны,
К вам, в глухие дали,
Дальше, чем в Коммуне,
Льются магистрали.

Топь просторов ваших
Сил взяла немало:
И дренажа больше,
И длинней каналы.

Торфяное поле!
Топь твою вчера лишь
В страхе безысходном
Люди озирали.

А сегодня смело
Шествуют с машиной
По сухой равнине...
Это ли не дивно?

II

Я не буду внутрь совхоза
Очень углубляться.
Опишу как очевидец,
С чем пришлось спознаться.

О бригадах, об ударных,
Вспомнить добрым словом,
О рабочих-трактористах
Можно будет снова.

Тут начну я описание,
Как в старинных сказках, —

Ведь иначе не выходит! —
Слушайте, кто ласков!

За горами, за долами,
Средь болот пустынных
Поднимались новой жизни
Дивные картины.

Там, где не было дороги,
Средь болот сонливых,
Стали буйно красоваться
Пажити и нивы.

Поле выстругано ровно,
Как доска рубанком.
Только там, под самой фермой,
Высится полянка.

От весны веселой, ранней
До поры осенней
В поле радостно несется
Тракторное пенье.

Две чугунки на совхозном
Сходятся вокзале,
И так свищут паровозы,
Что слышать в «Загалье».

То привозят — много, много! —
По тем рельсам длинным
Удобренье под посевы,
Тракторы, машины.

То вывозят — много-много! —
Грузов драгоценных:
То пеньку, а то картофель,
Чаще ж — горы сена.

Инвентарь в самом совхозе
До чего богатый!
И живой, и неживой есть,
Сосчитать? Куда там!

Не похож он на местечко.
Это — прямо город!
Тьма людей, везде порядок,
Глянeshь — станeshь гордым!

Да! Советскому совхозу
Есть чем похвалиться:
Двухэтажные строения,
Клуб — совсем столица!

6. Вместо заключения

Есть больница, а в больнице
 Доктор есть и фельдшер.
 Привезут туда больного —
 Ему станет легче.

Есть аптека, акушерка
 Служит там за бабу.
 Ну, а темпы! Там сумели
 Время взять в охапку.

На рабфаке там студенты
 Сталь науки гложут.
 Темноту и некультурность
 Быстро уничтожат!

Много их! И большинство их
 Бедного беднее.
 А рабфаковки! Посмотришь —
 Сердце пламенеет!

Всем работницам, рабочим
 Жить там просто мило!
 Ясли, прачечная, баня,
 Сколько хочешь мыла!

Люди трудятся там дружно,
 Нет замашек панских.
 Это все народ советский,
 Рабоче-крестьянский.

Есть наверно неполадки.
 Ведь нельзя иначе!
 Ну, а если нет их в песне,
 Не заметил, значит!

Электричество в совхозе
 Разгоняет ночь там.
 Есть свой радиоприемник,
 Телефон и почта.

Я закончу.. Слишком много
 Тем там для поэта.
 Теневых сторон там меньше,
 Чем цветов и света.

И Коммуна эта,
 И этот совхоз
 С каждым новым летом
 Будут итти в рост.

Чтобы их победу
 Оценить сполна,
 Люди к ним приедут
 Из далеких стран.

И, любясь новым
 Обществом людей,
 Вспомнят добрым словом
 Всех его вождей.

Солнце, месяц, зори
 Будут веселей
 Светить на просторе
 Новых полей.

О новом Полесьи
 Во все концы
 Разнесут свои песни
 Поэты и певцы.

Воспоют в тех песнях
 Труд и героизм,
 Как болотную плесень
 Смёл социализм.

Как под зорким надзором
 Партии побед
 Большевицкой партии
 Вырос новый свет.

И хоть враг ставит сети
 Вреда и угроз,
 Пройдут сквозь столетья
 Коммуна и совхоз.

Коммуна Б. В. А. Минск.

Май 1933 г.

Авторизованный перевод с белорусского
 СЕРГЕЯ ГОРОДЕЦКОГО.

Человек меняет кожу

Роман

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Книга вторая

(Окончание *)

«Одним из лучших хлопковых районов является Арал — остров, окруженный протоками Вахша; земля здесь отличная; воды вполне достаточно. Во время басмачества население Арала разбежалось, но теперь остров заселяется снова».

(Проф. Н. Г. М а л л и ц к и й — «Учебное пособие по географии Таджикистана»)

ПАУЗА ВТОРАЯ

Об одном колхознике

Таковы повести, которые мы рассказываем тебе о сих городах; из них одни еще стоят на корню своем, а другие уже пожаты»¹⁾.

Был Касым-токсаба²⁾ известен на весь Арал не только стадами своих баранов (были в кишлаке скотоводы богаче его), но славился он перед всеми великим умом и силой: шестипудового барана подымал одной рукой и взваливал на седло, а серебряную тангу ломал в пальцах, как кусок черствой лепешки. Звали его за это еще Касым-полван³⁾. Был Касым в каком-то родстве с самим гиссарским беком. Родство было — десятая вода на киселе, но, когда токсаба говорил: «Мой дядя — гиссарский бек», не было такого, кто бы посмел усомниться. Все знали, что восемь лет назад тогдашний мирахур Касым повез в пода-

рок беку, кроме сотни баранов, свою одиннадцатилетнюю дочь. Бек остался доволен подарком и благоволил с тех пор к Касыму-токсабе. И хотя чрезмерным умом никогда токсаба не блистал и до смерти не осилил искусства подписывать свое имя на бумаге, слыл он с тех пор человеком умным и прозорливым: разве не надо большого ума, чтобы снискать благоволение бека, и разве многие умники сумели этого достигнуть?

Любил Касым-токсаба плотно и жирно поесть. Говорили, что он с братом с'едает в присест молодого барашка, а пятифунтовый курдюк глотал на пари, как глотают гроздь винограда. Любил еще Касым драть козла, и была это его единственная большая страсть, ставшая для него роковой. Равного ему козлодера не было во всей округе. И в Курган-Тепа, и в Джиликуле, и даже в Дюшамбе, когда на козлодрание являлся Касым, менее уверенные всадники за благовременно поворачивали коней.

Смерть Касыма-токсабы была так же назидательна и библейска, как вся его жизнь, и предвосхищена в евангелии изречением: «Взявший меч от меча по-

*) См. «Новый мир», кн. кн. 5, 6, 7 — 8 с. г.

¹⁾ Коран, II, 102.

²⁾ Чин в бухарской иерархии.

³⁾ Богатырь, силач.

гибнет». В один будничный день, отмеченный лишь тоем по случаю свадьбы сына муллы из Ляура, на заурядном козлодрании, в котором приняло участие не более сорока джигитов, конь Касыма сломал переднюю ногу и сбросил всадника под копыта состязавшихся. Когда взбудораженная орава ускакала в азартной погоне, Касыма подняли с земли с головой, раздробленной, как кувшин, неистовым конским копытом.

Молва говорит, что на поминках Касыма-токсабы было съедено пятьдесят баранов и столько же мешков риса, но молва любит преувеличивать данные о смерти героев.

Было у Касыма-токсабы три жены, однако за неизвестные грехи бог обидел Касыма мужским потомством. Только пятидесяти лет от роду, взяв в дом четвертую жену, Махтоб, прижил с ней Касыма сына. Махтоб, сделав свое дело, при родах умерла, а сын выжил, и дали ему имя Шохобдин, в честь муллы, посоветовавшего жене Касыма съездить к святому источнику. Злые языки говорили, что Махтоб помог не столько святой источник, сколько брат Касыма — Пулат, но мало ли что говорят злые языки.

Когда похоронили Касыма, было его сыну Шохобдину одиннадцать лет. Поминками по умершем занялся Пулат, почтивший память покойного по всем правилам шариата и не пожалевший Касымовых баранов. Потом Пулат, посыпав голову пылью, погнал в Гиссар стадо овец и увез свою младшую дочь, Айшу. Вернулся Пулат как-раз к пяти-недельным поминкам — чиль — без баранов и без дочери, но зато с грамотой бека, и в грамоте значилось, что отныне токсабой в кишлаке назначается он, Пулат. Потом Пулат с семьей переехал в дом Касыма. Одиннадцатилетний Шохобдин был живо устроен к бездетным родственникам, проживавшим на другом конце кишлака. Но тут-то и вышла заминка. Мальчик забился в угол, заявил, что из дома никуда не уйдет, и дядю, пытавшегося его образумить, пребольно укусил в руку. Не желая возбуждать лишних толков, дядя не настаивал.

Когда верблюд хочет есть, он опускает голову. Неделю спустя строптивый мальчик, исхудалый, как щепка (вероятно от горя по почившем родителе), сам покинул дом дяди и перебрался к родственникам.

Жил Пулат-токсаба в мире и почете девятнадцать лет, откармливал и резал баранов, умеренно драл козла и неумеренно обдирал дехкан, оплодотворял жен и, наподобие библейских патриархов, обростал потомством. И прожил бы вероятно в благополучии до самой смерти, если бы в один нехороший осенний вечер не зашел к нему в гости Шохобдин. Было тогда Шохобдину тридцать лет, и был Шохобдин мужчиной нрава крутого. После смерти бездетных родственников осталось ему в наследство их незатейливое хозяйство. Жил Шохобдин в кишлаке на отлете, и отношения у них с дядей-токсабой были скорее плохие: никто ни разу не видел Шохобдина в доме Пулата. Поэтому, когда в нехороший осенний вечер Шохобдин переступил порог Пулатовой хоны, сидевшие там почтенные гости оборвали разговор и деловито завозились около чайников: кому охота заглядывать в чужие дела? Вышли Шохобдин с Пулатом в сад, и говорили они там долго, а, о чем говорили, никто, кроме них двоих, так и не узнал. Только вернулся Пулат из сада в расстроенных чувствах. Гости, молчаливо слопав барашка, — зачем пропадать добру? — тихонько разошлись по домам.

Говорили в этот вечер в кишлаке, будто Шохобдин пришел сообщить Пулату, что решил жениться и наладить хозяйство. И сказал будто Шохобдин дяде, что не мешал ему наживать богатство на отцовском добре, но всему свой срок, и пора подумать о дележе. Предлагал Шохобдин Пулату разделить с ним имущество пополам. Пулат очень обиделся, назвал Шохобдина сумасшедшим разбойником, запретил приходить в свой дом и обращаться к нему с подобными глупостями. Шохобдин сказал «хоп!» и ушел, не попрощавшись.

О разговоре этом пошли толки месяца два спустя, когда в хону Пулата притащились исхудалые от страха па-

стухи и доложили хозяину, что на его стада, возвращавшиеся с летних пастбищ, у подножия гор Гиссара напала шайка басмачей под командой знаменитого вора и конокрада Исмаила-кунградца. Большое стадо баранов басмачи угнали в горы, а тех, которых угнать не могли, перерезали тут же на месте и бросили на сѐдение стервятникам.

Говорят, что при вести об этом несчастии Пулат-токсаба поседел на глазах у присутствовавших. Нашлись даже свидетели, которые клялись, что видели это собственными глазами. Было впрочем тогда Пулату пятьдесят семь лет, и, по всем естественным данным, успел он поседеть задолго до этого происшествия. Неоспоримо одно: первым словом, которое произнес Пулат, обретя дар речи, было имя Шохобдина. Однако, несмотря на самые строгие расспросы, было установлено со всей точностью, что Шохобдин за все время никуда из кишлака не отлучался, деятельно готовясь к женитьбе. Единственным туманным намеком на его причастность к гибели Пулатовых стад были слухи о большом калыме, который Шохобдин уплатил курган-тепинскому ишану. Пулат не поленился сѐздить в Курган-Тѐпа, но ишан заверил его, что калым взял совсем небольшой в память своей дружбы с покойным отцом Шохобдина. Пулат понял, что, взяв от Шохобдина деньги, ишан не намерен их возвращать и вообще глупо было терять время на эту поездку. Тогда он оседлал своего лучшего коня и поехал с жалобой к самому гиссарскому беку.

Свадьба Шохобдина с дочерью курган-тепинского ишана состоялась в отсутствие Пулата. По достоверному заявлению стариков, такого тоя не видел кишлак со дня поминок по безвременно погибшем Касыме. Сколько баранов зарезал в этот день Шохобдин, никому в точности не было известно, но еще три дня спустя весь кишлак икал жареной бараниной. «Если дают дыню, какое тебе дело, из чьего она огорода» — говорили почтеннейшие старики, облизывая пальцы после Шохобдиновых баранов. Все внезапно вспомнили про старого Касыма и, причмокивая от плова

и от избытка чувств, восхваляли его силу и доблесть, сходясь на одном, что другого такого токсаба кишлаку не видеть. Молодой Шохобдин собственноручно подносил старикам самые жирные блюда, убеждая обѐвшихся изречением из корана: «Ешьте, пейте дотолѐ, куда вам нельзя будет различить белую нить от черной нити». Все хвалили его незаурядный ум и мечтательно закрывали глаза, вспоминая ум его отца и его тѐстя-ишана.

Долгое время Пулат находился в отъезде. Доходили слухи, что бек по его просьбе снарядил специальный отряд для поимки Исмаила-кунградца. Потом однажды пришла весть, что Исмаил-кунградец пойман живьем и что бек подарил его Пулату. Была уже зима, на полях Арала лежал снег, белый, как сахар, и мороз стоял такой, какого не помнили с давних пор, когда однажды утром Пулат явился домой, ведя в поводу коня. И сразу разнеслось по кишлаку, что в полдень у речки, на глазах у всего народа, токсаба будет наказывать своего обидчика. Все мужчины высыпали гурьбой смотреть на казнь Исмаила. Связанного басмача, раздетого догола, токсаба погнал к реке. Два Пулатовых батрака поливали Исмаила студеной водой. После каждого ведра токсаба спрашивал громогласно: «Кто тебя уговорил резать моих баранов? Назови имя твоего сообщника!»

Шохобдин, сын Касыма, занятый по хозяйству, один из немногих не присутствовал при казни кунградца.

Пулат упорно утверждал перед казнем, что прежде, чем обратиться в сосульку, Исмаил назвал имя Шохобдина. Однако свидетелей, которые подтвердили бы это, не нашлось. И мирахур, и караул-беги¹⁾, и арбоб²⁾ во время экзекуции случайно стояли в стороне и не могли расслышать последних слов замерзавшего. Те, которые стояли ближе, уверяли, что рот кунградца замерз после первых же ведер.

Пулат не убедил казая. Токсаба понимал хорошо, что слова, не подкре-

¹⁾ Мелкие кишлачные чиновники.

²⁾ Кишлачный старшина.

пленные баранами, не имеют веса, а последних его баранов доедал гиссарский бек.

В следующие годы токсаба взялся так рьяно наверстывать потерянное имущество, что от непосильных тягот взвыл весь кишлак. К концу четвертого года Пулат был опять зажиточным хозяином, хотя стада его не составляли и половины погубленных Исмаилом. Однако чрезмерной жадностью он вконец подорвал свой прежний авторитет. Все чаще почтенные гости, минуя дом токсабы, заходили в новую хону к Шохобдину, и все чаще, вспоминая за пловом подвиги покойного Касыма, поговаривали они о добрых старых временах, когда титул токсабы переходил по наследству от отца к сыну.

Один Пулат, проходя мимо дома Шохобдина, плевался и отворачивал голову. Он не раз проклинал ту весеннюю душную ночь, когда помутил его дьявол оплодотворить богатырским семенем младшую из жен Касыма.

... Однажды, возвращаясь поздно вечером с базара, Пулат-токсаба под'ехал к Вахшу и не застал там бурдючников. Он решил уже было заночевать на берегу, когда заметил неподалеку надувающих бурдюки дехкан. Он сторговался с ними за полтанги, откупил бурдюки, прикрепил их к лошадиному хвосту и полез в Вахш. Не доплыв до середины реки, он услышал подозрительный свист и, столбенея от страха, заметил, что воздух из бурдюков стремительно уходит. Бурдюки были дырявые. Он нырнул раз и другой, густо хлебнув воды, попытался уцепиться за хвост коня, но нащупал рукой пустоту, пробовал плыть, вода швырнула его в сторону и ударила о торчащие глыбы. Он вынырнул еще раз и, подхваченный налетевшей волной, кувырком полетел вниз по течению.

Конь Пулата пришел домой без всадника. Домашние подняли тревогу. Нашлись люди, видевшие токсабу ночью невдалеке от переправы. Каючники шестами обшарили реку, но утопленника не нашли. К вечеру в доме Пулата уже перебирали рис, готовясь к траурному тою.

Тогда среди ночи Шохобдин оседлал коня, посадил в седло свою девятилетнюю дочь, Ширин, и, приказав пастухам гнать за собой сто пятьдесят отборных баранов, тронулся в Гиссар.

Бек благосклонно принял подарки. Это был семидесятилетний дряхлый старичок, большой любитель козлодрания, помнивший еще Касыма-полвана и ничего не имевший против, чтобы сын Касыма и отец такой миленькой девочки стал в своем кишлаке токсабой.

С грамотой в платке отправился Шохобдин домой. Ранним утром в'ехал он в кишлак на взывавшем коне. Улицы кишлака были еще безлюдны. Первым человеком, которого встретил в это утро Шохобдин, был Пулат-токсаба. В первую минуту Шохобдин не узнал его, а, узнав, не поверил глазам. Изуродованное лицо Пулата обвязано было белым тряпьем. Он хромал и опирался на палку. Узнать его было можно только по его грузной, богатырской фигуре. Завидя Шохобдина, Пулат тоже остановился и посмотрел на него внимательно. И было во взгляде этих двух людей, встретившихся на слишком узкой дорожке, столько непримиримой ненависти, что даже конь Шохобдина, почуяв недоброе, рванул и рысью пошел к дому.

Шохобдин узнал от домашних, что Пулат вернулся домой как-раз к траурному тою. Вода несла его пятнадцать верст, глуша и коверкая о камни, и все же на пятнадцатой версте он выкарабкался на берег. Два дня и две ночи он пролежал без памяти в прибрежных кустах и на третью ночь, весь изуродованный, с вывихнутой ногой, на четвереньках добрался до кишлака.

Шохобдин не сказал ничего, только жену свою Халиму, спросившую с плачем о дочери, так днул ногой во вздутый живот, что жена с воем отлетела к стенке.

Ходил Пулат в токсабах после этого происшествия еще целых четыре года, хотя нельзя сказать, чтобы это были счастливые годы его жизни. Говорили старики, что повис над ним злой рок. Правда, последние годы жизни токсабы были годами несчастий, обрушившихся

не на него одного. Поздней осенью странники принесли слух о разгроме неверными благородной Бухары и о бегстве великого эмира Саида Олим-хана в Байсун. Старики упорно отказывались верить этой нелепой вести. Они знали хорошо, что из восьми ворот, ведущих в рай, одни ворота открываются туда прямо из Бухары. Было безбожной ересью, противной учению ислама, утверждать, что бог открыл райские ворота неверным. Однако за первыми слухами поползли другие, все более косматые и грозные. Говорили, что войска эмира, пробовавшие прорваться на Шахризьяб, разбиты под Байсуном неверными, эмир отступает к Дюшамбе. На дюшамбинской дороге появились груженные золотом караваны эмирских верблюдов. Отрицать происшедшее стало невозможно. Когда же, накануне весны, караваны эмира двинулись в беспорядочном бегстве через Курган-Тепа к Чубеку и вслед за эмиром по дороге на Курган проскакал со своим караваном гиссарский бек, все уже знали, что и Гиссар, и Дюшамбе заняты красными и что завтра, догоняя эмира, неверные войдут в Арал.

В Арал, лежавший в стороне от большой дороги, вошли они впрочем позже, уже после того, как эмир с гиссарским беком бежал за Пяндж, в страну афганцев, сохранившую законы шариата.

Тогда начались месяцы настоящей смуты. В Кокташе объявился Ибраим-локаец, вор и конокрад, компаньон безвременного погибшего Исмаила-кунградца, провозгласил себя беком и стал созывать народ на священную войну с неверными. Много народа пошло под его команду. Над пастбищами густо засветили пули, сшибая в садах крутые желтки урюка. Каждый кишлак разделся в эти дни на два кишлака. Один седлал лошадей и уходил к Ибраиму, другой стягивал стада и уходил в горы, переждать опасный сумбур. Шохобдин после первых успехов Ибраима оседлал коня и, поддерживаемый стариками, увел к Ибраиму большое количество всадников. Сам Шохобдин далеко от родного Арала не отлучался и часто за-

езжал в кишлак распорядиться по хозяйству. Был еще и третий кишлак, если можно назвать кишлаком безродную голь, бедняков и чайрикеров. Многие из них, наслышавшись разговоров о земле и дележе стад, ушли вместе с отступавшими красными. Головы троих из них привез в одно из своих посещений Шохобдин и, вытряхнув из мешка, подвесил за бороды перед жильями отступников. Сам Ибраим с ишаном Султаном осаждал уже Дюшамбе, в котором доживал свои последние дни последний гарнизон красных.

Потом пришла зима. Дни дюшамбинского гарнизона отсчитывались уже месяцами. Опять гремела пальба. Теперь об Ибраиме говорили мало. Чаще повторяли имя Энвера, наступавшего откуда-то во главе несметных войск и поклявшегося умереть за ислам. Потом прошли весна и лето. Стада хирели, не отведенные на весенние пастбища, и таяли в бездонных котлах ретивых защитников ислама.

Этим летом, в жаркий июльский полдень, тихо скончался семидесятилетний Пулат-токсаба. Вечером в кишлак прискакал Шохобдин в сопровождении нескольких всадников, ушедших вместе с ним к Ибраиму. Узнав о смерти Пулата, Шохобдин только сплюнул и приказал семье сворачивать пожитки. Ночью, длинной вереницей навьюченных коней и ослов, они двинулись из опустевшего кишлака.

Шохобдину, сыну Касыма, не суждено было стать токсабой. В эту ночь красные, переправившись через Вахш, заняли Курган-Тепа.

Месяц спустя, уже на том берегу Пянджа, в заброшенном афганском кишлаке, узнали аральские беглецы, что Энвер сдержал свое слово: умер за ислам, уложенный красноармейской пулей 4 августа 1922 года в окрестностях Балъджуана.

Часть оставшихся баранов съели афганские чиновники. Нажить новых на чужой земле было уже нелегко, особенно при жадности местных властей, облепивших эмигрантов, как обрадованные вши. Богатые хозяева любили пре-

жде поговаривать, что омач запасливого дехкана в несколько лет раз пашет прямо по золоту. Они намекали этой пословицей на неурожайные годы, когда зажиточный богатырь, продавая на вес золота припасенное зерно. О годах, проведенных в Афганистане, беглецы могли сказать, что омач их пахал по олову. Многие, не ходившие под командой Ибраима, быстро стали жалеть, что бросили хозяйство и дали жожакам потянуть себя в эту негостеприимную страну. Те, которые говорили об этом открыто, и те, которые молчали, жили одной надеждой на скорое возвращение. Там, на родине, остался Ибраим, объявивший новой власти войну не на жизнь, а на смерть. По словам Шохобдина и стариков, весь мусульманский народ восстал и дерется под его началом. Войска Ибраима исчислялись сотнями тысяч. Было непонятно, почему Ибраим до сих пор не берет Дюшамбе.

Так прошел год, потом второй, потом третий. К концу третьего года разговор о войсках Ибраима затих, а на четвертый год на афганском берегу появился сам Ибраим с кучкой потрепанных джигитов. Джигиты заверяли, что слухи о том, якобы войска неверных разбила их и прогнала за Пяндж, — сущий вымысел. Они вовсе не бежали, а ушли по собственной воле. Мусульманское население Бухары не хочет больше защищать ислама, прикидываясь усталым от борьбы и кровопролития. О таких говорил пророк, что здешнюю жизнь удовлетворяют больше, чем будущей, и, когда для им сказано: «Выступайте в поход для войны на пути божием!», притворяясь утомленными, легли на землю. Это они попросили Ибраима прекратить войну и уйти из Бухары. Ибраим решил дать возможность маловерам убедиться самим в губительности безбожной власти и только потом, когда, убедившись, возопят они о помощи, притти им на подмогу. По точным подсчетам Ибраима, это должно было произойти не позже весны следующего года. Нужно было спешно организовать здесь, в Афганистане, солидное басмаческое войско и держать его в неусыпной боевой готовности, чтобы

зов с той стороны Пянджа не застал его врасплох. Ибраим тут же открыл вербовку джигитов, и, хотя после четырехлетних неудач в успех его затеи верили немногие, многие откликнулись на его новый призыв: бегство и эмиграция разорили их вконец, и все равно есть и терять им было нечего.

Войско, когда оно не воюет, может год не заряжать винтовок, но заряжать желудок должно каждый день. Дехкане Катагану-Бадахшанской области, беглецы и туземцы, угрюмо чесали затылки, смотря исподлобья на рост Ибраимовой гвардии. Потомственные скотоводы, они хорошо знали старую истину: начинается война — прощайте, бараны.

Когда к лету следующего года джигиты Ибраима, бряцая оружием, разгрузили дочиства последний захудалый кишлак, а с той стороны Пянджа никто попржнему не звал их на подмогу, беглецы, посоветовавшись не одну и не две ночи, твердо решили возвращаться. Приезжие люди говорили, что советская власть обещала всем дехканам, бывшим участникам басмачества, бежавшим за границу, забыть старые счета, не преследовать никого и каждому деньгами и инвентарем помочь восстановить заброшенное хозяйство. Говорили, что народ на той стороне Пянджа живет в мире и благополучии, особенно беднота. Новая власть взяла ее под свою опеку, и тот, кто имеет книжку бедняка, пользуется особым почетом.

Ночами из пограничных кишлаков к реке потянулись кучки народа. Сначала бежали в одиночку, потом семьями, потом открыто целыми кишлаками. Ибраим пробовал расставить свои патрули, но народ тек, как вода, меж пальцев, и не было уже никакой силы, способной его удержать.

С той стороны Пянджа прибывали одинокие беглецы: муллы, бывшие чиновники, иногда крупные бан. Они плакались о поправных законах шарията, о мусульманских дочерях, открывших перед мужчинами самую стыдливую часть своего тела — лицо, о женах мусульман, купленных за дорогой калым, которые покидают мужей и уходят в развратные женские организации, где женщины и

мужчины спят скопом под одним одеялом. Ибраим рассылал этих беглецов по кишлакам, чтобы своим свидетельством образумили они народ, подобно безрасудным комарам, стремящийся в адское пламя. Люди слушали, сокрушенно кивая головами. И все же, когда через неделю являлся новый очевидец, он не заставлял и половины прежнего кишлака.

Когда из аральских беглецов осталось ровно двадцать семейств, мужчины кишлака собрались на совет в хоне Шохобдина. Каждый боялся, что семьи, уехавшие вперед, могут распределить между собой лучшие кишлачные земли и запоздавшим останутся перелог и туган. Ясно было, что все они уйдут, и те, которые больше всего опасались ухода других, уйдут первыми.

Шохобдин, до сих пор яро восставший против мысли о возвращении, вдруг переменял фронт и, потакая старикам, согласился: возвращаться надо. Не надо только торопиться и бежать по-одному. Ехать надо скопом, и, приехав на место, самим, без споров и вмешательства властей, распределить между собой по-старому жилища и землю. Все говорят, что советская власть дает возвращенцам инвентарь и кредит на покупку скота. Зачем тогда возвращаться со своим скотом? Весь скот и добро, какое у кого есть, надо продать и забрать с собой деньги. Каждый дехканин, вернувшийся без ничего, будет считаться бедняком и получит бедняцкую книжку.

Старики похвалили разумное слово Шохобдина. Было решено тут же продать без спешки скот и тронуться к концу будущей недели.

В эту ночь Шохобдин долго не мог сомкнуть глаз. Мучили сомнения. Он не мог уже остановить никого, кроме трех-четырех дряблых стариков. Люди, разговаривая об уходе, умолкали при его появлении. Шохобдин рисковал проснуться утром один, в опустевшем кишлаке. Протривиться уходу было нельзя. Наоборот, надо было взять инициативу в свои руки.

Наутро, не придя ни к какому заключению, он решил съездить за советом к большому ишану в Мазар-и-Шериф.

Ишан Халик Валяд-и-Умар, выслушав рассказ Шохобдина, сказал назидательно:

— Умные люди говорили встарь: «Рассердившись на блоху, не стоит жечь кальсоны». Разве из-за того, что в Бухаре сейчас плохая власть, все правоверные мусульмане должны уйти из Бухары и оставить ее неверным? Не следует ли, чтобы правоверные мусульмане остались в Бухаре, а ушли оттуда неверные? Народ хочет возвращаться, и народ прав. А если б он и не был прав, силой его не удержишь. Голодное стадо само найдет дорогу к сытным пастбищам. Стадо уходит на старые пастбища, это не беда. Беда, если стадо уйдет одно, без пастухов.

— Как мне понимать ваши мудрые слова, домулло-ишан? — почтительно спросил Шохобдин.

— Народ недоволен Ибраимом: зачем Ибраим сидит здесь, когда он должен бы сидеть там? Это потому, что мусульмане Бухары, поработанные неверными, не знают еще, где их спасение. В тот день, когда они это поймут, Ибраим будет уже среди них. Правоверные, которые уходят сейчас из Афганистана, разбредутся по кишлакам Бухары. Уход их не будет противен шариагу, если они подготовят население Бухары к приему Ибраима.

— Ой, домулло-ишан! — опечалился Шохобдин. — Как же вы хотите, чтобы народ, который убегает сейчас от Ибраима, сам звал его на ту сторону Пянджа? Народ в большой обиде на Ибраима.

— Когда у человека болит палец, он подымает гвалт и уверяет, что худшей боли на свете нет. Когда у него начинает болеть зуб, он говорит: «Какой я был дурак! Я кричал, когда у меня болел палец. Разве это была боль? Это было одно удовольствие. Вот сейчас я узнал, что значит настоящая боль».

Шохобдин встал и поцеловал край ишанаго халата:

— Пойду готовиться в дорогу.

— Подожди, — остановил его ишан. — Ты — человек расторопный и знаешь людей и в Арале, и в Курган-Тепе, и в Джиликуле. На тебя можно поло-

житься. Ты сделаешь большое дело. Но дело любит деньги. Приходи через три дня, я поговорю о тебе с Ибраимом.

Три дня спустя Шохобдин вторично явился к ишану.

— У Ибраима сейчас затруднения, — сказал ишан. — Денег у него в казне нет. Но есть бараны. Тебе выдадут двести баранов. Продай их на базаре и деньги возьми с собой.

Говорил ишан с Шохобдиным в этот день целых два часа, и, уходя от него, после благословения, с сердцем легким, как птица, Шохобдин подумал впервые, что жизнь его не прошла зря, что бараны, подаренные гиссарскому беку, окупилась, не пропал даже неиспользованный чин токсабы: после восстановления правоверной власти в Бухаре Ибраим обещал назначить Шохобдина амлякдаром.

Выгодно продав баранов, вернулся Шохобдин домой и тут же начал готовиться к отъезду. Он позвал своего батрака, Хайдара, и, указав ему место рядом, заговорил приблизительно так:

— Не год и не два работал ты у меня, Хайдар, работал честно, не воровал, как другие, и не ленился. Знал я твоего отца, Раджеба, жили мы с ним всегда в дружбе. Маленьким взял я тебя в дом, много лет ты ел мой хлеб, и не было тебе от меня обиды. И если платил я тебе меньше, чем некоторые платили своим батракам, то делал я это потому, что от денег юноше — дурной соблазн. Решил я, когда войдешь в лета, вознаградить тебя за все сразу. Теперь годы твои подошли, и пора тебе обзавестись женой. Что ты об этом думаешь, Хайдар?

— Господин мой, — ответил Хайдар, — для того, чтобы достать жену, нужно уплатить калым. Откуда я, бедняк, могу собрать столько денег?

— Я сказал, что решил тебя вознаградить, и хочу тебе помочь устроиться, как родному сыну. Арбоб нашего кишлака, Мелик, должен мне много денег и баранов. Если я возьму на себя твой калым, Мелик не будет возражать, чтобы ты взял в жены его дочь. Не скажешь ли ты, что сам бог посылает тебе счастье? Другой такой жены нет во

всем кишлаке. Она, правда, не молоденькая девочка, но на родине, куда мы возвращаемся, новый закон запретил мужчинам жениться на слишком молодых; а раз мы едем туда, мы обязаны ему подчиняться. Работать она умеет, ты не один раз видел ее за работой. Ты, может быть, скажешь, что она некрасива? Я с тобой не буду спорить. Я тебе скажу, как говорили наши отцы: «Не выбирай в дождь коня, а в праздник жены. Каждая лошадь в дождь блестит, и каждая девушка, раздетая к празднику, кажется красавицей». Если ты, Хайдар, — умный мужчина, за какого я тебя всегда принимал, ты скажешь мне спасибо.

— Не сомневайтесь в моей благодарности, господин. Разве без вашей помощи я смог бы когда-либо купить себе жену?

— Хорошо, что ты оцениваешь мою заботу. Но это еще не все. Хорошо, когда у человека в твои годы есть уже жена, но лучше, когда, кроме жены, у него есть еще и хозяйство. Я подумал и об этом. Я говорил уже со стариками и поручился за тебя. Старики не возражают принять в кишлак под мою поруку зятя арбоба как равноправного хозяина. Когда мы приедем обратно в Арал, не говори никому, что ты — бобыль и служил у меня батраком. Старики скажут советской власти, что ты — такой же дехканин, как и мы все, и требуют, чтобы тебе тоже выделили подходящий кусок земли и помогли обзавестись хозяйством. Если захочешь отблагодарить меня, всегда найдешь способ сделать это надлежащим образом. Видишь сам, что для родного сына я не смог бы сделать больше. Иди и займись свадебными подарками. Тоем займусь я сам...

Опять, как шесть лет назад, редела ледяная река, подбрасывая скрипящий плот — слепок бурдюков и жердей. Опять над головой, как пули, рвались звенящие звезды, и желанный берег — не тот, не тот, что тогда! — изогнутым сленем мелькал в неуязвимой скачке.

Длинные аскеры в зеленых фуражках помогли им выбраться из воды. На

заставе их отпояли крепким зеленым чаем и, записав имена и местность, оставили ночевать. Зубами, еще звенящими от речной стужи, они рвали жирные ломти баранины и испуганно поглядывали исподлобья, стремительными пальцами сгребая рис: может быть, этот плов варили совсем не для них, даже наверное не для них, — кто мог знать, что как-раз сегодня переправятся они через реку? — и начальник, заметив ошибку, велит унести обратно этот дымящийся сытный котел.

На следующее утро с большой партией возвращенцев на грузовике их отправили в Курган-Тепа.

Родина бежала им навстречу маршевыми шагами телеграфных столбов, гремучей пылью встречных машин, клеточкой земли, раздираемой когтями первого трактора.

В Курган-Тепа они увидели многоглазые белые дома, словно вылепленные из снега, с глазами, прозрачными, как лед. В одном из этих домов они узнали от таджика в куцем европейском пиджаке, что земли их в Арале заняты переселенцами из Гарма. Надо было возвращаться пораньше. Сейчас советская власть может им предоставить землю только в Курган-Тепинском районе. Земля хорошая, хватит на всех, по два с половиной гектара. Место могут выбрать сами, где им покажется сподручнее. Они заявили, что хотят говорить с самой советской властью (так их учил Шохобдин: от русских можно выторговать больше!). Но таджик в куцем пиджаке ответил, что он и есть советская власть, никакой другой русской власти не было здесь и нет.

Опять их возили на грузовике смотреть свободные земли. Они долго ходили и выбирали, — с утра до позднего вечера, — щупали и нюхали землю, выбрав, передумывали, шли обратно и, вернувшись наконец в поту, долго не могли уснуть, взбудораженные сомнениями: не прогадали ли? Нельзя ли было выбрать еще лучше?

Весь следующий год, как потрепанные петухи на ячменном корму, они расправляли перья и обрастали пухом. После нового урожая, когда, казалось,

жизнь открыла перед ними настезь все свои закрома, пришли первые вести о коллективизации. С докладом о пользе коллективизации приехал секретарь из района. Говорил долго, одно за другим, отщелкивая, как на счетах, неоспоримые преимущества колхоза. Кончив, предложил высказываться присутствующим. Кишлак ответил мрачным молчанием. Тогда поднялся Шохобдин Касымов и первый заявил о своей готовности вступить в колхоз. После толковой речи Шохобдина в колхоз записался весь кишлак.

Секретарь, прощаясь, долго жал руку Шохобдину. Он не мог понять, почему этот сознательный дехканин наотрез отказался от председательства в новом колхозе и согласился быть лишь членом правления. У Шохобдина же были свои, весьма веские мотивы. Не дальше, как неделю тому назад, в ОГПУ неожиданно заинтересовались баранами, проданными в Мазар-и-Шерифе дехканином Касымовым. Из вопросов Шохобдин заключил, что ни точного количества, ни происхождения баранов в ОГПУ не знают. Тем не менее струсил он не на шутку. Поймав нить, долго ли распутать весь клубок? Уже на следующий день приходили к Хайдару Раджебову спрашивать, правда ли, будто раньше он служил у Шохобдина батраком, но Хайдар, испугавшись, что хотят отобрать у него незаконно полученную землю, решительно опроверг этот слух.

Одно не подлежало сомнению: кто-то из дехкан донес на него, Шохобдина, властям. Шохобдин перебрал весь кишлак и остановился на босяке Юсуфе, сыне Абдулы, имевшем с ним старые счеты. Знал Шохобдин и другое: дехкане, довольные льготами и урожайным годом, и слышать не хотели о возможном приходе Ибраима. Советская власть не предпринимала ничего такого, на чем можно было заострить их недовольство. Организация колхозов была первым мероприятием, открывающим в этом отношении большие возможности: «Сегодня хоть один бык, пусть хромой, да мой, а завтра хоть целое стадо, да не погонишь его домой». Шохобдин не первый год знал своих односельчан и был

спокоен, что, кроме разговоров и недовольства, ничего из этого дела не получится.

После отъезда секретаря Шохобдин созвал к себе влиятельных дехкан и сказал по секрету, что противиться колхозу бесполезно: все равно будут загонять всех силой, а зверяют теперь, мол, добровольно, чтобы выявить, кто из дехкан против, и таких отправить в холодные края. Потому надо делать вид, что колхозом все очень довольны. Избавятся дехкане от колхозного ярма только тогда, когда сама власть убедится, что никакой пользы от колхозов ей не будет. Тут он пространно разъяснил, что надо делать, чтобы власть убедилась в этом поскорее.

Председателя нового колхоза, Рахимшаха Олимова, Шохобдин не позвал. Потомственный бедняк, Рахимшах, никогда не принадлежал к ареопагу «почтенных». Кандидатуру его в председатели выдвинул сам Шохобдин именно из-за приятного сердцу новой власти бедняцкого происхождения Рахимшаха. Был Олимов при своей бедности человеком благочестивым и независтливым, нрава кроткого, жил по шариату и больше всего уважал стариков. Можно было быть уверенным заранее, что против стариков не пойдет.

Председательствовал Рахимшах ровно год, и жил колхоз под его председательством чинно и мирно. Только, когда собрали новый урожай, начались неприятности. Оказалось, что колхоз выполнил государственные задания всего на 50 процентов. Тут и пошла канитель. Из района приехал новый секретарь и до тех пор тыкал всюду нос, пока не выскреб еще 20 процентов. Выяснилось, что европейский инвентарь, подаренный районом, вовсе не применяется. Тогда Рахимшаха сняли с председательства с большим скандалом и прислали на его место из района нового председателя, демобилизованного красноармейца и кандидата партии Давлята Рустамова.

Начал Давлят свою работу с бурного общего собрания, на котором провел исключение из колхоза двух почтенных старых дехкан. Нашлись в районе сви-

детели, вспомнившие ни с того, ни с сего, что у указанных дехкан — имя рек — работало прежде в хозяйстве по два батрака.

Стал Давлят по вечерам вести длинные разговоры, все больше с прежними голоштанниками, и после разговора с Юсуфом, сыном Абдулы, зашел вечером к Хайдару, опять выспрашивать насчет прошлого его батрачества. Хайдар и на этот раз стойко отверг искушение. И хотя прошел месяц и никого больше Давлят не трогал, уже после первого собрания поняли старики, что спокойной жизни с этим председателем не будет.

Принялся Давлят налаживать хозяйство. Выхлопотал в районе специального учетчика, разбил колхозников на бригады, ввел учет и сам работал, как вол, на удивление колхозникам. Был он человек холостой, нездешний, собственного хозяйства не имел и все свое время мог посвящать колхозу.

Была у Давлята одна страсть: любил он утречком, на рассвете, поохотиться, пострелять кекликов, фазанов, зайцев, а то и джайранов. Было у него старое шомпольное ружьишко, а стрелял он хорошо, — за хорошую стрельбу получил в Красной армии часы. Больше всего любил охоту на крупного зверя, стрелял без промаха кабанов, хотя и не кушал кабаньего мяса. Потому, когда однажды, вернувшись с поля, Давлят не застал в хоне ружья, он потерял сразу и обычное веселье, и аппетит. Ружье пропало бесследно. Он напрасно выпытывал дехкан, извещал даже районную милицию: украденного ружья не нашли.

Как-то, после неприятного события, в хону к Давляту зашел незнакомый дехканин, сторож с хлопкового завода в Курган-Тепа, с завернутой в тряпку двустволкой. Один из мастеров, работавших на заводе, уезжал в Россию и продавал охотничье ружье. Нужны деньги, потому продает всего за семьсот рублей, хотя ружье совсем новое. Сторож слышал от знакомого милиционера, что председатель «Красного Октября» ищет ружье. Вот и пришел предложить: такая оказия бывает раз в десять лет, а то и реже.

Давлят осмотрел новенькую централку и долго вертел в руках, не в состоянии от нее оторваться. Он с досадой вспомнил, что совсем недавно у него было семьсот рублей. Чорт его удосужил одолжить из них пятьдесят червонцев трем колхозникам: Хайдару Раджебову, Мелику Абдукадырову и старику Азимову. У Хайдара подошли два барана, Мелик выдавал замуж младшую дочь, у Азимова в Сталинабаде заболел тифом сын, и старику не на что было выехать. Все просили взаймы, а случаи выдались такие, что отказать было нельзя. Осмотрев ружье, Давлят подумал с отчаянием, что осталось у него всего двадцать червонцев. Нужно было еще пятьдесят. Раздобыть такую сумму в кишлаке не было никакой надежды. Он все же попросил дехканина подождать и решил сбежать к должникам.

Старика Азимова он не застал дома. Не застал и Хайдара. У Мелика денег не оказалось. Свадьба дочери выпотрошила его вконец. Он твердо обещал вернуть деньги через месяц. Возвращаясь, Давлят зашел еще к двум-трем зажиточным дехканам и попробовал попросить взаймы, но все в один голос ссылались на тяжелые времена и божились, что нет у них за душой ни одного червонца. Подходя уже к дому, Давлят вспомнил, что в колхозной кассе лежит сто двадцать червонцев (...если бы взять оттуда пятьдесят, через месяц можно бы было их вернуть...), - но тогда же отогнал от себя опасную мысль. Дехканин, ожидавшийся у входа в хону, вертел в руках новенькое ружье. Давлят хотел уже сказать, что ружья он, к сожалению, купить не может, но тут же подумал: ведь по колхозу никаких расходов в ближайший месяц не предполагается... если поторопить должников, смогут, пожалуй, вернуть и раньше. Он попросил дехканина подождать, зашел в хону, достал из потайного места кассу, отсчитал пятьдесят червонцев, прибавил к ним двадцать своих, вынес деньги дехканину и с колотящимся сердцем взял ружье.

Два дня спустя, вечером, Давлят сидел у себя и любовно разбирал новую

двустволку, когда к нему в хону зашли Шохобдин Касымов и Ниаз Хассанов. Давлят с удивлением отложил ружье и спросил гостей о цели их визита. Гости ответили, что зашли просто так, потолковать. Ниаз длинно и витиевато заговорил о преимуществах колхоза, о том, как все дехкане убедились воочию, что другой жизни, кроме колхозной, для них нет; как все было плохо при старом председателе, Рахимшахе, и как пошло все хорошо со времени назначения нового: нет больше того, чтобы один работал, а другой лежал вверх живогом, всему свое место и свой учет. Все сознательные дехкане, молодые и старики, очень довольны новым председателем.

Давлят слушал, пытаясь сообразить, к чему гнет собеседник.

Тогда заговорил Шохобдин: есть злые люди, которых колет в глаза рост колхоза и которые хотели бы сделать так, чтобы все стало опять по-старому. Потому они хотят выжить нового председателя, очернив его перед властями. Вот эти злые люди, нимало не сумняшись, донесли в ревизионную комиссию и в район, якобы с кассой колхоза не все благополучно. Ревизионная комиссия завтра собирается проверить кассу и ждет инспектора из района.

Тут Шохобдин, заметив, как губы Давлята побледнели, сделал паузу, долго искал за поясом тыковку с насом, сыпал на ладонь, угощал Ниаза и, только спрятав табакерку обратно за пояс, заговорил опять:

Старики, обсудив дело между собой, пришли к заключению, что лучшего председателя колхоза не найти и что давать Давлята в обиду не следует. С каждым может случиться несчастье. Потому пусть Давлят скажет, сколько не хватает в колхозной кассе, а старики постараются, чтобы к приезду районного инспектора все было в порядке.

Выпытав у Давлята после долгих отмачиваний, что не хватает пятидесяти червонцев, Шохобдин опечалился: такую большую сумму очень трудно будет собрать. Но есть и другая возможность. К Махмуду Ходжиярову приехал его родственник Иса. У того наверное

есть деньги, и, если старики поручатся, Иса не откажет. Нужно торопиться. В случае, если бы не вышло с Ходжияровым, может, удастся придумать другой выход.

Шохобдин и Ниаз ушли, а Давлят долго сидел бледный, пощипывая бороду, и с бессильной ненавистью глядел на выхолненное ружье.

Шохобдин вернулся поздно вечером. Иса, под поручительство его и Ниаса, деньги дал. Спрашивает, когда Давлят сможет возвратить, и просит расписку, не потому, чтобы не доверял председателю или ручательству Шохобдина, а просто так, для порядка, как установлено по шариату. Давлят дал расписку, обзавясь вернуть деньги через месяц. Шохобдин на этом же клочке бумаги поставил внизу свою подпись и, пожелав председателю оставаться с миром, быстро ушел.

Явившаяся на следующий день инспекция из района, проверив вместе с ревизионной комиссией кассу и дела, нашла все в полнейшем порядке.

За несколько дней до истечения срока, обозначенного в расписке, Давлят обошел своих должников на предмет получения денег. Все ссылались на материальные затруднения и в ближайшее время вернуть деньги отказались. Убедившись, что ничего не добьется, он пошел разыскивать Шохобдина. Давлят сказал ему, не глядя в глаза, что денег Ходжиярову к сроку вернуть не сумеет, и просил помочь продать новую двустоволку: если бы найти покупателя, за нее с закрытыми глазами можно выручить пятьсот рублей. Шохобдин заверил, что Ходжияров подождет (Иса не такой человек, чтобы из-за денег доставлял людям неприятности), а продавать за бесценок хорошую вещь никогда не следует. Дружеские заверения Шохобдина несколько успокоили Давлята. Очень уж жалко было ему расставаться с ружьем.

Через несколько дней Шохобдин навестил Давлята, на этот раз в сопровождении Махмуда Ходжиярова и незнакомого кривоглазого дехканина. Узнав, что это и есть родственник Ходжиярова, Иса, Давлят смущенно заговорил

было о деньгах, но кривой Иса не дал ему окончить. Великое ли дело деньги? Не должен ли каждый дехканин помогать в нужде другому дехканину? И не затем ли советская власть создает колхозы, чтобы научить дехкан помогать друг другу во всем?

Тогда слово взял Шохобдин и сказал, что Иса очень хотел бы записаться в колхоз. Жить он будет в одной хоне с Махмудом, а рабочих рук в колхозе нехватка. Весь вопрос в том, как это дело оформить. Никаких бумаг у Исы нет. Дехканствовал он до сих пор в Афганистане, а когда там содрали с него последнюю рубашку, бежал на советскую сторону. Если проводить все это дело через район, будет долгая канитель, станут проверять, что и как, спрашивать, почему не заявился на пограничную заставу. А где ж ему было искать заставу, когда переправлялся он ночью и не встретил по дороге ни одного пограничника? Пока проверят все, что надо, пройдет не менее полугодя, будут только мытарить человека, а, чего доброго, могут и арестовать до выяснения. Так вот, у Ходжиярова, который знает Ису с малых лет, есть к председателю просьба. Был у Махмуда брат в Матче и звали его тоже Иса. Брат умер, а документы его остались. Почему бы этими документами не воспользоваться Исе? Зачем говорить в районе, что он приехал из Афганистана, и подымать из-за этого шум? Можно просто сказать, что брат Ходжиярова приехал из Матчи и хочет записаться в колхоз. Никакого подлога в этом не будет: звать его действительно Иса, а что родной брат, что двоюродный, — какая разница советской власти?

Давлят озабоченно теребил бороду. Он пробовал возразить, что принимать в колхоз нового человека с чужими документами — очень большая ответственность. Не проще ли рассказать в районе все, как есть? Он, Давлят, сам берется хлопотать, чтобы дело Исы выяснили поскорее и определили Ису именно в этот колхоз. Но Шохобдин заверил: канители будет на полгода, а то и на год. Ведь, если бы Махмуд был нечестный человек, он пришел бы и сказал: «Вот

это—мой брат, а вот—его документы». Разве Давлят мог бы проверить, что это не так? Но Иса — честный человек, и он не захотел так поступать. Он сказал: «Давайте пойдем к председателю и расскажем ему обо всем. Зачем дехканину обманывать дехканина? Если мы скажем председателю правду, он наверное нам поможет, — он будет знать, что имеет дело с честными людьми. Дехканин дехканину всегда должен помогать в затруднении. Разве он может быть уверен, что и ему не случится побывать в беде?»

Давлят не нашелся, что ответить. Он сказал, что должен подумать, и просил оставить ему бумаги Исы Ходжиярова...

К концу месяца общее собрание приняло матчинского дехканина Ису Ходжиярова, брата Махмуда, в члены колхоза «Красный Октябрь».

... Вернуть Исе денег Давлят так и не смог.

В течение следующего года в жизни Давлята произошла одна значительная перемена. Он взял в дом жену. Случилось это для него самого несколько неожиданно. Как-то в разговоре Шохобдин, ставший частым гостем в доме Давлята, выразил свое удивление по поводу неустроенности домашнего хозяйства председателя. Почему бы ему, собственно говоря, не жениться? Давлят сказал, что жениться он непрочь, да все нехватает времени подыскать невесту. Шохобдин тут же предложил ему в жены свою дочь, Ширин. Давлят знал, что у Шохобдина есть сыновья, но о существовании дочери слышал впервые. Оказалось, дочь Шохобдина живет не здесь, а в Арале. По старому обычаю, девяти лет отдали ее замуж, тринадцати лет она овдовела и осталась жить у родственников мужа. Теперь ей двадцать три года, и другой такой красавицы нет во всей округе.

Женой Давлят остался доволен. Поставлять молодожена в некоторые детали прошлого его супруги Шохобдин не считал нужным. Так например он не сказал, что предшественником Давлята в постели Ширин был не кто иной, как сам гиссарский бек. Шохобдин знал, что

Давлят все равно не сумеет по достоинству оценить этой чести...

Жизнь в колхозе текла своим чередом. Урожай в этом году выдался неплохой, и благодаря хорошей организации уборки «Красный Октябрь» должен был, первый в районе, явиться со своим хлебом на ссыпной пункт в Курган-Тепе. Давляту очень хотелось вывести колхоз на первое место, и работал он не покладая рук. Через четыре дня он назначил выезд красным обозом в район.

В этот день приехал к Шохобдину родственник из Арала и в числе прочих новостей рассказал, что в аральских тугаях появился барс. Вчера разордал корову. Люди боятся убирать хлеб на полях, смежных с тугаями, а ни у кого в Арале нет приличного ружья, чтобы можно было без опаски пойти на такого зверя.

У Давлята покраснели уши, — это случилось с ним всегда от большого волнения. Дехканин уверял, что в последний раз видели барса неподалеку отсюда, часа за три езды верхом. Выехав ночью, можно было подстеречь барса на рассвете у водопоя и к полудню завтрашнего дня вернуться обратно. Давлят пошел седлать коня. Он забежал по дороге к своему заместителю, Ниазу, попросил присмотреть за уборкой и обещал вернуться самое позднее к завтрашнему вечеру.

Не вернулся Давлят ни завтра, ни послезавтра, а лишь в ночь на третий день, исцарапанный и злой. Никакого барса он не встретил, даром только проваландался по тугаям. Приехав домой, он завалился спать и спал бы наверное до полудня, если бы не разбудил его ранехонько Шохобдин. Узнал Давлят от Шохобдина, что в предыдущую ночь неведомые люди забрались в амбар и вытащили оттуда весь хлеб, засыпанный для сдачи государству.

Давлят сорвался с постели, с глазами, налитыми кровью, и сграбастал тесьму за халат.

— Ты, старый хрен, эти штучки брось! Куда хлеб девали? Говори толком!

Заступившаяся за папашу Ширин кубарем отлетела в угол.

— Чего шумишь? Председатель колхоза, а на старика руку поднимаешь! Ай, яй! Разве советская власть разрешает бить дехкан? — обиженно отряхивался Шохобдин. — Я-то тут при чем? Что я — кладовщик или сторож?

— А кто, если не ты, Ису в кладовщики предлагал и в колхоз проводил? Небось, твой выкормок!

— Ты, Давлят, не шуми! На дворе слышно. Разве я — председатель колхоза? Ису в колхоз проводил ты, а не я. А в кладовщики провело его общее собрание.

— Хорошо! — сказал, одеваясь, Давлят. — Хорошо! Я его проводил, я его и под суд отдам!

— Не торопись, Давлят. Не торопись! Сначала думай, а потом делай. При чем тут Иса? Разве был у нас когда-нибудь такой случай? Сам знаешь, сторожа мы никогда не ставили: красть у нас некому. Откуда Иса мог предвидеть, что случится такое несчастье?

— Мог или не мог, это уж разберутся!

— Зачем неумные слова говоришь? Если начнут разбираться и откопают, что у Исы бумаги не в порядке, кто за это отвечать будет? Ты будешь отвечать! А если у Исы найдут расписку, что ты у него деньги брал, и высчитают, что это было накануне ревизии, — как ты думаешь, хорошо это будет?

— А мне уже все равно, за что под суд итти: за дело с Исой или за расхищение хлеба. Мне терять нечего.

— Как это умный человек может говорить такие глупости? Разве из каждого положения, если подумать, не найдется выхода? Ты только скажи себе раз и навсегда, что Иса тут не при чем и запутывать его в это дело не надо.

— Что это ты так за Ису беспокоишься? Что он тебе, брат или сват?

— Я не за Ису, а за тебя беспокоюсь, — как бы для тебя хуже не вышло.

— Если Иса не при чем, тогда кто?

— Вот это другой вопрос. Я думаю так: дехкане недовольны, что хлеб надо сдавать в район. Несколько человек взяли и сговорились: пока хлеба не отвезли, давай ночью возьмем его и спрячем.

— Я сейчас созову общее собрание.

— А это зачем? Чгобы разгребить на весь район? Кишлак ничего не знает. Из всего правления знаю только я и Иса. Мы, когда спохватились, что хлеба нет, решили не разглашать, попытаться сначала, кто.

— Ну?

— Я думаю, тут не без Юсуфа.

— Это дело ты брось! Юсуф хлеба красть не будет.

— В общем мы тут кое на кого думаем. Надо к ним пойти и поговорить. Они вернут.

— Давай пойдем.

— Подожди, тебе ходить не надо. Ты — человек в кишлаке пришлый, тебя не послушают. Пойду я с Ниазом. А ты пока подожди и шума не подымай. Нашумишь, хуже будет — не вернут. Делай вид, будто ни о чем не знаешь. Твое дело, чтобы хлеб был в амбаре, а, как он туда попадет, тебя не касается.

— Ну, иди, старик, — сказал уже мягко Давлят. — Выручай. Меня посадят, и вам плохо будет... Ты на меня не сердись, что я тебя немножко того... Сам понимаешь...

Ночью Шохобдин вернулся с обхода и устало опустился на палас.

— Ну, как? Вернули? — кинулся к нему Давлят.

— Вернули. Сорок мешков.

— Как сорок? Это ведь даже не половина!

— Нет, это — как-раз половина.

— А что мне от этого, легче?

— Лучше половина, чем ничего.

— Ты, старик, дураком не прикидывайся! Где остальной хлеб?

— Скажи спасибо, что столько отобрали. Весь день на ногах, намаялись, у меня язык распух от уговоров.

— Я тебя спрашиваю, где остальной хлеб?

— А я откуда знаю? Больше, говорят, не брали.

— Что ж ты, старик, меня погубить хочешь?

— Без меня и без Ниаза тебе бы и этих сорока мешков не вернуть, а ты вместо того, чтобы поблагодарить, еще недоволен.

— Мне что половину сдавать, что ничего... Завтра поеду в район и доложу обо всем. Приедут с милицией, не бойся, разыщут все, до одного зернышка.

— Ничего не разыщут. Если я с Ниазом не нашел, никто не найдет. Мы тут каждую дыру знаем. Уедут ни с чем. А тебя заберут. Спросят: где был председатель, когда хлеб колхозный расхищали? Что им скажешь?

— Сдам половину, все равно заберут и меня, и Ису, и еще кое-кого. Что я им скажу? Куда остальной хлеб девался? Знают, что урожай был хороший.

— Разные несчастья бывают. Мало ли злых людей на свете? В прошлом году в колхозе «Гулистан» злые люди облили бензином весь хлеб и подожгли. Все сгорело.

— У нас ничего не горело. Все знают.

— Не горело, может еще загореться.

— Что-о?

— Говорю, всегда так бывает: не горит, не горит, а потом вдруг загорается. Все во власти всевышнего.

— Ты меня что, на поджог уговариваешь?

— Боже упаси! Кто это сказал? Я только говорю: раз все равно хлебу пропадать и тебе отчитываться в расхищении, лучше бы уж было, если бы хлеб сгорел. Тогда ни председатель не виноват, ни кладовщик не виноват. Несчастье в каждом колхозе может случиться.

— Что ты мне сказки рассказываешь!

— Вот, скажем, перетащили мы сегодня с Ниазом в амбар сорок мешков, а они возьми да ночью загорись. Если заметить огонь во-время, мешков тридцать всегда можно спасти. А кто бы тогда мог знать, сколько сгорело? Был ли в амбаре весь хлеб или не весь? Никто бы не мог знать. Район был бы рад, что хоть столько спасли. Разве человек застрахован от пожара? Сдали бы мы по осени хлопок, полную норму, и не было бы на наш колхоз никакого поклепа.

— Ты меня, старик, не накручивай! Я поджигать не пойду!

— Разве я тебя посылаю поджигать? Так просто говорю... И забот бы не

было никаких, и район был бы доволен. Правду говорю?

— Может быть. Только хлеб сам не загорается.

— Почему сам? Злые люди всегда найдутся... Ну, я устал, пойду спать. Если что, ты не спи: время такое — завтра хлеб в район везти надо. А потом, случится что-нибудь, кто в ответе? Председатель.

Утром милиция, вызванная срочно в колхоз «Красный Октябрь», констатировала поджог колхозного амбара. Благодаря отчаянной отваге председателя, несколько раз кидавшегося в пламя, удалось спасти всего тридцать два мешка. Во время допроса дехкан выяснилось, что двое — Мелик Абдукадыров и Ниаз Хассанов — видели ночью крутившегося около амбара Юсуфа Абдулаева. При обыске в доме Юсуфа милиция обнаружила в яме под дувалом спрятанный бидон из-под горючего. Бидон пах еще бензином. Давлят, допрашиваемый следователем, категорически отверг возможность поджога Юсуфом. Однако все улики говорили другое.

Когда следствие закончилось и Юсуфа увели милиционеры, Давлять сделалось дурно. Спасая зерно, он получил сильные ожоги и с момента пожара держался на ногах. Следователь обещал прислать самоотверженному председателю врача и хлопотать о награждении премией.

К концу месяца в Курган-Тепе судили поджигателя Юсуфа. Принимая во внимание его бедняцкое происхождение, суд приговорил Юсуфа к четырем годам.

Зима в этом году выдалась снежная, ледяная. Благочестивые люди говорили, что так уже теперь будет всегда, пока большевикам не придет каюк. Бог не хочет допустить осуществления их помыслов — отвести все поля под хлопок — и холодом, дождем и градом уничтожит его семена. Посевной клин хлопка, по плановым заданиям, должен был в этом году увеличиться почти вдвое.

Шохобдин не уставал доказывать дехканам пагубность такого мероприятия. Работа подвигалась туго. Дехкане, охотно поддакивавшие нареканиям на невыгодность хлопка и нехватку промтоваров, сматывали удочки при одном звуке имени Ибраима. Ибраим торопил, слал гонца за гонцом. Гонцы говорили, что откладывать выступления дольше нельзя: еще год, и расплзется все басмаческое войско. Много курбашей разбрелось уже по горам и занялось мелким грабежом. Большая держава, финансирувавшая в эти годы Ибраима, заявила, что больше не даст ни гроша, если весной Ибраим не переправится на советскую территорию. Получив в сотый раз стереотипный рапорт: «Еще не готово», Ибраим пришел в ярость. Он велел передать ишану Халику и другим, что, если до сих пор ничего не готово, тем хуже для них. Было время подготовить. Достаточно долго его водили за нос. Этой весной, так или иначе, он перейдет Пяндж.

Известие о переходе Ибраима, хотя предупреждал он о нем с осени, все же пришло неожиданно. В день, назначенный Шохобдиным для выступления сколоченного им отряда, большинство заговорщиков просто не явилось. Пришла уже весть о разгроме главных банд Ибраима и о сдаче его виднейших курбашей. Выступать с пятью человеками не имело никакого смысла. Шохобдин закопал вырытую из ямы винтовку и решил ждать.

Наплывали слухи о возникновении все новых отрядов краснопалочников. Дехкане окрестных кишлаков шли облавами в горы вылавливать басмачей. Давлят, не посвященный в воинственные замыслы тестя, организовал в колхозе краснопалочную дружину. Видя неудачу Ибраимовой затеи и предусмотрительно думая о будущем, пошел в краснопалочники и Шохобдин. Воевать впрочем ему не пришлось. Вскоре грянула весть о поимке самого Ибраима, настигнутого у переправы через Кафирниган краснопалочниками Каса-Булатского района. Песенка Ибраима была спета. Деморализованные джигиты пачками сдавались в плен, вручая победи-

телям вместо шпага новенькие английские винтовки.

Ишан Халик, он же Иса Ходжияров, исчез из кишлака при первом известии о приходе Ибраима. Долгое время Шохобдин не имел от него никаких вестей, думал уже, что ишан погиб или ушел обратно в Афганистан. Вернулся Иса уже после поимки Ибраима. Говорил, что служил проводником в доброотряде и басмачи ранили его в ногу. Рану свою старательно скрывал и предпочитал никому не показываться, пока Шохобдин через Давлята не выхлопотал для него в районе грамоты палочника. Вылечив ногу, Иса определился на работу на строительство. Зачем это понадобилось ишану, Шохобдин никак не мог понять, но не считал нужным проявлять в этом вопросе любопытство.

Из соседних кишлаков доходили тревожные слухи. Арестованные курбаши счеvidно разболтали о своих местных связях. Каждый день приносил известие об аресте того или иного почтенного бая. То в том, то в другом кишлаке неожиданно появлялись аскеры из ГПУ и уводили с собой сподвижников Ибраима. Шохобдин в это тревожное время исхудал и постарел. Обрывая разговор, он часто оглядывался на прорез двери: ему мерещились зеленые фуражки, но это была лишь листва растущего перед домом ореха. Только поздно осенью вместе с желтизной листьев на деревьях вернулось к Шохобдину прежнее спокойствие.

Год выдался тяжелый. Равномерно с ростом колхозного клина шло по всей окрестности разорение и ликвидация почтенных мусульман. Многие родственники Шохобдина, еще недавно спокойно ходившие в середняках, ни за что, ни про что исключались из колхозов и выселялись с семьями в неизвестные края. Делало это теперь не ГПУ. Голосовали за высылку их же односельчане. Присутствуя на колхозных собраниях, Шохобдин не раз из-под полузакрытых век обводил глазами хорошо знакомые лица. После устранения Юсуфа он не был уверен, с чьей стороны надо ожидать удара.

Ишан Халик, работая попрежнему на строительстве, ухитрился быть одновре-

менно везде. Умел мудрым словом укрепить слабых, убедить колеблющихся, подсказать недогадливым, найти применение жадующим немедленного действия. В самую трудную минуту, как назло, у ишана вышла на строительстве какая-то неувязка с американским инженером. Исе Ходжиярову пришлось бесследно исчезнуть и со строительства, и из колхоза. Неувязка, как выяснилось впоследствии, вышла крупная. И районные власти, и ГПУ вдруг сугубо заинтересовались личностью дехканина Исы Ходжиярова и неизвестными путями докопались до его настоящего имени. Давлята вызывали в район. Приехал он оттуда пришибленный и мрачный. На все вопросы Шохобдина ответил только одно: с председательства снимут его наверное, и лучше ему сознаться во всем сейчас, не дожидаясь поимки Исы. Шохобдин подумал, что с этим мямлей рано или поздно пропадешь. Он долго убеждал Давлята, что Иса уже в Афганистане и поймать его никак не могут.

Из района приехали секретарь и уполномоченный ОГПУ и, созвав общее собрание, провели выборы нового правления. После их отъезда Шохобдин окольной дорогой пробрался в дом Мелика. Укрывавшийся там ишан велел ему собрать сегодня у Мелика вполне проверенных дехкан.

Когда все уже собрались, Мелик вышел на женскую половину, позвать Ису.

— Уехали? — спросил ишан, здороваясь с гостями за руку.

— Уехали, — кивнул головой Шохобдин. — Чтоб их кони ноги поломали!

— Ну?

Шохобдин вкратце изложил ход собрания. Ишан слушал, не перебивая.

— Хайдар — это хорошо. Вдова Зумрат — тоже неплохо, — мужчины ее слушать не будут. А Шохобдина за чем провалили?

— Нельзя было иначе, — вмешался Шохобдин. — Уполномоченный настаивал. Хотели все правление менять. Кого можно было, того отстояли. На мое место провели Хайдара. Новое правле-

ние — не хуже старого. А что Хайдар, что я — это одно.

Ходжияров обвел глазом присутствующих:

— Поговорим о будущем. Как действовать, что предпринимать. Оставаться мне здесь дольше нельзя. Собаки кругом рыщут, землю нюхают. На вас могу навлечь подозрение. Ни к чему это. Сегодня-завтра уеду готовить мусульман по ту сторону Пянджа. Когда запоет первая пуля, прискачем к вам на выручку. Помните: к весеннему поливу землю готовят с осени. Не давайте вносить раздора между верующими. Напоминайте каждый день слова пророка: «Крепко держитесь за вервь божию и не разделяйтесь!» Недовольство кругом большое, умеете использовать каждую негласную жалобу. Сколько мусульманских семей, лишив их крова, угнали опять в этом году в неизвестные края! Нет такого кишлака, где бы не было обиженных. Говорите верующим: вот будет большая война, все нации сговорились против русских, а ведут эти нации англичане. Весной придут к первому поливу и с теми, кто будет стоять за советскую власть, очень нехорошо обойдутся. Бросайте зерно и будьте осторожны, чтобы не дало оно всхода раньше времени.

Он закашлялся, вытер бороду и, высыпав на ладонь щепотку наса, кинул ее в рот.

Все помолчали. Тогда, отпив глоток, заговорил Шохобдин:

— Народ много недоволен хлопком. В Джиликуле не осталось баранов: мясозаготовки с'ели. Мануфактуры нет. Чаю нет. Хлеба мало. Риса и вкус забыли. Все пойдут.

— Кто пойдет?

Из опрокинутой пнялы плоская струя поползла по паласу. Удивленные, оглянулись: Хайдар?

— Никто не пойдет! Мануфактуры нет? Из-за мануфактуры басмачить пойдут? Зачем неправду говоришь, Шохобдин? Или не помнишь прошлогоднего налета? Кто пошел? По-одному из кишлака не пошли! Сами дехкане их выловили! Короткая память у тебя, Шохобдин, и у тебя, Иса. Дурное дело

затеваете. Сами головы положите и других понапрасну погубите. Ты, Иса, в Афганистан уйдешь, а мы куда? Были мы в Афганистане. Чего мы там забыли? С голоду дохли. Приехали сюда, землю целовали. Начали жить по-человечески, — опять бросай все и уходи! Зачем? Кто за тобой пойдет? Народ устал от басмачества. Шохобдин пойдет, Ниаз пойдет, а больше никто. Я первый не пойду!

— Не пойдешь? — как птица, повернул голову Шохобдин.

— Ты мне не грозь, не грозь! Я не боюсь! Вы не видали, а я видал: по воздуху несется, как аист, тучи крыльями разгоняет. Не успеешь три раза прочесть Суру, — из Сталинабада в свой кишлак прилетишь. Над горами летит, горы сверху, как складки на одеяле, каждую тропинку видно.

— Молчал, молчал, а вот и запел. Хорошо, хоть чужих нет, — оскалил зубы в невеселой улыбке Мелик Абдукадыров.

— Самолета испугался! — сурово перебил ишан. — Саблю выбивают саблём, против самолета есть самолет. Английские самолеты лучше советских.

— Каждый год, как к нам басмачи из Афганистана собираются, говорят, что за ними англичане идут. Не видали мы что-то этих англичан. Все больше народ по кишлакам собираете. Если с вами англичане, зачем вам дехкан угваривать? Пусть англичане и дерутся! А я вам говорю, хоть бы все англичане и все афганцы, и какие ни есть другие нации против советской власти пошли, ничего у них не выйдет!

— Не трепи языком, Хайдар, стариков постыдись! — злобно перебил Шохобдин. — Кого страхами запугать хочешь? Шкуру сдирают, последнего барана отберут, батраков колхозных из нас сделали, а ты — рот разинь и на советскую власть удивляйся.

— Я у тебя, Шохобдин, пятнадцать лет батрачил, побатрачу и в колхозе. А с тобой не пойду.

Шохобдин смял в пальцах желтый лоскут бороды:

— Совестно тебе, Хайдар, меня, старика, позорить. Людей постыдись! Как

сына родного, пригрел, Мелик тебе дочь в жены без калыма отдал, — я ручался. Жил ты до сих пор моим умом и хозяйство нажил, и почет в кишлаке приобрел. Теперь в благодарность против меня идешь? Своим умом жить задумал, а ум у тебя — дурак. Паршивую овцу от стада отделяют, чтобы других не заразила. Так и тебя. Пойдут дожди, места себе в алау-хоне не ищи. И жена от тебя уйдет.

— Ты — моей жене не хозяин!

— Уйдет. К отцу вернется. Не хочешь жить по шарияту, силой ее по советским законам жить с собой не заставишь. Будешь шуметь, хуже будет. Молчал — и молчи. Анвар Махмудзода шумел в прошлом году, а поехал в Сталинабад, в лунную ночь в арыке утонул, говорят, пьяный свалился. Осенью земля скользкая... Со всяким может случиться...

Шохобдин встал и, распрощавшись с хозяевами, пошел к выходу. Немного переждав, один за другим разошлись остальные.

Мелик вышел во двор. В дверь ворвался ветер. Пламя в чароке взметнулось огненным кузнечиком, и косопалые тени шарахнулись вдоль стен. Ишан Халик сидел один на полу хоны, неподвижный, с закрытыми глазами, бормоча молитву. Он перебирал четки, как скряга отсчитывает медяки, определяя на ощупь их достоинство. Отсчитав последнюю, он поднялся, поправил женское платье и остановился у дверей, прислушиваясь к стуку копыт: во дворе седлали коня.

Отъезд ишана сильно затруднил дальнейшие действия Шохобдина. История с Хайдаром еще больше осложнила положение. Нужно было ввести Хайдара в оглобли, иначе размолвка с ним могла быть чревата очень плохими последствиями. Хайдар заупрямился, как осел, и оставался глух ко всяким убеждениям. Видя, что толку от него не добьется, Шохобдин попробовал воздействовать на Хайдара через его жсну, Шарофат. Мелик в отсутствие Хайдара сходил к дочери и имел с нею длинный

отцовский разговор. Вопреки ожиданиям, Шарофат заявила папаше, чтобы Хайдар ни в какие басмаческие дела не впутывал. Хочет сам лезть на рожон — скатертью дорога, а муж ее лезть в эти дела — не дурак. Хайдар рассказал ей обо всем, и, если Мелик с Шохобдиным не оставят их в покое, она сама пойдет и донесет на них в ГПУ. Мелик сказал дочери несколько неприятных слов и ушел ни с чем, трясаясь от возмущения: эта неблагодарная дура осмеливалась родному отцу угрожать доносом!

Шохобдин, узнав от Мелика содержание их разговора, сильно обеспокоился. «Если два дурака станут вместе думать, они могут выдумать такое, что никому от этого не поздоровится. К тому же двоих не спровадишь. Не счастье может случиться с одним человеком, но, когда оно случается сразу с двумя, тут уж всяких толков и подозрений не оберешься. Шохобдин поручил своему младшему сыну, Мумину, не спускать глаз с Хайдара и его жены и докладывать о каждом их шаге.

Месяца три прошло как будто без особых событий. Ни Хайдар, ни его жена за все это время никуда из кишлака не отлучались. Шохобдин в пылу своей опасной работы начал уже о них забывать, когда в один зимний день прибежал Мумин и сообщил, задыхаясь, что Хайдар ходил сегодня в Курган и крутился около ГПУ...

Случилось же это так:

Узнав от жены, что та пригрозила Мелику рассказать обо всем в ГПУ, Хайдар понял, что теперь ему уже не сдобровать. Знал он о Шохобдине слишком много и не мог утешаться надеждой, что после всего происшедшего Шохобдин оставит его в покое. Сидеть и ждать, когда Шохобдин, улучив подходящий случай, приведет в исполнение свою угрозу? Или сейчас же, не откладывая, итти и рассказать все уполномоченному ГПУ? Решившись донести, надо было распрощаться с кишлаком и больше не показываться в нем носа. Хайдар и Шарофат шли уже и на это, но жалко им было бросать хозяйство. Каждую ночь они баррикадировали дверь

и попеременно сторожили с топором. Хайдару почему-то казалось, что придут его резать именно ночью. Каждый вечер он решал завтра донести уже непременно и наутро опять раздумывал. Так промаялись они почти всю зиму. От бессонных ночей и от неустанный страха им стали мерещиться за каждым кустом поджидающие их топоры и обрезы. Жить так дольше становилось невыносимо. Оставалось либо лезть самому в петлю, либо немедленно бежать в ГПУ. Однажды, после известия которой бессонной ночи, Хайдар решил наконец, будь что будет, итти, кинуться к ногам уполномоченного, рассказать все по совести и просить взять их под свое покровительство.

Он пошел в Курган. Дождь хлестал ручьями, ноги, увязая в размякшей земле, обрастали пудовыми гириями. Подойдя к дому ГПУ, Хайдар хотел было юркнуть уже в ворота, когда, оглянувшись, увидел едущего верхом сына Шохобдина. У Хайдара отнялись ноги. Мумин, проезжая мимо, окликнул его: «Здравствуй, Хайдар! Гуляешь? Гуляй, гуляй, погода хорошая». Хайдар бросило в холодный пот. Он понял, что следивший за ним сын Шохобдина сейчас поедет и скажет отцу.

Хайдар так и не пошел в ГПУ. Он долго бродил по грязи, под хлещущим дождем, раздумывая, что ему делать. Он боялся вернуться в кишлак. Наконец он решил пойти прямо к Шохобдину, сказать, что в ГПУ он вовсе и не был, проходил только мимо, и поклясться на коране никогда ничего не рассказывать. Он шел быстро, разбалтывая ногами грязь, подгоняемый предчувствием беды. Недалеко за городом его обогнал Мумин, возвращавшийся галопом в кишлак. Пройдя километра два, Хайдар пустился бежать...

Услышав отчет сына, Шохобдин бросил еду и задворками поспешил к Мелику. Ошарашенный новостью, Мелик сидел, не в состоянии выговорить ни одного слова, и от страха позванивал зубами. Шохобдин знал, что в трудную минуту рассчитывать ему не на кого, и

не за советом шел к Мелику. Смотри со злобой на его прыгающую старческую челюсть, Шохобдин сказал:

— Когда против тебя говорит один человек, это меньше, чем когда против тебя говорят два человека. Ты не думаешь, Мелик?

Мелик звенел зубами. Шохобдин подумал, что с этим мешком трухи всякие подготовительные разговоры бесцельны. Он сказал строго:

— Если бы Хайдар, допустим, убил жену и потом, когда его возьмут, стал рассказывать разные сказки про других дехкан, как ты думаешь, ему поверили бы или нет? Я думаю, что ему бы не поверили. Умный начальник ГПУ сказал бы себе так: «Он рассказывает нам всякие бредни, чтобы увильнуть от расстрела». Потому что за убийство жены теперь расстреливают. Ты знаешь об этом, Мелик?

— А... а разве Хайдар у...убил жену? — обалдело пляя глаза, пролепетал Мелик.

Шохобдин взял его за плечи:

— Слушай, Мелик, слушай и запоминай: Хайдар всегда ссорился со своей женой. Жена хотела от него уйти. Хайдар грозил, что ее прирежет. Она приходила жаловаться к тебе, к отцу. Не звени зубами! Морду разобью! Понял? Сегодня, прибежав туда, ты видел Хайдара с ножом. Ты хотел его задержать, он замахнулся на тебя ножом и убежал. Понятно? Все понятно? А теперь сиди и жди, пока тебя не позовут. Воды холодной попей. Слышал? Воды попей! И когда позовут, ни о чем не спрашивай, беги.

Шохобдин торопливо вышел из хоны.

... Живущий рядом с Хайдаром Давлят, услышав крики в доме соседа, в первую минуту удивился. Хайдар никогда не бил жены, и жили они на редкость дружно. Давлят подумал, что вмешиваться в чужие семейные ссоры не следует, и решил как-нибудь при случае, с глазу на глаз, пристыдить Хайдара за сегодняшнюю домашнюю расправу. Однако вскоре крики стали такие раздирающие, что Давлят не выдержал и кинулся к дому Хайдара. На пороге

Хайдаровой хоны он столкнулся с выходящим оттуда Шохобдиным.

— Беги в сельсовет! Зови понятых! — закричал, увидя его, Шохобдин. — Хайдар жену зарезал!

Давлят оторопел.

— Зарезал жену? А где он? Там?

— Убежал. Туда, в поле... — махнул рукой Шохобдин.

— А почему у тебя весь халат в крови?

— Там все в крови. Хотел ее поддержать, перенести на кошму, а из нее кровь, как из зарезанного барана. Беги скорее к телефону, извести милицию! Я побегу предупредить Мелика! — он быстро исчез за углом.

Известие об убийстве Хайдаром жены быстро разнеслось по кишлаку. Перед домом Хайдара вскоре толпилась уже куча народа. Возвращавшегося из сельсовета Давлята встретил на дороге сын Шохобдина, Мумин, и попросил срочно зайти к отцу. В хоне Давлят застал одного Шохобдина. Тот успел уже переменить халат и, расхаживая по избе, расчесывал пальцами свежевывитую бороду. Завидя Давлята, он подошел его кивком:

— Ты видел Хайдара с ножом?

— Нет, откуда я мог его видеть? Ты же сам мне сказал, что он убежал.

— Это ничего... Я его видел, и Мелик видел.

— Как мог его видеть Мелик? Ведь ты пошел его известить уже после того, как я прибежал.

— Ты не мудри, Давлят, раз Мелик говорит, что видел, значит, видел. Будут спрашивать, ты тоже скажи, что видел.

— Скажу так, как было.

— За Хайдара хочешь заступаться?

— При чем тут заступаться?

— Если никто не видел, тогда какое же доказательство, что убил Хайдар, а не кто-нибудь другой?

— Но ведь ты же видел.

— Один человек видел, это мало. Хайдар наверное будет отпираться. Начнется разбирательство, будут меня таскать по следователям как единственного свидетеля. Знаешь сам, какая возня с судом. А так, если видели три

человека, все ясно, и беспокоить никого не будут. Что тебе, подтвердить трудно? Хочешь меня, старика, в это дело запутать?

— Зачем я буду врать?

— Прибеги ты на три минуты раньше, ты бы видел. Подумаешь, большой обман — три минуты! Я уже всем сказал, что ты видел. Будешь отнекиваться, меня запутаешь. Выйдет, я врал. Начнут допытывать: а почему, а зачем, — конца не будет. Мало ли я раз говорил неправду, чтобы тебя в ненужные дела не впутывать! Если ты такой правдолюбец, не надо было и тогда соглашаться...

С того дня, как увели Хайдара милиционеры, заглох о нем всякий слух. Говорили, что будут его судить показательным судом в кишлаке. Прошло три недели, а о выездной сессии все еще ничего не было слышно. Потом кто-то принес известие, что Хайдара уже судили на обыкновенном заседании в Курган-Тепе вместе с несколькими баями, обвиняемыми в убийстве уполномоченного РКИ, и приговорили к расстрелу. Приговор уже неделю тому назад приведен в исполнение.

Шохобдин все ждал неизбежных неприятностей, но никаких неприятностей как будто не предвиделось. Моментами он склонен был усматривать в этом опасный подвох.

Давлят после случая с Хайдаром запрямылся, и прибрать его к рукам становилось с каждым днем труднее. Последнее решение правления об отводе лучших земель под хлеб удалось провести лишь с боем, большинством одного голоса Кари Абдусаторова, обработанного предварительно Шохобдиным. Хорошо, что день окончательной развязки приближался и тянуть осталось уже недолго.

Гонцы ишана Халика принесли известие, что вооруженное наступление приурочено к первому поливу, точнее ко дню пуска воды в новый, большой канал. Ишан обещал перейти к этому времени Пяндж с двумя тысячами сабель, снести пограничные посты и двинуться вверх по руслу канала, разру-

шая по дороге новую оросительную сеть. Это должно было вызвать панику в переселенческих колхозах и привлечь их на сторону движения. На Шохобдина и связанных с ним окрестных вожаков возлагалась обязанность разрушить деревянные узлы в верхней части канала, занять городок первого участка и, разоружив охрану, двинуться с востока на Курган-Тепе. Ишан со своими джигитами обещал налететь с запада. Занятие районного центра должно было послужить сигналом к восстанию во всей округе. Ишан предостерегал от повторения Ибраимовых ошибок, запрещал уходить с отрядами в горы, приказывал занимать главные дороги и крупные кишлаки. Только смелые налеты и действия воткрытую могли внушить населению веру в силы нового басмаческого движения и перетянуть на его сторону колеблющихся.

Атмосфера в колхозе сгущалась день ото дня. Тюфяк Кари, напуганный оппозиционерами из правления, провалил план отведения лучших земель под хлеб. Давлят на своем председательском месте держался на волоске. Оппозиция подкапывалась под него систематически, явно гнула к перемене всего руководства и, баламутя народ, мобилизовала актив против Шохобдина и его людей. Катастрофа могла разразиться неожиданно и, распылив основные силы, расстроить организованное выступление.

Шохобдин в эти дни спал мало, опасаясь неожиданного удара в спину, расставлял по ночам дозоры и раньше, чем это предписывалось ишаном Халиком, приказал выкопать из ям и роздал оружие.

Наконец время, назначенное Халиком, пришло. Пуск воды в большой канал должен был состояться завтра. Ночью на обрызганном пеной коне в кишлак прискакал гонец. Не соблюдая обычных предосторожностей, он прошел прямо в хону к Шохобдину. Гонец пах конским потом и пылью. Из-под его халата вызывающе выпирала плохо спрятанная кобура маузера. Он с порога крикнул оторопевшему Шохобдину, что ишан Халик с джигитами перешел

Пяндж и приказал всем выступать, не дожидаясь рассвета. Передав распоряжение, он повернулся и прыгнул в темноту. Через минуту по ночной дороге зацокал его отрывистый галоп.

Шохобдин прочел ночной намаз и отправил обоих сыновей скликать соратников. Сборный пункт: через час на разезде троп, у большого карагача. Отправив сыновей, Шохобдин стал одеваться, натянул новые сапоги, надел новый ватный халат, перехватил его тугу платком. Раскрыл сундук, достал оттуда белую шелковую чалму, прикрывавшую спрятанные в сундуке два нагана, и в первый раз после многих лет начал старательно обматывать чалмой голову.

У входа слышались чьи-то шаги. Шохобдин быстро захлопнул сундук и пошел к двери. В дверях стоял Хайдар.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Товарищ Уртабаев! Вас тут спрашивают. Человек один. Говорит, приежжый.

— Сейчас поднимусь.

Уртабаев поставил ногу на ступеньку железной лестницы и еще раз окинул взглядом головное сооружение. Остатки опалубки сняты. Дугообразные щиты, похожие на гигантские забрала, поднимаются и опускаются без скрежета, сообразно поворотам штурвальных колес. Когда в пролеты между бетонной колоннадой хлынет вода, секторные щиты, падая вниз, как кривые лезвия гильотин, отрежут от реки горловину канала.

Уртабаев поднялся по лесенке наверх и полез на отвал. Бетонное сооружение высотой с шестиэтажный дом, втиснутое в устье канала и обрезанное вровень с берегами, казалось отсюда небольшой отточенной моделью. По плоской асфальтированной крыше, соединяющей мостом оба берега, ехала с той стороны канала вереница бричек, груженных всяким хламом: строительство прихорашивалось, свертывало ненужный инвентарь и, убирая строительный мусор, готовилось к приему гостей. Завтра должен

был состояться торжественный взрыв перемычки.

Уртабаев медленно сошел вниз. Он впервые с сожалением подумал, что это строительство, стоившее ему столько трудов, неприятностей и бессонных ночей, приходит к концу. Близость предстоящего расставания внезапно показалась горькой. Он подумал, что, кроме этой большой семьи, у него нет, как у других, ни любимой женщины, ни родных, никого, чья смерть способна была бы погрузить его в настоящее отчаяние. Со дня самоубийства Валентины он чувствовал себя иммунизированным от слишком сильной боли. То, что могло случиться, уже случилось. Сознание устойчивого спокойствия временами переходило в тоску. Он ощущал себя человеком, у которого оперативным путем устранили какую-то жизненно-необходимую железу. Чувство сожаления при мысли о скором расставании со строительством шелохнулось в нем рефлексом простой человеческой боли, неожиданное, как первый шаг выздоравливающего.

Он сошел вниз и отыскал глазами окликнувшего его прораба.

— Кто меня спрашивал?

— Вот этот старик в белой чалме. Говорит, специально приехал.

Уртабаев пошел навстречу седобородому старичку в выцветшем голубом халате и остановился, не веря глазам:

— Папашка!

Они обнялись, прижимаясь крепко щеками. Уртабаев ласково трепал старика по голубой спине.

— Живем, старина? Вот хорошо! Как это ты меня разыскал? Навестить решил на старости лет? Удачно выбрал время, прямо к празднику. Пойдем, угощу тебя чаем.

Он обнял, как сына, достающего ему ровно до подмышек старика и повел в городок.

В комнате Уртабаева стоял стол, два стула, кровать. Старик, неодобрительно оглядев с порога обстановку, приткнулся на полу у стены.

— Стульев не признаешь? — улыбнулся Уртабаев. — Какой был, такой и остался. Европейская цивилизация

о тебя зубы поломала. Ну что ж, так и быть, угощу тебя по-азиатски.

Он снял со стены коврик, расстелил на полу, принес чайник, две лепешки, немного сухого урюка и, присев на другом краю ковра, придвинул угощенье старику.

— На, пей! Чай зеленый. Давай и я с тобой выпью. С'естного у меня ничего нет. Есть, кажется, где-то колбаса, но свиная, все равно кушать не будешь. Принесу тебе потом обед из столовой. Ну, рассказывай: как живешь, как сюда попал?

Старик вытер руками бороду, отпил глоток и, отломив кусок лепешки, долго разжевывал его уцелевшими зубами.

— Помирать скоро буду, — сказал он наконец, проглотив мякиш. — Ездил перед смертью поклониться святым местам. На обратном пути заехал на сына поглядеть. Слыхал — ты большой человек, с начальниками живешь. Думаю: авось, отца-старика не прогонит.

— Все юродствуешь? Где ж это ты святые места поотыскивал? Разве еще остались? Небось, прокладывали новые дороги, все твои могилки утрамбовали.

— Много святых мазаров осквернили, — сокрушено покачал головой старик. — Место даже трудно найти. Был я около города Гиссара, мазару одному хотел поклониться. Очень святой мазар был. С землей сровняли. Юрт кругом поставили. Голые девки в куцах изорах¹⁾ и голые мужики, в святом месте развалившись, на солнце греются. Были бы одни русские, не такой срам перед богом, а то и мусульмане в кудых штанах ходят, обносят все, чем их бог одарил, девкам напоказ. Тыфу!

— Это ты верно в дом отдыха попал, — расхохотался Уртабаев. — Видишь, и святое место на что-нибудь пригодились: людям после работы отдых дает. А ты еще недоволен!

— Пошел я поклониться святой горе, — продолжал старик, пропуская мимо ушей непристойную реплику сына. — Добрые люди разыскать помогли, а то и места не узнать. Внизу машины на четырех лапах ходят, гору грызут, дымом

плюют, по-собачьему лают. Заплакал я горькими слезами, накрыл голову полой халата и убежал... Алла Акбар!

— Оказывается, ты и на нашем Ката-Таге успел уже побывать! Посмотреть на тебя, можно подумать, и километра не пройдешь, — хиленький стал. А тебя вон куда носит!

— Спрашиваю верующих людей: «Кому ж это мешал святой мазар на горе?» И говорят мне верующие: «Мусульманин один, Уртабаев Саид, родом из Чубека, машины сюда привел и велел им гору грызть. День и ночь грызут, а он стоит, руки в боки, папиросу курит да все приказывает, чтобы рыли поглубже». И спрашивают меня люди: «Ты, говоришь, странник, сам из Чубека? Должен его знать». А я отвернулся и солгал, — да простит меня всевышний! «Нет, — говорю, — не знал я в Чубеке такого мусульманина, который бы святые места осквернять не постыдился».

— Что же ты, папаша, приехал возвращать меня в мусульманскую веру? Брось ты это дело! Чайку лучше попей, остынет.

— Да... не думал я, что доживу до такого срама. Сколько труда стоило всей семье отправить тебя в Бухару, в медресе! Дядя твой на дорогу ни танги не дал, сказал: «Может пешком, добрые люди накормят». Все, что было дома, мы тебе в дорогу собрали. Думал, доживу: вернешься из Бухары благочестивым, ученым мусульманином, ишаном вернешься, семье почет принесешь... Помutil тебя дьявол. Бежал ты из медресе и дядю, и семью опозорил. На горе семье и односельчанам недоучкой вернулся. Недаром говорят у нас: «Из всех бед, которыми бог испытывает правоверных, хуже всего четыре беды — вошь, блоха, есаул да мулло-недоучка».

— Устарела твоя поговорка, папаша. Есаулов мы всех перестреляли, мулл больше не обучаем, вот разве вши и блохи у нас еще водятся. А уж если ты такой любитель пословиц, я тебе, папашка, скажу другую. Помнишь, дедушка всегда говорил про мулл: «Все муллы — это один человек, да и этот один — не мужчина, а баба». Как же это ты,

¹⁾ Шароварах.

верующий мусульманин, сына своего бабой хотел сделать? Ай, яй, яй!.. А вот еще есть и такая поговорка, тоже на верное знаешь: «Скот, который раз поспал в тени медресе, больше для работы не годится». Мое счастье, что убежал во-время, потому еще кое на что гожусь.

— Всегда был у тебя язык нечистый. В рубашке ты еще бегал, а уже матери сквернословил... Помню, приехал ты в Чубек представителем новой власти. Всякая власть от бога, иная в наказание за грехи наши. Весь кишлак думал: раз сын старого Уртабая в новой власти сидит, значит, бояться нам нечего, — есть у нас перед властью заступник, он нас в обиду не даст. Приехал ты в кишлак, на следующий день благочестивых мусульман имущества решил и отправил в далекие края, кишлак наш на весь вилайет опозорил.

— Ай, папашка, папашка! Бедняком ты всю жизнь прожил, а разговор у тебя кулацкий.

— Приехал я сюда посмотреть, как это сын мой в больших начальниках ходит. Слышу, жалобы кругом и плач правоверных. Дехкан, что у тебя тут работали и беспокоились о спасении души мусульманской, в ГПУ передал. Нет такого места, где бы имя твое не проклинали.

— Э, папашка, да я вижу, прежде, чем ко мне притти, ты уже со всей нашей местной контрой снюхаться успел. Быстро орудуешь. Смотри, у нас тут законы строгие! Возьмут за шиворот, я тебе тогда не заступник. Зачем же ты после этого ко мне приехал? Выкладывай уж прямо.

— Есть у нас такая сказка, старые люди рассказывают, а старым людям зачем врать? Одна цапля заболела тяжелой болезнью. А когда заболела, то посоветовали ей обратиться к табибу. Приходит она к табибу и говорит: «Заболела я, и очень мне дурно. Дай, табиб, какое-нибудь лекарство». Посмотрел табиб на цаплю и говорит: «Болезнь твоя тяжелая, но есть против нее одно верное средство: найди такой источник, куда ты ни разу не нагадила, выкупайся в этом источнике, и болезнь твою как

рукой снимет». Тогда цапля легла на землю, растопырила крылья и говорит: «Ой, пришла моя кончина. Умираю!» Удивился табиб: «Я же тебе дал верное средство. Почему собираешься умирать, а не идешь искать источника?» — «Ой, и не говори! — заплакала горько цапля. — Разве есть где-нибудь такой источник, куда бы я не нагадила?»

— Это ты про меня? — улыбнулся Уртабаев. — Сказка хорошая и кое к кому она, пожалуй, подходит, только не ко мне. Я здоров, болеть не собираюсь, а заболеть, все равно в ваш источник купаться не пойду.

— Ни один человек не знает, когда ждет его беда. А твоя беда близко.

— Раз ни один человек не знает, откуда же ты об этом знаешь?

— Бог многое открывает верующим, о чем неверные узнают только в час своей кончины.

— Что ты мне все смерть пророчишь? А еще папашка! Из нас двоих тебе скорее думать о смерти надо.

— Беда большая над этим местом повисла. Когда с горы падает камень, те, которым бог не помутил разума, обращаются в бегство. Вот и пришел тебе сказать: народ недоволен безбожной властью. Разве тебе самому в прошлом году не причинила она большой обиды? Верующие не отвернутся от тебя. Те, которые образумились и признали наши знамения, не будут обижены на толщу плевы на финиковой косточке.

— Ого! Какая ж это беда повисла над нашим строительством? Ты, папашка, выражайся яснее.

— Сказано в коране: «Вода его уйдет в землю, и тебе никак уже не сумеешь отыскать ее».

— Эти сказки мы слышали. Насчет воды, это уж наша, а не твоя специальность. О воде не беспокойся. Ты, мне думается, не с этим пришел. Раз уж решил меня образумить, выкладывай прямо. Чего же мне бояться?

— Знающие люди говорят: большое множество всадников перешло через Пяндж. Копытами их коней протоптаны новые межи на колхозных полях. В какой кишлак въезжает один всадник,

выезжает из него два всадника. В какой везжает их десять, выезжает двадцать. Завтра будут их тысячи. Все ваши машины побросают в Вахш. А неверные — гибель им! Дела их пропадут.

— Так... Помнишь, папашка, двадцать первый год, когда мы дрались с басмачами и басмачи окружили нас в Кулябе? Было нас тогда человек тридцать, а басмачей человек восемьсот. Ты пробрался тогда ко мне в крепость парламентом, сдать меня уговаривал. Что я тебе, папашка, ответил? Помнишь? Я тебе тогда сказал: «Садись, старик, вот тебе чайник. Кушать у нас нечего, но чаю еще немного осталось. Напрасно ты пришел ко мне послом от басмачей. Моему папашке это не пристало. Обрати к басмачам я тебя не пушу. Будем здесь умирать вместе. Я моложе тебя, и мне жизнь за советскую власть отдать не жалко, сделай уж одолжение и ты, не пожалей своей». Что я тогда сделал? Я тебя запер на замок, и ты просидел у нас в крепости две недели, до тех пор, пока не подоспели наши красноармейские части и не прогнали басмачей.

Старик поднялся с коврика и потихоньку попятился к двери.

— Нет, папашка, подожди! Ты же ко мне в гости пришел. Уходить так рано не годится.

Уртабаев подошел к двери, запер ее и ключ положил в карман.

— Сделай одолжение, погости у меня до окончания праздника. Чего ж ты поднялся? Садись, чайку попьем. Ну, давай, выкладывай: кто тебя сюда послал?

— Никто меня не посылал. Сам пришел. Образумить тебя хотел. А ты, как был шайтан, так и остался.

— Это ты брось! Слишком много что-то ты знаешь. В твои годы столько знать вредно. И про то, что меня здесь в прошлом году обидели, знаешь, и про басмачей... Ты, папашка, не финти. Рассказывай все по совести. Кому скажешь правду, как не родному сыну?

— Ничего я не знаю. Ездил помолиться к святым местам, на обратном пути к тебе заехал. Про басмачей люди

говорят. Сам не видел и знать не знаю. Дома мать ждет, и зятя ждут. Помидрат скоро буду. Надо перед смертью по хозяйству распорядиться. Грех большой на свою душу берешь.

— У меня, отец, грехов много, — одним больше, одним меньше, какая разница?

— Отца родного в ГПУ отдашь?

— Ты, папашка, ГПУ не бойся. Там такие же люди, как и я. Пока-что ты у меня в гостях. Будешь рассудителен, расскажешь все, о чем спрашиваю, — пловом тебя угощу и в Чубек отправлю. Денег на осла дам, пешком не пойдешь, — вот тебе моя рука! Раз торопишься, давай времени не терять. Я тебе помогу. Значит, басмачи перешли Пяндж и налет их приурочен к пуску воды? Так, что ли?

— Я басмачей не видел и, что они задумали, не знаю.

— Ты, папашка, дурака не валяй. Мне не скажешь, товарищам моим в ГПУ скажешь. Лучше тут, по-семейному. Вот, видишь, и чай остыл... Сколько ж их перешло?

— Не знаю.

— Сотня? Больше?

— Не знаю, не считал.

— Ну, а что говорят? Много?

— Разное говорят.

— А в каком месте перешли Пяндж?

— Не знаю.

— Э, папашка, что-то у нас с тобой разговор не клеится. Ладно, не знаешь — не знаешь. А кто ж тебе об этом говорил?

— Люди говорили.

— Что это за ответ: люди. Все мы — люди. Как звать этих людей?

— Не знаю.

— Как же не знаешь, если с тобой говорили?

— Мало ли людей встречает по дороге прохожий? Разве спрашиваешь у каждого, как его звать и откуда он родом?

— Та-ак... Значит, не скажешь? Что ж, тебе некогда, и мне некогда. Только домой ты, папашка, не пойдешь. Арестовать тебя придется. А я тебя пловом угостить хотел. И осла хорошего снарядить. Хороший осел всегда

в хозяйстве пригодится... Ну, как? Скажешь или нет?

— Что знал, сказал. Больше не знаю.

— И зачем это тебе, папашка, на старости лет в ГПУ побывать понадобилось? Убей меня, не пойму. Басмачей боишься, как бы тебя не пристукнули за то, что сказал? Что ты, папашка, маленький? Мало ты налетов на своем веку видел? Разве советская власть еще с одним налетом не справится? Эх, папашка, жил ты, жил, а ума не нажил. Думай, папаша, скорее: будешь говорить или не будешь?

— Что знал, сказал, больше не знаю.

— Тебе видней. Ну, я пойду. Ты, папашка, в окно вылезать не пробуй. Я сейчас сторожа поставлю. Ты тут в общем устраивайся и умом пошевеливай.

Уртабаев вышел из комнаты и старательно запер дверь на замок.

... Шохобдин Касымов, не веря глазам, смотрел в упор на стоявшего в дверях человека. Нет, он не ошибался, — это был Хайдар. Шохобдин на мгновение закрыл глаза и прочел в уме первые слова Суры. Подняв веки, он убедился, что человек в дверях не исчез.

— Здравствуй, Шохобдин! — заговорил Хайдар совсем не потусторонним голосом. — Чего ж так на меня смотришь? Не поздороваешься даже? Не рассчитывал встретить меня в живых? Видишь, живу. В гости к тебе пришел. Принимай гостя.

— Здравствуй, Хайдар, — невнятно пробормотал Шохобдин, медленно пятясь к сундуку.

Хайдар, заметив его движение, развязным шагом прошел через хону и присел на сундук.

— Ну, как твое здоровье, Шохобдин? Сыновья здоровы? Поздно они у тебя гуляют. Что ж ты стоишь? Садись. Или не ждал меня в гости? Рассказывай, как дела? Давно я вас всех не видел. Пришел, думаю: к кому же мне первому пойти, как не к моему свату? А ты вот встречаешь меня и в роде как не рад.

Шохобдин из-под прищуренных век тщательно обшарил глазами рваный халат Хайдара. Оружия у гостя как будто не было. Свалить Хайдара с сундука и достать наган? А вдруг у него в рукаве нож? Лучше подождать. Скоро должны вернуться сыновья. Тогда можно будет расправиться с этим пугалом быстро и без шума. Пока не подошли, надо занять его разговором.

— Ты правильно сделал, что зашел ко мне первому, — сказал Шохобдин, пристально следя за каждым движением Хайдара. — Если ты питаешь ко мне обиду, Хайдар, ты ошибаешься. Я давно хотел тебе об этом сказать. Если кто виноват в твоём несчастье, это не я, это — Мелик. Я его просил уговорить Шарофат, чтобы она объяснила тебе, что предавать старых друзей — последнее дело и правоверный мусульманин так не поступает. Разве я виноват, что так нехорошо случилось. У нас, у стариков, есть поговорка: «Вели дураку принести чалму, он тебе принесет ее вместе с головой». Если ты хочешь мстить, Хайдар, я не скажу «нет». Написано в коране: «Свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину». Если ты пойдешь и возьмешь голову Мелика, это — твое право.

— Значит, ты тут не при чем? — Хайдар искоса поглядел на Шохобдина.

— Клянусь тебе всевышним! Говорю, как было. Неужели ты мог подумать, что я способен так тебя обидеть! Или ты совсем уж забыл, Хайдар, сколько хорошего я для тебя сделал? Ты же знаешь, что я любил тебя всегда, как третьего сына.

— Я тоже так думаю.

Шохобдин бросил на Хайдара беглый взгляд. Издевается? Неожиданная мысль осенила его и обдала холодком. Не сошел ли Хайдар с ума? Может, потому его и выпустили? Шохобдин еще раз осторожно присмотрелся к ночному гостю.

— Ну, что ж, — поднялся с сундука Хайдар. — Собирайся, старик. Пойдешь со мной к Мелику.

— Что? — робея, переспросил Шохобдин. — К Мелику? А я зачем?

— Он тебе в глаза отпираться не посмеет.

— Погоди, Хайдар. Зачем мне, старику, смотреть на такое дело? Нехорошо ты задумал. Я тебе сказал, это — твое право. Но зачем мне туда ходить? Иди один.

— Нет, сват, пойдем вместе. Вместе мы с тобой ходили к Мелику, договариваться насчет свадьбы, давай уж и насчет похорон договоримся.

У Шохобдина неприятно отяжелели ноги. Он прикинул расстояние, отделяющее от сундука, — сбить с ног Хайдара и выхватить наган? — когда вдруг у входа внятно послышались шаги. Кто-то споткнулся в темноте, звякнуло оружие. «Наконец!» — с облегчением выпрямился Шохобдин.

— Что ж, хочешь, пойдем, — согласился он, как будто после минутного раздумья. Он уступил в дверях дорогу Хайдару.

— Нет уж, сват, не обидьте, — посторонился Хайдар.

— Проходи, проходи! — подтолкнул его под локоть Шохобдин. — Какие уж тут церемонии между своими?

Хайдар настойчиво сторонился. Шохобдин боком, оглядываясь с опаской, прошел в дверь. Сделав несколько шагов, он зажмурил глаза, ослепленные светом фонаря.

— Черти! Зачем свет?.. — он не закончил, разглядев с удивлением лицо вооруженного дехканина, державшего фонарь. Это был Рахимшах Олимов.

— Мумин! Абдула! Ко мне! — крикнул в темноту Шохобдин.

Вооруженные люди окружили его плотным кольцом.

— А я уж думал, не придете — нет вас и нет, — раздался за спиной Шохобдина насмешливый голос Хайдара. — Уж мне ему зубы заговаривать надоело. Думаю: будь, что будет, выведу его один...

— Мумин! Ниаз! — закричал Шохобдин. Он все еще надеялся, что кто-нибудь поблизости должен же услышать его крик.

— Не шуми, Шохобдин, не шуми! — добродушно успокаивал Хаким. — Все здесь. И Ниаз, и Мумин, и твой Дав-

лят. Со всеми повидеешься. А ну, у кого там веревка? Отпусти вольно руки. Будешь упираться, зря мозоли натрешь.

День поднялся, заспанный и желтый, разбуженный раньше обычного нестройным стуком молотков над городком первого участка. В городке спешно приколачивали красные полотнища, обтягивали материей горбатые скелеты арок. Лозунги были на пяти языках. Сталинабад извещал, что выехавшие для участия в торжественном пуске наркомзема Союза и председатель союзного Госплана везут с собой кучу иностранных гостей — инженеров и журналистов. Предупреждали, что гости во избежание жары выедут из Сталинабада до рассвета, и советовали приготовить помещение ориентировочно человек на сто.

Морозов в эту ночь спать не ложился, лично руководя приготовлениями. Трехнедельная задержка с окончанием работ, вызванная обвалом на скале и неожиданным открытием пльвуна, не оставила времени для предварительной замочки канала и вынудила управление сочетать официальный пуск воды со взрывом перемычки. Известие о приезде большого числа иностранных гостей навело на Морозова серьезную тревогу. Разве такие учтут, что русло замачивается впервые и всякого рода размывы и просадки неизбежны? Для них каждая мельчайшая авария — лишний повод к издевательствам над качеством нашей ударной работы. Ходи за ними и объясняй, что пуск воды не означает еще сдачи канала в эксплуатацию и что до этого времени все мелкие неполадки успеем сто раз ликвидировать. Морозов утешал себя надеждой, что, может, как-нибудь все обойдется благополучно, но в свете непрерывных сюрпризов последних недель надежда эта казалась иллюзорной.

Первая легковая машина из Сталинабада привезла председателя ЦИК, пожилого коренастого таджика с узким прорезом слегка насмешливых глаз, испытующе из-под выпуклого лба наблюдающих мир. Машину прежде, чем подоспел к ней Морозов, окружили

местные дехкане, спеша один через другого пожать руку почетному гостю. Нусратула Максум не был впрочем гостем в этом районе. Из года в год — посевная, окурка, уборочная — он проводил больше времени в районах, нежели в своем циковском кабинете, толкая, увещевая, хая каждого нерадивого хлопкороба. Осенью, возвращаясь на разтрясенном фордике в Сталинабад, он озирает поля, покрытые хлопьями ваты, и тогда ему казалось: все это лето он только и делал, что тянул вверх за пушистые белесые космы капризные растения хлопчатника, заставляя их подтянуться, выкарабкаться еще выше, на два, на три, на четыре вершка.

Пожав двадцать жадных рук, предцика хозяйским глазом окинул разукрашенный городок, должен быть, остался доволен и, завидя издали Морозова, пошел к нему навстречу.

— Ну, как у вас дела с перемычкой? Аварии не будет?

— Что вы, товарищ Максум! Проект взрывпрома утвержден в Москве, проверяли лучшие специалисты.

— В кабинете на бумаге — охэ! — аварий не бывает, на скале только бывают. Смотрите, не оскандальтесь перед иностранцами. Проект итальянского консультанта отклонили. Надо—охэ! — показать, что у нас умеют лучше.

— Покажем, товарищ Максум. Не беспокойтесь.

Подъехали вторая и третья машины: предсовнаркома Таджикистана, секретарь ЦК, два секретаря Средазбюро, наркомзем Союза. Приехавших обступили. У белого полотняного барака, разбитого за ночь, образовалось небольшое сборище. Предсовнаркома, дородный, бритоголовый таджик, в форме красного командира, отозвав в сторону Синецины, спрашивал его о чем-то вполголоса. Синецин достал из кармана смятый листок, отпечатанный на плохом гектографе, с большой печатью внизу, и протянул его Ходжибаеву. Предсовнаркома пробежал листок и сунул его в карман.

Подъехали еще четыре машины. Вскоре площадка перед белым бараком закишела людьми в клетчатых чулках, в кепках, панاماх и колониальных шле-

мах, с перевешенными на ремешке фотоаппаратами и биноклями. Иностранные гости быстро разбрелись по всему городку, заглядывая в каждую щель. Они разговаривали между собой очень громко, как говорят глухие, то ли опасаясь, как бы шум реки не заглушил их слов, то ли из убеждения, что их слова и есть самое важное из всего, произносимого в эту минуту. Больше всего иностранцев толпилось над обрывом. Взглянув вниз, все они приумолкли, правда, не надолго, щелкнув аппаратами, сняли бешеную реку анфас и в профиль и, побросав в нее окурки, пошли рассматривать рабочие жилища.

Машины прибывали одна за другой. Морозов, Кириш, Уртабаев и Кларк принимали гостей. Завидев неподалеку Синецины, Уртабаев незаметно отлучился и, нагнав его около конторы, потянул в пустую канцелярию.

— Есть какие-нибудь новости?

— О налете знаешь?

— Знаю. Сколько?

— Говорят, до двух тысяч сабель. Многих наши пограничники уложили на переправе. Значительной части вообще не удалось переправиться. Прорвались в трех местах, три банды. Количество сейчас установить трудно. Приблизительно семьсот сабель.

— Население мобилизовано?

— Вся пограничная полоса оцеплена краснопалочниками. Из Сталинабада вылетели на границу три самолета. В общем сделано все, чтобы обеспечить мирное открытие канала.

— Это сейчас самое главное. Представь себе — наши гости попадут под перестрелку, и кто-нибудь получит пулю в живот. Хорошенькая была бы реклама!

— Будем надеяться, обойдется без этого. Ну, оставайся с гостями, а я поехал.

— Подожди! Сети нашей нигде не повредили?

— Была попытка на третьем участке, но уже наверное починили. Все рабочие участка организовались в отряды самообороны, — с кирками, с ломками, кто с чем. Говорят, затюкали уже один басмаческий раз'езд.

— Эх, чорт бы побрал всех гостей! Поехал бы я туда с доброотрядом!

— Справятся как-нибудь и без тебя. Ты тут займи гостей, пусть лучше на третий участок сегодня не едут...

На головном сооружении, облокотившись на перила, группа иностранных журналистов, поплеывая вниз, наблюдала за приготовлениями к взрыву. В горизонтальные колодцы, просверленные у подножия перемычки, полезли на карачках первые подрывники закладывать заряды. Высокий, черный инженер лично проверял каждую порцию аммонала. Когда подрывники, сделав свое дело, показались опять, в колодцы полез инженер. Вылез он нескоро, замусоленный, как трубочист. Его кокетливая кавказская рубашка казалась бело-бурой. Инженер тщательно отряхнул ее чистым платком и на приличном немецком языке попросил гостей очистить территорию, соприкасающуюся с объектом взрыва. Ему не пришлось повторять: все торопливо отхлынули подальше за линию, отмеченную флажками.

Инженер Табукашвили отдал последние распоряжения. Заверещал свисток. Табукашвили достал из кармана часы. Взрыв назначен был ровно в час дня. Оставалось еще четыре минуты. Табукашвили спрятал часы, посмотрел на безоблачное небо, достал портсигар и закурил. По его нарочито медленным, небрежным движениям можно было догадаться, что начальник взрывпрома волнуется. Показать этого как-раз Табукашвили ни за что не хотел.

В своем проекте взрыва он был уверен вполне. Достаточно много ночей он прокорпел над ним, проверяя по десять раз каждое мельчайшее вычисление. Не могло быть спора: сила взрыва распределена правильно, проект давал максимальную гарантию безопасности. Но проект пошел на утверждение в Москву, а Москва внесла ряд поправок, поправок, по мнению Табукашвили, необоснованных. Не то, чтобы проект в таком виде мог угрожать серьезной опасностью головному сооружению (в таком случае Табукашвили отказался бы рвать вообще), но из проекта, максимально без-

опасного, он превратился в проект, просто грамотный⁵, допускающий некоторый процент опасности. Оспаривать изменения было поздно. Не оставалось ничего, как применить утвержденный вариант.

Табукашвили взглянул на часы. Еще три минуты. «Хоть бы, сукины дети, вызвали меня в Москву, дали возможность присутствовать при утверждении! Можно бы было по крайней мере драться, доказывать. Нет! Утверждают и вносят произвольные поправки в отсутствие автора проекта. Безобразия! Раз мы из центра, нам нечего считаться с твоим мнением!.. Еще две минуты... Чорт побери! Последний раз в жизни рву по чужому проекту. Пусть приезжают и рвут сами, милости просим... Еще одна минута... Не надо волноваться. В конце концов в центре тоже сидят не идиоты. Проект в основном проверен и проработан по косточкам. Головное сооружение прекрасно выдержит не четыре, а восемь баллов... Полминуты... Выдержит восемь баллов... Фу! у меня начинают дрожать ноги. Хороший спектакль для иностранцев! У советского инженера перед взрывом трясутся ляжки... Четверть минуты... Лучше просто считать: один, два, три, четыре... восемь, девять... двенадцать, тринадцать, четырнадцать...»

В кабинете Комаренки висел густой табачный дым. Комаренко открыл толстую папку.

— Итак, гражданин Крушоный, вы отказываетесь ответить на мой вопрос?

По чуть побледневшему лицу инженера Крушоного скользнула тень нетерпения:

— Я не отказываюсь ответить. Я отвечаю на него отрицательно.

— Вы отрицаете, что неделю тому назад в разговоре с инженером Табукашвили, у себя на квартире, за бутылкой коньяку, когда Табукашвили выражал свои опасения насчет взрыва перемычки, вы сказали ему более или менее прозрачно, что за неудачный взрыв и повреждение головного сооружения кто заплатил бы большие деньги?

— Отрицаю решительно.

— Вы не говорили Табукашвили, что авария может произойти случайно, и, будет ли это авария произвольная, или произвольная, отвечать ему придется одинаково; только в одном случае он ответит за нее даром, «gratis», как вы изволили выразиться, а в другом случае — он станет богатым человеком?

— Ничего подобного я Табукашвили не говорил и не мог говорить.

— Вы отрицаете, что три дня тому назад, после того, как Табукашвили выразил свое согласие, вы передали ему у себя на дому от неизвестного лица тридцать тысяч рублей кредитными билетами по десять червонцев? — Комаренко открыл ящик стола и вытащил оттуда пачку кредиток. — Вот эти самые тридцать тысяч рублей.

— Отрицаю категорически.

— Значит, показания инженера Табукашвили, сообщившего нам об этой сделке, вы считаете вымышленными?

— От начала до конца.

— Инженер Табукашвили на вас просто наклеветал?

— Несомненно.

— С какой же именно целью? Как вы это объясняете?

— Очевидно, чтобы отклонить от себя возможные подозрения.

— Подозрения в чем?

— Представьте, что неизвестное лицо, по каким-то соображениям заинтересованное в аварии, предложило инженеру Табукашвили за неудачный взрыв, скажем, пятьдесят тысяч рублей. Инженер Табукашвили хочет заработать деньги, но не хочет получить по суду причитающиеся за аварию пять-шесть лет. Поэтому он, как трезвый человек, решает заработать меньше, но зато вполне безнаказанно. Он берет из полученных денег тридцать тысяч, является с ними в ОГПУ, с благородным видом передает эти деньги вам и сообщает с возмущением об имевшей место попытке купить его, честного советского инженера, и толкнуть на вредительство. Конечно он не указывает лица, которое в действительности дало ему деньги. Вместо него он называет первое попавшееся неприятное ему лицо. Он может сделать это

вполне безнаказанно, по своему вкусу и выбору. В самом деле, докажите, что вы не давали денег, если человек, передавший эти деньги в ГПУ, указывает именно на вас. После этого инженер Табукашвили взрывает перемычку и получается авария. Конечно Табукашвили вне всяких подозрений. Авария будет рассматриваться либо как простая случайность, либо как вредительство кого-то другого. Инженер Табукашвили заработал одним махом двадцать тысяч и патент на стопроцентного советского инженера, заслуживающего доверия органов ОГПУ, а оклеветанный им ни в чем неповинный человек идет в расход или в концлагерь. Расчет во всех отношениях безошибочный.

— Значит, вы уверены, что авария все-таки будет?

— Почти уверен. В противном случае мотивы действий инженера Табукашвили были бы совершенно непонятны.

— А вот сейчас узнаем. Пять минут второго. Взрыв был назначен ровно в час.

Комаренко взял телефонную трубку:

— ... Морозова. Да. Это ты? Говорит Комаренко. Как со взрывом перемычки? Взорвана? Все благополучно? Головное сооружение не повреждено? Так. Спасибо. Больше ничего.

Комаренко повесил трубку:

— Никакой аварии, дорогой гражданин Крушоный. Перемычка взорвана вполне благополучно. Что вы скажете по этому поводу?

— Скажу, что это ничего еще не доказывает. У инженера Табукашвили могло в последнюю минуту нехватить решимости. Он побоялся повредить головное сооружение, за которое отвечает непосредственно сам. Сорвать строительство можно не только путем аварии головного сооружения. Есть целый ряд других объектов, повреждение которых может иметь те же последствия. Это даже значительно удобнее, поскольку за эти объекты инженер Табукашвили персональной ответственности не несет. Я скажу, что ошибся в своих предположениях только тогда, когда пуск воды и замочка канала обойдутся без единой серьезной аварии.

— Это уже гораздо предусмотрительнее... А почему инженер Табукашвили при выборе лица, которое должен был клеветать, остановился именно на вас? Были ли у вас с ним какие-нибудь личные распри?

— Нет. Я вообще довольно мало знаю инженера Табукашвили. По моей работе в секторе механизации мне приходилось сталкиваться с ним очень редко. Но в таких случаях меньше всего благоразумно выбирать жертвой лицо, с которым у вас имеются личные распри. При следствии это всегда всплывет и может вызвать только ненужные подозрения. Инженер Табукашвили остался верен общепринятому принципу: сваливать вину на людей, как это у нас говорится, с подмоченной репутацией. Это самый верный и безопасный метод.

— Почему вы считаете себя человеком с подмоченной репутацией? На предварительном допросе вы заявили, что никогда не подвергались суду и каким бы то ни было взысканиям.

— Я показывал правильно. Дело не в моем прошлом, — безупречность его легко проверить, — а скорее в той работе, которая мне была поручена на здешнем строительстве. Вам известно, что я стоял во главе сектора механизации, и вам конечно хорошо известно, что именно в этом секторе до моего назначения был вскрыт целый ряд более или менее значительных вредительств. Мой непосредственный предшественник, инженер Немировский, за вредительство был предан суду. Естественно, что то недоверие, в атмосфере которого развертывалась вся работа механизации, с моим назначением не исчезло. Особенно в последнее время, точнее, с того момента, как я отказался в течение одной ночи изготовить из несуществующего материала три гидромонитора, отношение ко мне товарища Морозова приняло характер совершенно недопустимый. Я не ставил вопроса о моем уходе только потому, что уходить за несколько недель до окончания строительства не имеет смысла. В последнее время Морозов приставил ко мне инженера Кирша, контролировавшего фактически каждое мое действие. Вполне понятно, что, зная

о моем положении, инженер Табукашвили остановил свой выбор именно на мне. Он правильно рассчитал, что обвинение во вредительстве прилипнет ко мне скорее, чем к другим, и созданная вокруг меня атмосфера сделает меня беззащитным.

Комаренко из-под прищуренных век пристально наблюдал за Крушоным.

— Вот что, — сказал он, закуривая, — я вас слушал терпеливо и внимательно. У вас — определенное литературное дарование. Вам надо писать криминальные романы... Теперь вы послушайте меня, внимательно, очень внимательно. Достаньте, пожалуйста, ваш бумажник. Раскройте. Пересчитайте, сколько у вас денег. Пересчитали? Сколько?

— Триста сорок семь рублей.

— Три бумажки по десять червонцев? Так?

— Да.

— Отложите эти три бумажки. Теперь посмотрите внимательно: на лицевой стороне, внизу, в левом углу. Что вы там видите?

— Какой-то значок карандашом.

— Буква «К», не правда ли?

— Да, как будто буква «К», — бледнея, подтвердил Крушоный.

— Посмотрите на две других бумажки, в том же самом углу. Тоже буква «К»? Да? Что же вы умолкли? Нашли? А вот вам пачка кредиток, которую вы передали инженеру Табукашвили. Все они, как вы видите, помечены в углу карандашом буквой «К». Моя фамилия Комаренко. Деньги помечены мною. Почему ж вы так поблднели? Вам дурно? Вот стакан воды. Пожалуйста пейте, пейте, это помогает. Лучше? Вот видите?.. Ну, а теперь давайте. Садитесь сюда, ближе и рассказывайте все по порядку. Вы — неглупый человек, и вы понимаете сами, что в таких случаях самое умное, что вам остается сделать, это рассказать все. Просто и без беллетристики. Итак, от кого вы получили деньги для передачи их инженеру Табукашвили?..

В открытые пролеты головного сооружения семью ревушими Ниагарами хле-

стала взмыленная вода. Будто Вахшу прокололи вилами левый бок, и из семи дыр в подготовленный желоб хлынула мутная кровь. Грузные груды переплетенных волн кубарем катились по бугри-стому дну. Канал медленно набухал бур-овой пеной на пергаментной спине плато.

Морозов, Уртабаев, Кириш, Кларк, забывая о гостях, взволнованные, смотре-ли вниз. Каждый из них не раз, стоя на этом месте в трудные дни оче-редных неудач, пытался представить се-бе эту минуту, тогда такую далекую и недостижимую. Теперь, переживая ее ка-яву, каждый из них ощущал на ряду с большим подъемом какую-то неулови-мую нотку разочарования. То, что раз-вертывалось перед их глазами, было бесспорно грандиозно и в то же время немножко обыденно. Вода неслась кана-лом, как будто так и полагалось, как будто так и было всегда. Даже им, свер-лившим этот канал, казалось сейчас не-вероятным, что еще две недели тому назад место для каждого кубометра этой желтой бурды приходилось выры-вать руками, организованным усилием сотен людей. Хотелось чего-то необыкно-венного, невозможного: чтобы из го-лой, выжженной земли, от одного ее соприкосновения с заново рожденной рекой выстрелили сейчас, на глазах у ошеломленных людей, зеленые лезвия осоки, гибкие пики тростника или хотя бы крохотные, с мизинец, побеги самой вульгарной травки. Но земля пила во-ду жадными глотками и оскорбительно молчала.

Гости, насмотревшись досыта, пред-ложили двигаться. Пришлось спуститься к машинам. У узла на сорок шестом пикете к вылезавшему из автомобиля Морозову подошел серый от пыли Галь-цев и, не говоря ни слова, сунул ему в руку смятую записку. Морозов, помогая высадиться старому бельгийскому про-фессору, украдкой заглянул в письмо. Прочтя первую фразу, он почувствовал, что волосы шевелятся у него на голове. Он пропустил профессора вперед и, взбираясь за ним по лестнице, дочитал записку:

«Мыс горы Ката-Таг обвалился. Засыпано все русло канала. Вода хлы-

нула через дамбу и заливаает равнину. Немедленно прекратите пуск. Шлите людей и механизмы. Желательно еще два экскаватора.

Рюмин».

Морозов сунул листок в карман.

— Да, да, — сказал он, приятно улыбаясь ожидавшему наверху про-фессору. — Вот это и есть наш узел на сорок шестом пикете. Часть воды, как вы видите, отходит в правую ветвь... Товарищ Кларк, вы это объясните гос-подам лучше... Вот как-раз начальник первого участка. Пожалуйста! А я позабочусь, чтобы к нашему приезду при-готовили обед. Пообедаем у меня на втором участке. Там просторнее в смыс-ле помещений. Товарищ Кларк! После осмотра узла и правой ветки везите всех гостей ко мне, на второй. Господа на-верное проголодались... Товарищ Кириш! Будьте добры на минуточку!

Морозов неспеша спустился вниз и пошел к машине. Из под'ехавшего парт-комовского фордика на ходу выскочил Синицын.

— Да, да, все знаю, — кивнул ему Морозов. — Не говори, пожалуйста, так громко. Позови сюда незаметно Урта-баева. Буду вас ждать в машине.

Через минуту Кириш и Уртабаев, обло-котившись на шасси, весело жестикули-руя, читали рюминскую записку. Сини-цын, указывая в сторону ветки, говорил вполголоса:

— Ты, Морозов, поезжай сейчас на второй, распорядись насчет обеда и до-жидайся гостей. Никаких разговоров! Никуда не поедешь! Начальник строи-тельства должен быть все время с го-стями. Покажешь им свой городок и всякое такое. А потом повезешь обедать. Банкет, пожалуйста, заката пошкарнее, чтобы было много блюд и чтобы слиш-ком быстро не подавали. Надо растя-нуть до вечера. Речи, ну, одним словом, сам знаешь. Обставь дело так, чтобы гостям не было скучно и чтобы неза-метно проканителелись до сумерек. То-варищ Кириш останется с тобой. Пожа-луйста, спорить будем потом! Вы хоро-шо говорите на иностранных языках и сумеете занять гостей. Руководство ра-ботами на Ката-Таге поручите Уртабае-

ву. Он этот проект отстаивал, пусть сейчас отстаивает его на практике. Надо ему дать в подмогу одного американца. Предлагаю Кларка. Мурри будет злорадоваться, что вы не послушали его и провалились со своим проектом. А Кларк — свой парень. Ну вот, давайте не терять времени. Ты поезжай сейчас один. Отдай со второго участка распоряжение, чтобы немедленно закрыли воду. До этого времени иностранцы осматривают все и каналом больше интересоваться не будут. Через десять минут, не раньше, незаметно смоятся Уртабаев и Кларк. Мобилизуют рабочих и механизмы и двинутся на Ката-Таг. А товарищ Кириш с Мурри, так минут через десять, привезут гостей в городок... Я поехал. Буду вас ждать на Ката-Таге. — Товарищ Уртабаев! — окликнул отошедшего Уртабаева Морозов.

Уртабаев вернулся.

— Берите со второго участка два экскаватора и гоните их самоходом на Ката-Таг.

Уртабаев молча склонил голову.

Банкет, предполагавшийся на вечер, начался в четыре часа дня. Повара, как очумелые, метались вокруг котлов, ударной выдумкой ускоряя процесс претворения живых, блеющих баранов в съедобные произведения искусства. Гости, утомленные жарой и карабканьем по отвалам, встретили приглашение к обеду с нескрываемым восторгом. Их рассадили в клубе за невероятно длинными столами и оглушили количеством наплавляющих блюд.

Уртабаев звонил с Ката-Тага, просил прислать еще сотни три кетменей и лопат, обещал в течение ночи обвал ликвидировать: часам к семи утра можно будет опять пустить воду. Смеркалось в девять. Банкет должен был длиться не менее пяти часов.

У Морозова гудела в висках. Первую речь полагалось произнести ему, и говорить надо было долго, а как-раз сегодня он чувствовал себя не в состоянии склеить трех фраз. Нервы, в течение последних месяцев держимые на привязи, с момента известия о новом сюрпризе на Ката-

Таге начали явно шалить. За полчаса до катастрофического сообщения он узнал от приятеля-наркома, приехавшего в числе гостей, что Дари в Сталинабаде разыскать не удалось: очевидно, вместе с другими освободившимися рабочими уехала в Россию. Найти ее среди 160-миллионного населения огромной страны не было уже никакой надежды. Морозов ходил, отдавал распоряжения, улыбался гостям, объяснял, что-то рассказывал, доказывал, даже смеялся, но собственный смех и голоса окружающих доходили до него профильтрованные через монотонный гул. Это, должно быть, гудела кровь в размытых дамбах височных артерий и, не доходя до мозга, уходила обратно к сердцу через неизвестные биологии слои межклеточного плавнуна.

Банкет уже давно начался, а Морозов все еще не знал, с чего ему начать речь. Кириш, улыбаясь, протянул ему через стол записку. В записке были две фразы: «Иван Михайлович, начинайте. Больше затягивать нельзя». Этого было достаточно. Морозов, как дисциплинированный оратор, грузно поднялся с места и попросил у присутствующих минуту внимания:

— Товарищи и господа! — сказал он очень громко, и поглощавший голоса монотонный гул в висках внезапно утих. — Когда я впервые приехал сюда, один таджик, по имени Фархат, работающий у нас кладовщиком, рассказал мне легенду о древнем ирригационном строительстве, следы которого вы имели возможность осматривать сегодня не вдалеке от головного сооружения. Легенда эта связана с именем тезки моего рассказчика, неизвестного истории князя Фархата.

В древние времена местность эта, если верить преданию, входила в состав владений молодой княжны Замин и представляла собой густо заселенную цветущую равнину. Владевшая ею княжна, как полагается всем легендарным княжнам, на ряду с неземной красотой отличалась еще ангельской кротостью и любовью к своим верноподданным. Однако не эти именно качества сделали ее героиней легенды. Героиней стала она

скорее случайно, благодаря нередкому здесь стихийному бедствию. Река, некогда протекавшая через эти края, в одну бурную весеннюю ночь внезапно переменяла русло и, покинув владения княжны, ушла орошать земли ее коварных соседей. Поля окрестных дехкан, лишенные воды, высохли. В стране начался голод. Объявила тогда княжна Замин, что отдаст свою руку и сердце только тому, кто сумеет повернуть обратно строптивую реку и напоить поля голодающих дехкан.

Доблестный князь Фархат, безнадежно влюбленный в княжну, узнав об ее заявлении, согнал всех своих подданных мужского пола и стал днем и ночью рыть новое русло. Рыл он его долго, проделывая приблизительно ту же работу, какую проделали мы. А так как он не имел в своем распоряжении ни экскаваторов, ни компрессоров, ни взрывчатых веществ, так как единственным транспортом, которым он располагал, был транспорт человеческий и верблюжий и так как он не строил социалистического общества, а лишь добивался руки своей возлюбленной, — тем самым не мог рассчитывать на ударничество и соревнование своих рабочих, — рыл он русло долгие годы.

На работу Фархата часто приезжал смотреть его злейший соперник, богатый купец Уразбай. Уразбай не был мечтательным романтиком, как Фархат. Он был трезв и толст. Он был купец, и любовное увлечение не лишало его способности арифметической калькуляции. Посмотрев на работу Фархата, он подсчитал в уме: на прорытие русла Фархату потребуется столько лет, что, когда он наконец повернет реку и добьется руки Замин, прекрасная, как роза, княжна будет уже увядшей старухой. Уразбай был стар. Он не мог тягаться на выдержку с молодым Фархатом. Ему нужна была Замин, пока она молода и прекрасна. И он, решился добиться своего хитростью.

Три дня и три ночи разгружали верблюдов Уразбая, притащивших огромные тюки из далекого города Бухары. Тюки сбрасывали на дороге от реки до дворца княжны, вдали от каменистого

русла, которое рыл в скале упрямый Фархат. На четвертую ночь Уразбай явился во дворец к Замин, окруженный мудрейшими муллами и ишанами, и подкупленная им тетка княжны побежала доложить племяннице: «О, прекрасная Замин! — сказала она. — Ты обещала отдать свою руку мужчине, который обуздает нашу вероломную реку и повернет ее обратно в твои владения. Богатый и мудрый Уразбай из любви к тебе совершил это чудо. Выйди на балкон и посмотри: река течет у подножия горы, на которой стоит твой дворец».

Когда Замин вышла на балкон, она действительно увидела у подножия горы широкую ленту реки, поблескивавшую в отсвете лунного сияния. По настоянию Уразбая его обвенчали с Замин в ту же ночь: А когда взошло солнце и несчастная княжна, покинув спящего супруга, вышла на балкон, она отшатнулась в отчаянии и ужасе. То, что ночью она приняла за реку, было лишь широкой дорогой из цыновок. Аккуратно уложенные цыновки, отсвечивавшие серебром в сиянии луны, сейчас тускло отливали на солнце ржаной желтизной.

Предание гласит, что обманутая княжна покончила самоубийством, кинувшись вниз с балкона; и что, узнав о ее смерти, молодой Фархат размозил себе голову о каменистые пороги необузданной им реки.

Так говорит легенда. Мы, марксисты, привыкли самые поэтические предания переводить на язык низменной экономики. Легенды не теряют от этого своей поэтичности, а зато помогают нам понять жизнь, стремления и горести создавшего их народа.

В этой стране, по которой бешеные реки бродили в течение веков, как неукротимые мастодонты, из года в год произвольно меняя свои пастбища; в этой стране, где субтропическое солнце в одно лето превращало в жупел землю, лишенную воды, — в этой стране вода и жизнь были всегда понятиями равнозначными. И не случайно вы не найдете здесь ни одного предания, которое бы не говорило о воде. И не случайно героями самых ярких легенд являлись

здесь не праздные забияки из русских былин, а отважные строители новых ирригационных сооружений, призванные напоить водой опустошенные солнцем поля.

Для людей, живущих под постоянной угрозой, что река, орошавшая их поля, может однажды уйти и не вернуться; для людей, наблюдающих со страхом, как в арыках из года в год убывает вода, как год за годом уходит жизнь из выхоленных ими полей, как медленно заволакиваются они сухой пленкой мертвечины, — для этих людей не было такой цены, которой они не уплатили бы за безмятежную уверенность, что вода, закрепленная за их полями, останется с ними навсегда. Об этом хорошо знали местные феодалы. И не было такого хана, который, высосав все соки из подданных, не смог бы выжать из них еще вдвое больше одним обещанием воздвигнуть новые ирригационные сооружения. И не было такого хана, который, выманив таким образом от народа последние средства, сдержал бы свое обещание.

Чудовищные тяготы, взимаемые каждым ханом под традиционным предлогом расходов на водоустройство, утопали в бездонной ханской казне. Обещанные ирригационные сооружения оставались фикцией, обманной рекой из цыновок легендарного Уразбая. Изнывающий от тягот народ настолько потерял веру в ханское слово, что всякий раз, когда на престол садился новый феодал, вместо хартин прав народ заставлял его взять на себя одно торжественное обязательство: не затевать за все время своего господства никаких ирригационных работ. Это уже не легенда, это — исторический факт. Народу, разуверившемуся в надеждах на реальную помощь, оставалось мечтать о пришествии некоего мифического князя Фархата, который напоил бы водами их изжаждавшую землю, потому что Замин по-таджикски значит земля. Но даже в этих мечтах горькая народная ирония не давала осуществиться добрым помыслам Фархата, ибо в эпоху господства Уразбаев никакой героический князь не в состоянии помочь дехканству.

Последний повелитель Бухары, эмир Саид Олим-хан, выгнанный отсюда революцией, обратился не так давно в Лигу наций с обемистым меморандумом, отстаивая в нем свои права на утерянный бухарский престол. Желая засвидетельствовать примером из своего эмирского прошлого безмерные заботы о верноподданных, высочайший эмир, обзрев вспять двадцать лет своего господства, нашел и, обрадованный находкой, торжественно привел... один каменный мост, построенный им на одной реке, ныне к стати уже не существующий.

Горькое народное предание о Фархате отжило свой век вместе с последним бухарским феодалом. Раскрепощенный революцией народ, ликвидировав Уразбая и других баев, отвел на пустыню реку, которую не смог повернуть легендарный Фархат. Это уже не легенда. Это тоже народное творчество, но творчество с помощью других средств: народ, создававший некогда легенды о беспросветности и горечи жизни, ныне сам создает новую светлую жизнь.

Вот все, что я хотел сегодня рассказать. О том, как мы рыли наш канал и в каких условиях нам приходилось это делать, расскажет вам лучше наш главный инженер, товарищ Киш...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поздно вечером, управившись с банкетом, Морозов вызвал машину.

Банкет, по отзывам присутствовавших, прошел хорошо. Киш сказал блестящую, остроумную речь. Хорошую советскую речь сказал и Муррӣ. К девяти часам утомленные гости сами предложили отсрочить до завтра осмотр дальнейших участков. Киш, не выдержав до конца, уехал на Ката-Таг вместе с предика и предсовнаркома Таджикистана. Морозов, как подобает хозяину, не тронулся с места, пока не проводил на отдых последних гостей. Только отдав все распоряжения на следующее утро, он вскочил в ожидавшую машину и велел везти себя во весь опор на Ката-Таг.

Не доезжая до Ката-Тага, мотор остановился, изрядно хлебнув воды. Дорога была затоплена. Продвигаться дальше приходилось пешком. Морозов достал карманный фонарь и полез в воду. Прохлюпав по воде километра полтора, он выбрался наконец на сухую дорожку и пошел на свет рефлекторов. В жидком электрическом сиянии он увидел когорты людей, вооруженных кетменями, похожими на кривые секиры. Люди прыгали через урчащие водопады, проваливались по колена в жидкую мякоть земли, карабкались и бежали дальше. Подхваченный человеческим потоком, Морозов побежал наугад. До него долетали передаваемые из уст в уста беспорядочные слова команды:

— Посторонись! Посторонись!

— Чего?

— Экскаваторы идут!

С грохотом и лязгом, покачиваясь на причудливо сплюснутых колесах гусениц, проползли мимо один за другим два экскаватора, таща на буксире громоздкие громады собственных теней. У каждого экскаватора было по две стрелы: одна — реальная, устремленная высоко вверх, другая, удлинненная в бесконечность, ломаным зигзагом бесшумно скользила по земле.

— Бе-ре-гись!

— Бригада колхоза «Передовик» — на сто девяносто четвертый пикет! Расчистить проход для экскаватора!

Лава людей, опережая механизмы, хлынула на полуразмытый отвал. Изпод опущенных кетменей дружно брызнула земля.

Морозов выбрался на бугор и лицом к лицу столкнулся с Уртабаевым:

— Что слышно?

— Экскаваторы пришли, товарищ начальник! — официально отрапортовал Уртабаев.

От Уртабаева и к Уртабаеву, вниз и вверх, бежали эстафеты с короткими распоряжениями и рапортами с мест.

«А хорошо работает малый. Организованно и без паники» — подумал Морозов.

— Возьмете руководство? Я тогда пойду посмотрю за укреплением дамбы, — предложил Уртабаев.

— Нет, зачем же? Вы уж организовали работу, руководите до конца.

— Как хотите. Тогда давайте я останусь здесь, а вы, может быть, присмотрите за дамбой.

— Хорошо. Скажите еще в двух словах: какие потери?

— Затоплен поселок одного колхоза.

— А жители?

— Жители ушли за несколько часов до обвала. Оба киргизских колхоза. Остальные все на месте. Вышли с кетменями помогать в ликвидации прорыва.

— Хорошо. Материала для укрепления дамбы не снесло?

— Часть смыло водой, но того, что осталось, хватит.

... У сто девяносто седьмого пикета группа рабочих, под командой плотника Клементия, штукатурила глиной обнаженный скелет дамбы. Морозов подобрал лопату и погрузил ее в землю. Нога увязла по колено в глинистом вареве. Он вытащил лопату и, вырывая раз за разом огромные комья земли, стал зашпаклевывать первую заплатанную камышом брешь. Глина, размытая водой, брызгала в лицо. Он уминал ее руками, заклепывал заступом, наваливая поверх новые центнеры приращенной снизу земли. Истертые в кровь руки прилипали к черену лопаты. Земля под подошвами билась, как придавленная артерия. Он топтал ее в иступлении ногами. Кто-то силой оттащил его в сторону и поволок под откос. Утрамбованная Морозовым земля вздулась и выскочила, как пробка. Вода рухнула вниз.

— Беги, зови на подмогу! На подмогу зови! Дамбу снесет! — заглушая шум воды, кричал с той стороны потока Клементий.

Морозов бросил лопату и побежал на гул голосов. В двухстах шагах он наскочил на ораву пестрых теней. В середине, на бричке, стоял Уртабаев и кричал что-то по-таджикски. Морозов протиснулся через толпу и ухватил Уртабаева за руку:

— Дайте людей! Людей дайте! Дамбу снесет к чорту!

Уртабаев привлек его за плечо:

— Сколько? Сто? Двести? Бери! Колхозники пришли! «Красный Октябрь» и «Красный пахарь»! Эх, Морозов, живем! Еще идут! Бери всех!

— Слушай, Уртабаев, там вода пошла опять каналом. Вода пошла! Позвони на головное!

— Телефон не работает.

— Надо кого-нибудь послать.

— Поехал Кларк. Уже час тому назад. Там какая-то мелкая неполадка с одним щитом. Все будет в порядке...

... Когда колхозники «Красного пахаря» сменили выбившуюся из сил команду Клементия, Морозов вытер рукавом лоб и присел под откосом на опрокинутую тачку. Хотелось курить. Он достал папиросы, долго тер отсыревшие спички и, сломав последнюю, растерянно оглянулся. Рядом, спиной к нему, отдыхал рабочий из бригады Клементия... Морозов тронул его за плечо:

— Спичек случайно нет, товарищ?

— Нет! — грубо буркнул рабочий.

Голос показался Морозову знакомым: да ведь это же Тарелкин! Морозов не ощутил привычного раздражения, которое вызывал в нем раньше один вид Тарелкина. Сейчас он напомнил Морозову о Даре, которой не будет никогда, и этот грубый парень вдруг показался ему кем-то очень близким, может быть, самым близким, единственным человеком, способным разделить его боль.

— А Даря уехала... — сказал вслух, неожиданно для самого себя, Морозов.

— Куда уехала? — обернулся Тарелкин.

— Не знаю. Не сказала. Искал ее в Сталинабаде — нет. Говорят, в Россию уехала, а, куда в Россию, разве сейчас найдешь?

— Ты ее обидел, — сурово сказал Тарелкин. Лица его в темноте нельзя было разглядеть.

— Да, я ее обидел, — покорно подтвердил Морозов.

Мимо с плеском и грохотом, обдавая их обоих водой, пронеслась вереница бричек, стремительных и тревожных, как тачанки.

— На, кури! — неожиданно достал из кармана спички Тарелкин.

Морозов взял спички и протянул Тарелкину портсигар.

Курили жадно, молча.

— Надо тебе ее найти, — строго заговорил Тарелкин. — Через милицию искал?

— Искал. Не нашли. Говорят, видно, в Сталинабаде не задерживалась.

— Может, домой поехала?

— А я знаю, где ее дом?

Огонек папиросы Тарелкина последний раз вспыхнул и потух.

— Тамбовская она. Какой деревни и уезда, сам не знаю. — Он поднялся, подобрал лежавшую рядом лопату. — Ну, передохнул, и ладно. Пора за работу.

Морозов поднялся тоже.

— Да, пора.

Голос Тарелкина донесся до него из темноты:

— Ты того... не унывай... Вернусь на головной, спрошу у девок из ее бригады. Может, которая знает...

Часа через два после отъезда Морозова, когда гости спали уже крепким сном, инженер Мурри вызвал по телефону машину и, сев рядом с шофером, велел везти себя на Ката-Таг.

Не доезжая до Ката-Тага, он почему-то раздумал и приказал свернуть на дорогу, ведущую к пристани. Ехали быстро. Вскоре справа замерещились огни третьего участка. На перекрестке дорог шофер взял вправо.

— Зачем городок? — положил руку на руль Мурри. — Я говорил: пристань.

Шофер указал глазами на счетчик: — Горючего нехватит. Бензин нихт.

Возьмем в городке.

Мурри отпустил руку. Машина летела, увеличивая скорость. Они ворвались в городок, миновали колонку с бензином и свернули влево.

— Бензин там! — указал Мурри на оставшуюся позади колонку.

Шофер отрицательно покачал головой. Машина круто свернула вправо.

— Что вы делаете?! — схватился за руль Мурри.

Они неслись прямо в какой-то загороженный двор. Шофер отстранил руки пассажира и, проскочив узкие ворота,

затормозил на полном ходу посредине двора.

Военные в зеленых фуражках гурьбой окружили машину.

— Что это все значит? — спросил, вскакивая с места, Мурри...

Кони шли полным галопом. Воздух раздавался перед ними с треском распарываемой материи. Комсомольский разезд приближался к огонькам головного участка. Нусреддинов осадил лошадь и рысью выехал на дорогу. Подметая тень длинными мечами фар, по дороге приближалась легковая машина.

— Стой! Кто едет?

Машина затормозила. Три револьверных дула выглянули навстречу комсомольцам.

— Это вы, товарищ Кларк?

Револьверные дула мирно утонули в карманах.

— Фу ты, чорт! А мы думали — басмачи! — засмеялся шофер. — Ни эги не видать. Думаю: тормозить, не тормозить?

— Вы куда?

— На головной.

— Товарищ Кларк?

— Да. А что тут, беспокойно?

— Не совсем спокойно, — нагнулся с коня Нусреддинов. — Банда человек в сорок прорвалась в двадцати километрах от второго участка. Если не возьмут вправо, должны по прямой линии выйти к Вахшу. Надо предупредить Курган и усилить на головном охрану... А вы зачем, собственно, на головной?

— Гальцев говорит, когда закрывали воду, что-то повредили в пятом щите. Хочу проверить. Как только будут починять дамбу на Ката-Таге, надо будет открывать.

Машина тронулась. Три всадника рысью поехали следом.

Городок казался вымершим. Над пустой площадью одиноко горела лампа. В пустых бараках ютилась ночь.

— Куда это весь народ девался? — озираясь по сторонам, удивился Нусреддинов.

Урунов стегнул коня:

— Кроме небольшой охраны, никого не осталось.

Они подехали к конторе второго прорабства. Нусреддинов спешился:

— Вы, ребята, поезжайте, предупредите охрану. Пусть расставят посты и держат винтовки наготове. А я позволю по телефону, извещу Курган.

Он зажег свет, подошел к аппарату и несколько раз повертел ручку. Станция не отвечала.

— Ну и телефоны, чорт их побери! Когда нужно, разве дозвонишься!

Он покрутил ручку еще и еще. Ничего.

— Не работает, что ли?

За окном, невдалеке раздался выстрел. Один, два, еще два. Нусреддинов кинулся в дверь и уже сидел в седле. Комсомольцев перед канцелярией не было. Он снял винтовку, щелкнул затвором и, ударив коня каблуками, поскакал туда, откуда густо, как дождь по тодевой крыше, забарабанили выстрелы.

Из переулка навстречу проскакала лошадь Зулеинова, потом незнакомый всадник без шапки, с лицом, рассеченным, как арбуз, локким сабельным ударом. За всадником с гиком и воем неслась орава джигитов с занесенными над головой клинками. Две пули, одна за другой, просвистели, не задевая Нусреддинова. Лошадь стала на дыбы и метнулась в сторону. Нусреддинов свободной рукой вцепился в повод, но не смог осадить коня. Лошадь, храпя, неслась вскачь, закинув голову на спину. Позади, как эхо, гудел тяжелый топот. Керим рванул повод влево и вскинул винтовку для выстрела. Мимо, задевая его коленом, проскакал Урунов с перекинутым через седло Зулеиновым.

— В Курган! В Курган! — пролетая, крикнул Урунов. — Провода пережжены!

Керим постепенно овладел конем и перевел его на рысь. Из городка долетал еще топот и гам, но выстрелов не было слышно.

Нусреддинов попробовал собрать всполошенные мысли:

«Охрану очевидно зарубили, иначе было бы слышно перестрелку. Да и сколько их могло быть, всей охраны? Налета никто здесь не ожидал. Ах, чорт! если бы приехать на десять минут раньше! У них кони оказались лучше наших. Надо скакать в Курган, вызвать отряд. Кто же там остался, на головном? Ах, Кларк! Ай, ай, ай!»

Нусреддинов машинально приостановил коня.

«А я-то тут при чем? Что я ему, в няньки нанимался? Зачем его сюда чорт принес? Сидел бы себе с гостями... Все-таки неприятно: убьют...»

— Надо ехать обратно, — сказал он вслух, нето себе, нето лошади. — Это подлость.

Он повернул коня и медленно поехал в городок. Лошадь шла неохотно. Он больно ударил ее каблуками. Какой-то голос в нем самом бунтовался и кричал, что ехать не надо, но Керим знал уже, что поедет непременно.

Доехав до механических мастерских, он слез с коня, привязал его к изгороди и стал пешком продвигаться вдоль стен. Он услышал вдруг шум мотора и новую пальбу. Свет автомобильных фар осветил его и вытолкнул из темноты. Мимо, задевая его крылом, пролетела машина Кларка и, круто повернув за угол, умчалась в степь. Керим прилип к стене. От внезапного тяжелого удара прикладом он пошатнулся и упал лицом в пыль. Его подхватили и поставили на ноги. Он рванулся от боли в вывороченных руках, почувствовал на губах холодок револьверного дула и зажмурил глаза. Выстрела не последовало.

— Это мусульманин, — сказал кто-то над его ухом по-таджикски. — Подожди, не трожь! Он нам покажет, как открыть воду.

Его толкнули прикладом в спину и поволокли вдоль барачков. Нусреддинов понял, что волокут его к головному сооружению.

У головного толпилось десятка два вооруженных бородачей в афганских чалмах. Подошел одноглазый, в сером ишанском халате:

— Таджик? Узбек?

— Таджик, — сказал Нусреддинов. Он с первого же взгляда узнал в одноглазом Ходжиярова.

— Где ключи от воды? — спросил ишан по-таджикски.

Нусреддинов молча смотрел на одноглазого.

— Отвечай, когда спрашивают, щенок! Шкуру сдеру! Сразу заговоришь. Где ключи?

— Не знаю.

— А ну!.. — оглянулся ишан.

Десять рук потянулось к Нусреддинову и сорвало с него рубашку.

— Домулло-ишан! — подошел к криковому молодой джигит. — Зачем нам его ключи? Отобьем замки прикладами.

Нусреддинов с тревогой обернулся. На служебном мостике несколько джигитов возилось у штурвальных колес, пытаясь рукоятками сабель отбить замки.

«Если замки сдадут, поднять щиты сумеет каждый дурак. Тогда в полчаса пустят воду в канал и затопят весь Ката-Таг» — холодея, подумал Нусреддинов.

— Замки стальные, иди отбей! — сердито буркнул ишан. — А ну, который там! Полоснуть его по спине!

Нусреддинов коротко вскрикнул. Лезвие ножа, уколотившее его в шею, острой болью скользнуло вниз.

— Где ключи?

— Командир! — с трудом разжимая зубы, сказал Нусреддинов. — Не трать напрасно времени. Замков отбивать незачем. Этими колесами щитов не поднимешь. Эти машины только закрывают воду. Для того, чтобы ее открыть, есть другие машины — с той стороны, внизу.

— Где внизу? — недоверчиво покопился одноглазый.

— Надо пройти через мостик, а потом сойти вниз. Если отпустите мне руки, я поведу.

— Веди!

Нусреддинов вошел на мостик. Он шел медленно, притворяясь, что хромает, и с трудом волочил ногу. Он знал хорошо, что внизу никаких машин нет. В лучшем случае он мог выторговать пять, ну, десять минут. Он понадеялся

в душе, что по дороге придумает еще что-нибудь, какую-нибудь неожиданную спасительную уловку, но ничего хитрее придумать не мог. Пока дойдут, пока будут искать внизу, — десять минут. Потом станут отбивать замки — тоже минут десять, не меньше. Если отобьют, поднятие щитов займет двадцать, двадцать пять минут. К тому времени, может быть, подоспеют из Кургана.

По левую руку, внизу, kloкотал Вахш.

«Если б оттолкнуть этого бородача и прыгнуть вниз, можно бы выбраться на мель. Плаваю хорошо. Переплывал. Будут стрелять, — темно, не попадут... Но тогда прямо пойдут отбивать замки. Нет, нельзя! От замков надо их отвлечь во что бы то ни стало. Водить, куда удастся. Попробую идти еще медленнее...»

— Ты что, уснул? Я тебя живо выучу ходить!

Лезвие ножа опять коснулось спины.

— Я быстрее не могу. Нога болит. Будешь резать, сяду и не пойду никуда.

— Взять его подмышки!

Над головой густо мерцали звезды. Невдалеке, по ту сторону Вахша, загудела автомобильная сирена. Автомобиль полз по скату, подобный большой жу-желище, шевеля двумя светящимися усами фар.

«А ведь я иду наверное в последний раз... Люди, едущие в той машине, через час будут в Кургане. Они, должно быть, видят оттуда вот этот фонарь. И не знают, что под этим фонарем убивают сейчас человека. Крикнуть? Разве голос долетит через Вахш? Не услышат... Мостик кончился. Теперь вниз...»

— Сюда. Пустите меня вперед.

— Где же тут машины?

— Еще ниже.

— Да он смеется, а мы ходим за ним, как дураки!

— Где машины?!

Он стоял уже внизу, у самых щитов. Вести дальше было некуда. Нусреддинов указал на щиты:

— Вот здесь. Надо поднять.

— Как поднять?

— Руками.

— Ты что? Шутки?

Цепкие пальцы вонзились в ухо Нусреддинова. Острая боль полоснула у самого черепа. Что-то горячее и жидкое плеснуло по щеке.

— А ну! Огрезь ему заодно и то ухо.

Его подхватили и втащили обратно на мостик. Он не видел уже ничего. Большие красные круги вращались перед глазами.

— Ишан! Ишан! Тут есть другой! Он знает!

Нусреддинов открыл глаза. Он увидел близко, совсем близко человека, поддерживаемого двумя джигитами. У человека не было носа, из оскаленного рта торчал единственный уцелевший зуб. На голове человека смешно топорщился белый хлопковый пух.

— Ключи в конторке. Ведите, покажу, — прошепелявил беззубым кровавым ртом белобрысый.

— Гальцев! — хрипло позвал Нусреддинов. — Гальцев! Не смей!

Гальцев поднял на Керима замученные, налитые кровью глаза, окаймленные белесыми ресницами.

— Не могу... Больше не могу...

Его оттащили в сторону:

— Веди!

— Гальцев! Гальцев! — давась чем-то густым и приторным, крикнул вдогонку Нусреддинов. Он рванулся от страшной боли, упал лицом на холодный бетон и так уже остался лежать.

Ишан, скрестив руки, ждал на мостике. Замки, сколько ни возились с ними джигиты, не поддавались ни но-жу, ни прикладу.

Минут через десять вернулись два джигита, таща под руки Гальцева. В руке у одного из джигитов позванивала связка ключей. У первого штурвального колеса джигиты бросили Гальцева и взялись открывать замки. Гальцев, лежа на полу, смотрел на них снизу ополоумевшими глазами. Он приподнялся на локте и натолкнулся на что-то жесткое и круглое. Это была голова Нусреддинова, страшная, совершенно круглая голова с отрезанными ушами и носом. Гальцев судорожно отдернул руку. Джигит все еще возился у зам-

ков, — никак не мог подобрать подходящего ключа.

Гальцев поднялся на колени:

— Давай, ты не умеешь, я открою, — сказал он хрипло, протягивая руку за ключами.

В кабинете Комаренки тарыхтела пишущая машинка. Прыщеватый юноша в форме пограничника корявыми пальцами старательно вкочивал в бумагу головки полустертых букв. В окнах стоял рассвет. Ночь густела еще в граненых кубах чермыльниц, лепилась запоздалой тенью к жобуре комаренковского маузера. Желтая груша электрической лампочки, покачиваясь, плыла среди комнаты в падмылках табачного дыма.

Комаренко извлек из папки несколько исписанных листков, задвинул ящик стола и, развернув листки, продолжал прерванное путешествие по комнате.

— Написали? Приготовьте сразу бумагу, чтобы потом не останавливаться. К семи часам утра надо эту записку закончить и отправить. На чем мы остановились? Да, да, на истории с фалангами. Прочтите еще раз последнюю фразу.

— «Во-первых: сам тот факт, что в осуществление предыдущих угроз на американцев в день первого мая не было произведено никакого покушения, а вместо этого обоим им подбросили по спичечной коробке с фалангой, убедил меня, что автор анонимных записок не преследует террористических целей, а желает лишь во что бы то ни стало запугать иностранцев и заставить их покинуть строительство...»

— Так. Пишите дальше:

«Во-вторых: случай этот убедил меня окончательно, что автором анонимных записок является не таджик, а несомненно европеец. Ни один таджик, желая устранить мешающего ему врага, не прибегает к такого рода экзотическим и лжетуземным методам расправы. Фаланги среди туземного населения вовсе не пользуются славой опасных насекомых. Таджик значительно больше боится обычного скорпиона, укусы которого во

много раз болезненнее. Легенда о смертельности укуса фаланги выдумана самими же европейцами. Источником ее вернее всего является неясная характеристика *galeodes v rancoides*, которую мы находим не только в русской, но и заграничных энциклопедиях, оставляющих вопрос о ядовитости фаланг открытым. Факт остается фактом, что в отличие от местного населения все приезжие европейцы — русские и не русские — считают фалангу насекомым ядовитым, наподобие туркменистанского каракурта, и в арсенале их ограниченных представлений о Средней Азии фаланга на ряду с тигром играет роль неотъемлемых особенностей Таджикистана. Человек, подбросивший американцам коробки, был поэтому несомненно европейцем, к тому же человеком довольно культурным, хорошим психологом, прекрасно знающим, какими ужасами легче всего запугать доверчивого приезжего.

Рассматривая в лупу оба экземпляра, я обратил внимание на довольно необычное обстоятельство: одна из фаланг была раздавлена очевидно совсем недавно, в то время как другая успела уже немного засохнуть. По заверению американцев оба насекомых были ими раздавлены всего час тому назад. Возникло несколько странное предположение, что один из американцев раздавил фалангу, убитую уже раньше. Не будучи специалистом в области зоологии и опасаясь допустить ошибку, я вызвал в качестве эксперта естественницу из соседнего совхоза, которая полностью подтвердила мои наблюдения. Поскольку фалангу в комнате инженера Кларка убила собственноручно его переводчица, комсомолка Полозова, в то время как фалангу в комнате Мурри она застала уже убитой, оставалось предположить, что инженер Мурри убил фалангу, убитую до него. Тем самым заверения Мурри в том, что раздавленное им насекомое прыгало и даже норовило его укусить, не могли быть не чем иным, как только ложным показанием.

На основании вышеизложенного у меня зародилось подозрение, что ав-

тором всей инсценировки является не кто иной, как сам инженер Мурри, подбросивший живую фалангу своему коллеге Кларку и, для полного алиби, разыгравший у себя на квартире комедию. В процессе следствия я обнаружил, что Мурри действительно в упомянутый день навещал с утра Кларка и мог незаметно оставить у него на столе спичечную коробку. Проверая вспять цепь фактов, я пришел к заключению, что очевидно и все предыдущие угрожающие записки попадали в комнаты Кларка и Баркера именно таким, а не иным путем.

Вывод из этого мог быть один: инженер Мурри по каким-то загадочным соображениям хочет во что бы то ни стало освободиться от присутствия на строительстве двух своих американских коллег. В отношении Баркера это удалось ему без большого труда, в отношении же Кларка он, видимо, потерпел неудачу.

Я развернул за инженером Мурри самое пристальное наблюдение, однако ничего подозрительного не установил, за исключением разве его частых поездок верхом на охоту, затягивавшихся иногда до поздней ночи. Следующим шагом, которое заставило меня еще внимательнее присмотреться к работе инженера Мурри, было нашумевшее дело Уртабаева. Как известно, первым обвинением, предъявленным Уртабаеву, было обвинение в самовольной переброске собственным ходом десятка экскаваторов с пристани на головной участок вопреки протесту представителя фирмы Бьюсайрус, инженера Баркера. Так как Уртабаев утверждал, что действовал с согласия Баркера, — сам же Баркер уехал к тому времени в Америку, — единственным свидетелем, выступавшим против Уртабаева, был инженер Мурри. Именно этот факт заставил меня отнестись крайне осторожно ко всему делу Уртабаева. К сожалению, дальнейшие факторы, усложнившие это дело, значительно затормозили его раскрытие.

Впоследствии, когда уже удалось вскрыть ложный характер доноса и разоблачить Ходжиярова, связь между

обвинением Уртабаева в незаконной переброске экскаваторов и другими обвинениями стала для меня неоспоримой. Прежде всего в процессе дальнейшего строительства выявился на практике, что переброска экскаваторов самоходом, даже на довольно значительное расстояние, не влечет за собой таких катастрофических последствий, какими от имени Баркера пугал управление инженер Мурри. Во-вторых: отказ от переброски самоходом и перевозка механизмов тракторами отразились на строительстве весьма плачевно. Во время перевозки подверглось поломке большинство тракторов и затерялось много необходимых частей от экскаваторов. Уличить инженера Мурри в ложном обвинении все же не представлялось возможным. Единственный человек, который мог бы это сделать, инженер Баркер, находился в Америке и не отвечал ни на какие запросы строительства. Я склонен предполагать, что Мурри предупредил его письмом. Возможно, он запугал Баркера, что эксперимент Уртабаева окончился катастрофой, и Баркер, опасаясь последствий и осложнений с фирмой, предпочел кануть в воду.

Не имея в руках никаких прямых доказательств, я тем не менее склонялся к подозрению, что инженер Мурри приехал сюда с прямым заданием разлаживать работу нашего строительства. С этой целью:

а) Инженер Мурри постарался убрать со строительства Баркера, прежде чем тот успел закончить монтаж экскаваторов. При отсутствии на строительстве специалистов экскаваторного дела монтаж сложных американских механизмов без представителя фирмы должен был, по очевидным расчетам Мурри, или быть отсрочен до вызова нового представителя (что затормозило бы строительство на несколько месяцев), или быть произведен собственными силами, по всем данным, неудачно (что, кроме задержки строительства, вызвало бы еще конфликт с фирмой Бьюсайрус).

б) Инженер Мурри пытался устранить со строительства инженера Кларка. С одной стороны, это должно бы-

ло ослабить руководящие инженерные кадры и затруднить дальнейший вызов на здешнее строительство иностранных специалистов; с другой — это должно было создать Мурри полную свободу действий как единственному иностранному специалисту на строительстве.

в) Инженер Мурри пытался (очевидно в союзе с Ходжияровым) опорочить и устранить со строительства одного из лучших местных инженеров-коммунистов, Уртабаева (что ему совершенно случайно не удалось), и одновременно разладить весь тракторный парк строительства, а также ряд крупных механизмов (что, к сожалению, удалось ему вполне).

Факт несомненной связи между Мурри и Ходжияровым в деле Уртабаева указывал на неведомые нити, связывающие инженера Мурри с Афганистаном, и натолкнул меня на предположение относительно причастности Мурри к английской Интеллидженс сервис.

После долгих колебаний, отдавая себе отчет во всей серьезности дела, я решил в отсутствие инженера Мурри произвести у него на квартире обыск. В результате обыска в чемодане Мурри было обнаружено двойное дно, а в нем — значительная сумма денег, точно: 70.000 рублей кредитными билетами по десять червонцев. Наличие такой большой суммы у рядового американского инженера, не являясь само по себе достаточной уликой, подтверждало тем не менее обоснованность моих подозрений.

Среди вещей инженера Мурри привлек мое внимание старый план города Ташкента, издания 1916 года. Планов этого издания в продаже у нас давным-давно не имеется. По анкетным сведениям, инженер Мурри никогда раньше на территории бывшей России не пребывал. Оставалось предположить, что если он лично и не был в годы нашей революции в Ташкенте, то во всяком случае получил этот план от лица, которое в Ташкенте в те годы пребывало.

Рассматривая план, я не обнаружил на нем никаких пометок, за исключением двух стертых крестиков каранда-

шом, которыми отмечены были улицы Иканская и Московская. Не придавая особого значения этим знакам, я все же срисовал в записную книжку расположение обеих улиц и записал их названия.

Несколько недель спустя, приехав по служебным делам в Ташкент, я попросил архивный отдел ПП подобрать мне список лиц английского или американского происхождения, пребывавших в Ташкенте в 1916—17 и последующих годах, вплоть до 20-го. Я надеялся таким путем восстановить круг возможных знакомств Мурри. Рассматривая приготовленный список, состоявший, если не ошибаюсь, из восемнадцати лиц, а также относящиеся к этим лицам материалы, я остановился на фамилии полковника Бэйли, пребывавшего в Ташкенте в 1918 году, с августа по ноябрь, в составе так называемой «английской миссии». Остановился же я именно на нем, так как, странным стечением обстоятельств, в материалах значилось, что поименованный полковник Бэйли проживал в Ташкенте сначала в гостинице «Регина» по улице Иканской, а потом — на частной квартире у гр. Гилода, по улице Московской, дом 44. Оба адреса, как я легко смог проверить, заглянув в записную книжку, совпадали с местоположениями, отмеченными на плане города Ташкента, принадлежавшем инженеру Мурри.

Вывод отсюда мог быть двоякий: либо — это простая случайность, либо план гор. Ташкента, обнаруженный у Мурри, принадлежал раньше полковнику Бэйли, пометившему на нем для памяти место своего жительства. Во втором случае план этот мог попасть к Мурри двумя путями: он мог его, допустим, купить у букиниста или же мог получить в подарок от самого полковника Бэйли. И в том, и в другом случае весьма сомнительно, чтобы план приехал к нему в Америку. Вероятнее, что инженер Мурри вывез его из Англии.

Я естественно заинтересовался личностью полковника Бэйли и просмотрел все материалы, относящиеся к его пре-

быванию в Ташкенте. Материалы эти сосредоточены в трех основных местах: в архиве ЧК за 1918 г., в ташкентском представительстве НКВД и в архивах САНИИР (Среднеазиатского научно-исследовательского института истории революции). Кроме того, о полковнике Бэйли имеется маленькая печатная литература. О миссии Бэйли пишет подробно в своей книге «В сердце Азии» (на английском языке) бывший английский консул в Кашгарии, Эсертон. На заседании Королевского географического общества докладывал о ней один из участников миссии, капитан Л. В. С. Блэкер. Писал о ней и сам полковник Бэйли в «Джиографикал джорналь». Впрочем «научные» изыскания участников миссии не представляют особого интереса, тем более, что и характер самой миссии был далеко не научный. Кашгарский консул Эсертон пишет об этом достаточно прозрачно в своей книге:

«Хотя и не предполагалось оказать реальную военную помощь элементам, расположенным в пользу союзников, тем не менее нужна была небольшая английская военная организация, от которой исходили бы щупальцы, необходимые для получения информации и использования всех благоприятных обстоятельств. Поэтому английское правительство решило послать в Русский Туркестан специальную миссию... Миссия имела задание связать английское правительство с советской властью, исследовать в числе прочих вопросов хлопковый вопрос, а также держать правительство в курсе тогдашнего положения. Нам предстояло проникнуть в Ташкент, в центр советского фанатизма (в Средней Азии), откуда должно было идти осуществление его планов... Нам предстояло изучить на месте положение и исследовать вопросы, затрагивавшие безопасность и благополучие Британской империи... Наконец нам предстояло создать систему пропаганды и наладить ее успешную работу...»

В чем должно было состоять например «исследование хлопкового вопроса»,

Эсертон расшифровывает в другом месте:

«В 1918 г. в Средней Азии находились большие запасы хлопка... Судьба этих запасов имела большое значение для коалиционного военного кабинета. Поэтому я получил от нашего правительства задания сообщить о возможности перевозки всего запаса в Кашгар. Это было колоссальное предприятие. Потребовалось бы 750.000 вьючных животных для перевозки хлопка, находившегося, по моим подсчетам, в Туркестане (как это выяснилось в результате совещания с лучшими местными авторитетами) ...»

Миссия приехала в Ташкент 10 августа 1918 г. в составе полковника Ф. М. Бэйли и капитана Л. В. С. Блэкера, сопровождаемых четырьмя слугами-индусами. Ни у Бэйли, ни у Блэкера не оказалось никаких документов, подтверждающих официальный характер миссии. Несколькими днями позже прибыл в Ташкент сэр Джордж Маккартней, английский консул в Кашгарии (смененный на этом посту Эсертоном), и отрекомендовал Бэйли и Блэкера Комиссариату иностранных дел Туркестанской Республики как дипломатических представителей англо-индийского правительства. Поскольку Маккартней не вручил верительных грамот, Коминдел снесся по радио с индийским правительством, спрашивая у него подтверждения полномочий всей тройки. Ответ был получен довольно сбивчивый и невнятный.

Один из работников кашгарского отделения Русско-Азиатского банка в письмах, адресованных председателю ЦИК Туркестана, левому эсеру Успенскому, предупреждал об авантюристском характере миссии. Несмотря на это, Бэйли и Блэкер были приняты в качестве официальных дипломатических лиц. Происходило все это в период, когда английские войска занимали уже Архангельск и Мурманск и дрались с Красной армией на закаспийском фронте. Английские агенты в Ташкенте разыгрывали наивных, утверждали, что все это — простое недоразумение, и заверяли советское правительство Тур-

кестана в дружеских чувствах Бриганской империи. Наглость полковника Бэйли доходила до того, что он требовал разрешения пользоваться в своих сношениях с Кашгаром шифрованными телеграммами, в чем ему было отказано, несмотря на его обиженные протесты и настойчивую поддержку Комиссариата по иностранным делам. Роль, которую во всей авантюре Бэйли сыграли левые эсеры, свидетельствует несомненно о том, что у них были в это время особые виды на сотрудничество с агентурой английского империализма.

Ташкентская «Наша газета» от 21 августа 1918 г. поместила интервью своего сотрудника с полковником Бэйли. По заявлению Бэйли:

«... Миссия прибыла в Ташкент... с целью ознакомиться с положением дел в республике и рассеять необоснованные слухи о существующих якобы намерениях Англии вмешаться через Афганистан во внутренние дела Туркестанской республики. Миссия протестует против этих слухов, исходящих, по ее мнению, из немецких источников...»

О действительных целях миссии более откровенно сообщает генерал-майор И. М. Зайцев, бывший командующий войсками временного правительства в Хиве, впоследствии начальник штаба контрреволюционной туркестанской военной организации и начальник штаба войск ген. Дутова, бежавший вместе с ним в Китай, в 1924 г. подавший прошение о помиловании во ВЦИК и вернувшийся в СССР. Вот что говорит в своих мемуарах¹⁾ ген. Зайцев о миссии полковника Бэйли:

«Истинной целью и намерениями миссии были: подготовить и организовать вооруженное восстание в Туркестане против советской власти, снабжать повстанческие отряды деньгами и оружием из ближайших к Туркестану английских баз (Мешед, Кашгар, Афганистан). Миссия имела широкие права и полномочия по осуществлению этих задач... Антисо-

ветские организации, в том числе туркестанская военная организация и мусульманская «Улема», не преминули конечно войти в связь с великобританской миссией...»

Подробные сведения о деятельности миссии сообщает агент Интеллидженс сервис, активный участник контрреволюционной военной организации, б. преподаватель французского языка в Ташкенте, И. Кастанье, в своей книге «Басмачи» (на французском языке), выпущенной в Париже (изд. Эрнст Леру):

«Антибольшевистская организация Ташкента, усиленная этой поддержкой, вошла в переговоры с некоторыми влиятельными туземцами Ташкента и через них завязала связь с басмаческими начальниками. Эти переговоры, в которых приняло участие английское представительство, происходили в сентябре 1918 г. Они были основаны на следующих обязательствах: 1) басмаческие отряды поступают на службу антибольшевистской организации Ташкента; 2) организация обязана снабжать басмачей провиантом; 3) представители английского правительства обязаны снабжать антибольшевистские организации деньгами, оружием и припасами. Союз был заключен. Связь была налажена как с басмаческими организациями, так и с мистером Эсертоном, английским консулом в Кашгарии. Такого же рода связь, через посылаемых агентов, была налажена и с белогвардейской армией в Сибири и Оренбурге, откуда было получено предложение организовать восточную конфедерацию, в которую вошел бы и Туркестан...»

Сведения Кастанье полностью совпадают с воспоминаниями ген. Зайцева, который пополняет их рядом интересных подробностей:

«Представители английского правительства, или великобританская военная миссия в Ташкенте, подтвердили свое прежнее соглашение о снабжении деньгами, оружием и проч. и при новой комбинации вооруженных сил. Базами для снабжения ферган-

¹⁾ «Из недавнего прошлого», журнал «Соловецкие острова», № 4, 1926 г.

ского повстанческого отряда и направлением для доставки снабжения были намечены: а) из Читрала-Гильгита через перевал Мустак в Кашгар, отсюда через Иркештам и Ош, б) другое — из Пешевара через Хайберский перевал, далее через Афганистан и Бухару. Количество всех видов снабжения и денежных средств не было определено какой-нибудь нормой. По заявлению английских представителей, все будет отпущено по мере надобности в достаточном количестве, особенно когда будут пробиты сквозные пути на Мешед и Афганистан... Денежные средства будут отпускатся из Кашгара, через местного английского консула, из кашгарских банков».

О том, на каких условиях английская миссия брала на себя все изложенные обязательства, рассказал на допросе Павел Степанович Назаров, кандидат на пост премьер-министра после свержения советской власти в Туркестане, арестованный в момент раскрытия органами ЧК туркестанской военной организации:

«Вновь созданное государственное образование, или Туркестанская демократическая республика, будет находиться под исключительным влиянием Англии, в таких же взаимоотношениях, как африканские доминионы ее, южноафриканские республики (Трансвааль и Оранжевая). В возмещение всех произведенных расходов английскому правительству Туркестанская демократическая республика должна предоставить ряд концессий на разработку природных богатств края».

Показания Назарова полностью подтверждает и Кастанье:

«...После низвержения советской власти будет образована автономная республика под непосредственным влиянием Англии. Кроме того, было обещано на словах начальниками антисоветских организаций передать Туркестан под английский протекторат на 55 лет».

28 сентября 1918 года два члена миссии, Маккартней и Блэкер, уехали

обратно в Кашгар. В Ташкенте остался один Бэйли со своим слугою, индусом Хан-Назаром Ифтикором. Он ухитрился продержаться в Ташкенте на полуофициальном положении до 1 ноября. После раскрытия туркестанской военной организации он был уличен ЧК в инспирировании заговора и подвергнут домашнему аресту, затем по ходатайству Коминдела освобожден. На предмет его ареста решено было запросить по радио Москву. Когда из Москвы пришло распоряжение о немедленном интернировании, полковника Бэйли не оказалось. Полученная 8 ноября телеграмма Эсертон, любезно справлявшегося из Кашгара о состоянии здоровья Бэйли, не застала его уже в Ташкенте. Бэйли пробрался в Фергану, а затем в Бухару, к эмиру, откуда через своих агентов, белых офицеров, продолжал руководить контрреволюционным движением в Туркестане, в частности осиповским восстанием.

Я позволил себе привести все эти значительные выдержки отнюдь не из простой исторической любознательности. Просматривая материалы, я понял с первых же строк, что установление связи между полковником Бэйли и инженером Мурри — равнозначно установлению связи Мурри с английской Интеллидженс сервис. К тому же масштабы деятельности Бэйли говорили бы о том, что и в данном случае мы имеем дело не с простым контрразведчиком, а с авантюристом крупного пошиба.

Среди разрозненных архивных материалов я натолкнулся на фотографическую карточку Бэйли. Я не стану утверждать, что между изображенным на ней военным и инженером Мурри есть разительное сходство. Карточка Бэйли плохая, любительская, к тому же снимок сделан пятнадцать с лишним лет тому назад. Однако наличие некоторого сходства между чертами лица полковника Бэйли и инженера Мурри — несомненно. Ошеломленный этим открытием, я стал расспрашивать, нет ли в Ташкенте кого-нибудь из старых чекистов, работавших здесь в 1918 г. Мне удалось разыскать двух чекистов,

присутствовавших при аресте полковника Бэйли, товарищей А. С. и М. В. На мой вопрос, не было ли у полковника Бэйли каких-либо особых примет, товарищ А. С. вспомнил, что полковник Бэйли был левшой, при чем тщательно это скрывал. Можно было это заметить только в процессе бритья, — брился он левой рукой. Товарищ М. В., наблюдавший за Бэйли неоднократно на улице, вспомнил, что, гуляя в сопровождении женщины, Бэйли не ходил, как все мужчины, по левую сторону дамы, а всегда — со стороны мостовой. Впрочем, по заверению М. В., эта привычка присуща вообще офицерам английской армии. Никаких других отличительных примет ни А. С., ни М. В. указать мне не смогли.

Вернувшись на строительство и усилив мое наблюдение за Мурри, я в скором времени убедился, что оба признака, отмеченные ташкентскими товарищами, как характерные для Бэйли, присущи в равной мере и инженеру Мурри.

Я подумал, что предположение мое не заключает в себе в конце концов ничего невероятного. Посылая в Среднюю Азию своего агента, Интеллидженс сервис, естественно, выбрала для этой цели человека, знающего местный язык, местные условия и справившегося уже раз довольно неплохо с возложенной на него миссией. Пятнадцатилетний промежуток времени, отделяющий второй визит от первого, давал полковнику Бэйли относительную гарантию безопасности в смысле возможных встреч со старыми знакомыми.

Я выяснил при случае у Кларка, знаком ли он с Мурри по Америке и был ли знаком с Мурри инженер Баркер, и узнал, что ни Кларк, ни Баркер раньше Мурри не знали; встретились с ним впервые уже в СССР. Не будучи все же до конца уверен в правильности моего открытия, я решил не сообщать о нем никому, пока не соберу вещественных доказательств.

Во время вторичного обыска, поведенного на квартире у инженера Мурри, месяц спустя после первого, я убедился, что денег в чемодане Мурри

осталось только 60.000. В течение четырех недель Мурри истратил 10.000 рублей, при чем истратил их на месте, не уезжая со строительства, так как никаких переводов ни по почте, ни по телеграфу от него за это время не поступало. Желая проверить, в чьи руки попадают эти деньги, я пометил каждую кредитку в отдельности. Было установлено, что несколько помеченных мною сторублевок разменял заведующий механизацией инженер Крушоный. (Относительно вредительской работы инженера Крушого и связанных с ним лиц см. дело № 276.)

За несколько дней до взрыва перемычки ко мне явился начальник взрывпрома, инженер Табукашвили, передал тридцать тысяч рублей помеченными мною кредитными билетами и сообщил, что деньги эти вручены ему от неизвестного лица инженером Крушоным в вознаграждение за заведомо неудачный взрыв перемычки.

Арестованный мною инженер Крушоный (протокол показаний которого прилагаю), прижатый к стенке неопровержимыми уликами, признался, что с инженером Мурри сблизился восемь месяцев тому назад. В частых беседах Крушоный не скрывал от Мурри своих антисоветских настроений, при чем, как он сам говорит, Мурри явно наводил его на такого рода излияния. Мурри предложил Крушоному за определенное вознаграждение «немножко попридержать строительство», которое, по его заверению, все равно к сроку никоим образом закончено не будет. Он дал понять Крушоному, что существует организация, которая непрочь заплатит большие деньги за то, чтобы строительство в течение ближайших лет не было закончено. Какая именно организация, Крушоный не спрашивал. Зная, что имеет дело с американцем, он понял, что речь идет очевидно о какой-нибудь американской хлопковой компании, которой не на-руку освобождение СССР от импорта американского волокна. Крушоный попросил двадцать четыре часа на размышление и на следующий день изъявил свое согласие. Было установлено, что за свои услуги

Крушный будет получать вознаграждение, так сказать, сдельно, в зависимости от рискованности каждой отдельной операции. Инженер Мурри предложил Крушону подобрать себе в различных секторах строительства небольшую группу надежных и достаточно антисоветски настроенных лиц с тем, чтобы воздействовать через них на равномерное торможение работ во всех областях строительства. На предварительные расходы, связанные с вербовкой новых «сотрудников», Крушный получил от Мурри двадцать пять тысяч рублей. В задушевных беседах Мурри неоднократно инструктировал Крушона относительно методов «работы», резко критикуя устаревшие методы Немировского.

О цепи вредительских актов инженера Крушона, направленных на систематический срыв строительства, изложено подробно в деле № 276, поэтому нет надобности останавливаться на них здесь. Достаточно будет упомянуть в этом контексте лишь об одном сообщнике Крушона, подрывнике Парфенове Михаиле Григорьевиче. Парфенов — классический тип люмпен-пролетария, потомственный пьяница — в феврале месяце был уволен с работы на втором прорабстве за прогулы и нарушение труддисциплины. Этого-то Парфенова до его увольнения использовывал для своих целей инженер Крушный через посредство десятника Пономарника. Подбавляя систематически в заряды лишнее количество аммонала и увеличивая силу взрыва, Парфенов вызывал таким образом искусственное оползание берегов канала. Более чем возможно, что именно этими процедурами вызван был и обвал на скале, повлекший за собой человеческие жертвы и оттянувший почти на месяц окончание строительства. Выгнанный из взрывпрома Парфенов устроился ручником на пятом (ката-тагском) прорабстве, где и был использован инженером Крушным и Мурри для последнего вредительского акта, о чем подробнее дальше.

Убедившись, что, несмотря на все ухищрения Крушона и его сподвижников, строительство будет закончено к

сроку, инженер Мурри (он же полковник Бэйли) решил испробовать последнее средство. Он велел Крушону попытаться подкупить начальника взрывпрома, инженера Табукашвили, и уговорить его повредить при взрыве перемычки головное сооружение. Не доверяя ередительской лойальности Табукашвили и опасаясь, как бы Табукашвили в случае ареста не выдал своего сообщника. Мурри детально проинструктировал Крушона, как ему держаться на допросе. Одновременно, желая застраховать себя и, так или иначе, сорвать готовое строительство, Мурри через Крушона предложил Парфенову пять тысяч рублей за взрыв мыса горы Ката-Таг. Взрыв этот должен был быть произведен в момент пуска воды в канал несколькими небольшими зарядами так, чтобы вызванный им обвал можно было приписать воздействию воды, подмывшей неустойчивый грунт.

Возложенное на него задание Парфенов выполнил без особого труда. Как ручник ката-тагского прорабства он, не привлекая к себе ничьего внимания, провел ночью подкоп и взорвал в указанное Крушным время мыс горы на упомянутом участке. (Подробности в деле № 277.)

По словам Крушона, и Мурри, и он сам считались с возможностью, что Табукашвили в последнюю минуту струсит и не решится повредить головного сооружения. На этот случай Мурри придумал вариант с Ката-Тагом. По расчетам Мурри, которых он не скрывал от Крушона, обвал Ката-Тага и затопление расположенных в низине колхозов должны были вызвать панику среди переселенцев и открыть широкую дорогу басмаческому налету, ожидаемому с той стороны Пянджа.

Ишан Халик (Ходжияров), главарь ликвидированного нами басмаческого налета, окруженный вчера нашими доброотрядами и взятый в плен после непродолжительной стычки, сознался на допросе, что с полковником Бэйли он знаком еще с 1919 года по Бухаре. О приезде Бэйли на строительство Халику (Ходжиярову) было своевременно

сообщено из Афганистана, при чем ему было предложено все дальнейшие действия согласовывать непосредственно с Бэйли. Для установления с ним прямой связи Ходжияров и поступил работать на строительство. На мой вопрос, каким образом, не зная английского языка, он сносился с Бэйли, ишан заявил, что Мурри-Бэйли говорит в совершенстве и по-русски, и по-фарсидски.

Бежав в Афганистан после неудачной истории с доносом на Уртабаева, ишан Халик (Ходжияров) продолжал поддерживать с Мурри через своих эмиссаров самую тесную связь. Срок и стратегический план налета были согласованы с Мурри, и вся подготовка к налету проводилась по его прямым указаниям.

Сегодня, в двенадцать часов ночи, узнав об аресте Крушоного и разгроме банд ишана Халика, Мурри пытался спастись бегством к афганской границе. Арестованный на третьем участке и подвергнутый допросу, Мурри-Бэйли виновным себя ни в чем не признал, заявил, что никакого другого языка, кроме английского, не знает и отказался дать какие-либо показания. Во время очной ставки с Крушоным и ишаном Халиком Мурри заявил, что речи их не понимает, об инженере Крушоном знает только, что это — начальник механизации строительства, а ишана Халика не видел никогда в глаза. Когда Мурри-Бэйли показали его собственный чемодан и остаток находящихся в нем помеченных денег, он велел передать мне через переводчика, что никаких денег в чемодане у него не было, кто их туда положил, не знает, поскольку же чемодан был вскрыт в его отсутствие, — ни за какое его содержимое он отвечать не обязан.

Прилагаю при сем подробные протоколы допросов:

1. Инженера Мурри Р. (он же полковник Бэйли Ф. М.).
2. Инженера Крушоного Ю. Д.
3. Ишана Халика Ваяд-и-Умар (он же Иса Ходжияров).
4. Подрывника Парфенова М. Г.
5. Десятника Пономарника А. Т.»

*

Утром, когда со свежесыпанной дамбы Ката-Тага убрали театральные рефлектора и отехали последние брички, груженные лопатами и кетменями, Морозов, напрасно дожидавшийся пуска воды, увидел издали первую легковую машину.

— Чего ж они воды не дают? — встретил он выскочившего из машины Синецына. — Девять часов! Того гляди, гости поедут! У нас уже два часа как все готово. Что они там, уснули?

— Ты разве ничего не знаешь? — как-то странно посмотрел на него Синецын.

Морозов только сейчас заметил, что Синецын со вчерашнего дня осунулся и постарел.

— Нет, а что? Опять что-нибудь случилось?

— Ночью был налет на головное. Прорвалась банда человек в сорок. Охраны почти не было. Никто не ожидал: сто двадцать километров от границы! А тут взяли и проскочили.

— Повредили что-нибудь?

— Нет. Не успели. Продержались всего какой-нибудь час. Подоспел отряд из Кургана и взял их всех.

— Есть с нашей стороны убитые?

— Есть. Зарубили человек восемь из охраны. А двоих замучили: Нусреддинова и Гальцева.

— Что ты говоришь! Насмерть?

— Да. Зверски... — голос у Синецына дрогнул.

— Как же все это произошло? — бледная, пробормотал Морозов.

— Басмачи хотели открыть шлюзы и пустить воду, чтобы затопить тут всю низину. На штурвальных колесах были замки. Комендант убежал. Отбить замков сначала не смогли. Захватили Нусреддинова и Гальцева и стали их пытаться, где ключи. Запытали насмерть.

— А воды так и не открыли?

— Под конец удалось им отбить три замка. Но тут накрыл их доброотряд из Кургана. Знаешь, кто его привел? Кларк. Ускользнул на машине из-под самого носа басмачей и предупредил Комаренку. Отряд нагрянул во-

время и взял их всех живьем. Успели поднять только первый щит и начали открывать второй.

— А-а! Вот откуда ночью у нас вода по каналу пошла! А потом вдруг перестала. Я так и не мог понять, откуда бы это.

— Да, если бы тогда сразу достала ключи и подняли все семь щитов, у вас тут от дамбы и следа бы не осталось.

— А у кого же были ключи?

— В конторке, у коменданта.

— Не нашли?

— Нет, нашли.

— Почему ж тогда не открыли?

— Комаренко тоже этим заинтересовался. Спрашивал у Ходжиярова на допросе. Ходжияров говорит, что белобрый — очевидно Гальцев — в последнюю минуту вырвал связку ключей у одного из джигитов и кинул в Вахш. Те его за это и прикончили.

Морозов провел рукой по лбу.

Синицын смотрел куда-то в сторону.

— Ну, одним словом, воду сейчас откроют... А вот, кажется, и гости, — указал он на приближавшуюся вереницу машин. — Ну, что ж, принимай гостей. Говорить им ничего не стоит. Зачем разводить панику? Подумают, у нас здесь действительно дикая Азия.

— А ты не останешься?

— Нет. Мне, понимаешь, трудно. Нусреддинова я очень любил. Это был у меня, можно сказать, почти-что сын. А теперь и его нет... Я поеду к себе...

Он пошел к машине и, стоя уже одной ногой на ступеньке, повернулся:

— А Гальцев-то, а? Сколько мы ему выговоров напришивали за все время строительства! А тут вот тебе! Оказался на деле настоящий герой. И не умри он сегодня, никто бы ведь так и не узнал... Гостям не говори. Все равно не поймут.

Машина Синицына уехала, а Морозов все еще стоял, созерцая давно растаявшую струйку бензина. Очнувшись от деликатного прикосновения чьей-то руки:

— С добрым утром, господин Морозов! — Перед ним стоял опрятно выбритый бельгийский профессор и уко-

ризованно улыбался. — А вы о нас совсем забыли.

— Что вы, что вы! — засуетился Морозов. Он хотел улыбнуться, но улыбки у него не получилось. — У нас тут просто вышла небольшая заминка, — он растерянно развел руками. — Ночью, видите ли, затерялись ключи от штурвальных колес, и нельзя было с утра открыть воду. Но сейчас уже все в порядке. А вот и вода пошла...

Москва — Возрождение — Сталинабад.
Весна — лето 1933 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

писателя Бруно Ясенского кавалера ордена Индийской империи, полковнику Ф. М. Бэйли.

Милостивый государь!

Получив предложение от одного из американских товарищей относительно перевода настоящего романа на английский, я имею все основания полагать, что роман этот, рано или поздно, попадет к вам в руки. Если вы даже и не следите за нашей советской литературой, вы вероятно попрежнему интересуетесь положением в Средней Азии, и книга о строительстве в бывшей Восточной Бухаре имеет все шансы обратиться на себя ваше внимание.

Дочитав ее до конца, вы несомненно загоритесь благородным возмущением и, быть может, захотите излить его в печати, в оскорбленном протесте против злоупотреблений вашим добрым именем. Вы, возможно, представите ряд достоверных и высокопоставленных свидетелей, которые подтвердят, что со времени вашей миссии в Туркестане в 1918 г. никогда больше ваша нога не вступала на территорию нынешнего СССР, никогда вы не арестовывались органами ОГПУ в Таджикистане и попытка отождествить вас с американским инженером Мурри является чистой вымыслом. Желаю вас избавить от ненужных хлопот, я решил присоединить к роману это письмо.

Доказательства ваши излишни. Повествование о вашем вторичном явлении в пределах Средней Азии вымышлено. Автор настоящего романа, специально интересовавшийся вашей дальнейшей карьерой, хотя и не смог проследить ее на всем ее протяжении (пути сотрудников Интеллидженс сервис несповедимы!), установил все же, что в период развертывания событий, описываемых в этом романе, вы исполняли с честью свои обязанности политического агента британского имперского правительства в Сиккиме.

Вы спросите, на каком основании, зная об этом, я присвоил ваше имя — имя частного реального лица — вымышленному герою?

Прежде всего вы несомненно недооцениваете своего значения, если продолжаете считать себя частным лицом. В силу ваших специфических незаурядных качеств, равно как и в силу событий, в которых была вам отведена немаловажная роль, вы давно перестали быть частным лицом и стали личностью исторической. Изучая на основании документов и рассказов очевидцев вашу многостороннюю деятельность на территории Туркестанской республики, я пришел к заключению, что современность оказалась по отношению к вам несправедливой. Ваша известность, ограничивающаяся узким кругом специалистов по контрразведке и историков гражданской войны в Туркестане, несоизмерима с разнообразием и классом ваших способностей. Я знаю, что организация, задания которой вы столь блестяще выполняли и продолжаете выполнять, не гонится за шумной мирской славой, вернее даже было бы сказать, тщательно ее избегает. Нельзя однако считать нормальным такого положения вещей, когда посредственности, в роде Лоуренса, пользуются незаслуженной мировой славой, в то время как о полковнике Бэйли так называемая широкая публика не знает до сих пор ровно ничего.

Итак, первое, что склонило автора этих строк вывести вас в качестве одного из персонажей настоящего романа, было законное желание сделать ваши

подвиги достоянием широкой общест-венности.

История знает о подвигах ваших соотечественников в годы гражданской войны в Баку и на дальнем Севере, но слишком мало знает об их плодотворной деятельности в Средней Азии. А ведь где, как не в нынешнем Советском Таджикистане, начавшем свое мирное строительство на шесть лет позже других союзных республик, эта плодотворная деятельность была более урожайной.

В 1931 г., присутствуя при очередном (последнем) налете и поимке Ибраима-бека, с именем Лиги наций на устах резавшего носы и уши пленным комсомольцам, я имел возможность осматривать отобранные у Ибраимовых джигитов новенькие английские винтовки. Винтовки были последнего образца, скажу прямо: винтовки были замечательные! По сегодняшний день в кружках Осоавиахима учатся из них стрельбе таджикские комсомольцы.

Ибраим-бек был плохим политиком. В своих прокламациях он говорил прямо, что идет восстанавливать власть эмира бухарского. Напуганное этой перспективой население пошло на Ибраима с палками, как ходят до сих пор в Таджикистане на кабанов. У Ибраима не было ваших дипломатических способностей, он был простак, азиат, и разговоры с умными людьми по ту сторону Пянджа ничему его не научили.

Читая сводки о его бесславном конце, вы вероятно плохо отзывались о талантах ваших коллег, тративших зря деньги и время на воспитание такого тупого ученика. Вы наверное считали, что, будь это дело поручено вам, исход его несомненно был бы другим. И, водя пальцем по карте по столь знакомым вам местам, вы с горечью думали о близорукости некоторых высокопоставленных лиц, совершающих ошибку за ошибкой и не умеющих надлежащего человека использовать на надлежащем месте.

Действительность сложилась не так, как вы это предполагали тогда, в 18-м году, созерцая седую ташкентскую пыль из окон гостиницы «Регина», из

которых тринадцатью годами позже созерцал ее и я. Жизнь не дала вам возможности осуществить на практике ваши столь богатые замыслы.

Я решил исправить ее ошибку и пойти вам навстречу. Я достал вам фальшивый паспорт, поставил на нем свою визу, посадил вас в самолет и, провезя над всем СССР, высадил в нынешнем Таджикистане. Я снабдил вас большой суммой денег, связал кое с кем из ваших старых знакомых и, отпустив вас одного, вернулся за свой письменный стол. Я не внушал вам ничего, не навязывал своих взглядов и мнений. Я окунул вас лишь в стремительный поток реальных событий и стал за вами наблюдать, как наблюдал одновременно за десятком других персонажей, отмечая графически на бумаге каждое ваше движение. Я учел ваши способности, выявившиеся столь блестяще в период первого вашего визита в Туркестане, и дал им возможность развернуться в обстановке и пределах нашего советского сегодня. Если и на этот раз они не привели к предполагаемым вами результатам, не виноваты в этом ни вы, ни я, виновата неумолимая логика нашей социалистической действительности, которой не перепрыгнешь.

Во всяком случае, я думаю, вам не за что быть на меня в обиде. Я дал вам возможность прожить безнаказанно год в нашей стране, в которую многие стремятся сейчас со всех уголков мира и в которую другим путем вам не попасть. Я дал вам возможность ознакомиться с фактическим положением вещей в Советской Азии; отсюда, из Сиккимы, вы вероятно представляли себе его немножко иначе. Провала вашей второй миссии не занесут вам в послужной список, и это нисколько не отразится на вашей дальнейшей карьере. Практическое же соприкосновение с живой действительностью и людьми страны, знакомой вам в ее средневековьи и ставшей — раньше, чем вы успели поседеть, — такой, какой она отражена в этом романе, поучительно и полезно. Вопреки теории покойного прокурора Кригера, советское среднеазиатское солнце имеет весьма целебные свойства. Оно излечивает от устаревших иллюзий, в первую очередь от вредной склонности к опасным политическим авантюрам.

Примите, милостивый государь, уверения в моем совершеннейшем почтении.

Бруно Ясенский.

Горы

Роман

В. ЗАЗУБРИН

(Продолжение ¹)

2

У деревни на людей долгая память. Она даже случайного проезжего помнит годы. Безуглого в Белых Ключах никто не забыл. В его избе перебивало все село. Народ толкся у него и в горнице, и на крыльце, и под окнами.

За день до собрания ячейки Безуглый решил скрыться от гостей, чтобы без помехи продумать свой доклад. Освободиться ему удалось только к вечеру. Он взял лампу и ушел в баню. Анна снаружи подперла за ним дверь большим камнем. Оконце она заранее заткнула тряпкой. Безуглый раскладывал на полке бумаги, пока Анна возилась за дверью. Анна ушла в избу. Безуглый услышал стук щеколды. Он в первый раз после приезда в село остался один со своими мыслями. Ему захотелось начать работу с разбора отрывочных записей, сделанных в дороге и в Белых Ключах. Он погладил шероховатый брезентовый переплет записной книжки, раскрыл ее на первой странице.

«Она безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима...»

Карлейль.

Безуглый прочел злые слова англичанина о России и не сразу вспомнил, зачем он их переписал в свой дневник. Запись была сделана в вагоне на маленьком разъезде среди ржиных весенних

земель Барабы. Поезд простоял там шесть часов — впереди случилось крушение. Безуглый налегке ушел в степь. Он не увидел на ней ни дыма, ни крыши. До самого горизонта густыми лошадиными гривами колебался на ветру желтый камыш. На озерах синели толстые льды. По берегам татарскими, кривыми ножами скрипела ржавая прошлогодняя осока. Степь молчала, как кладбище. Безуглый неосторожно зашел очень далеко, и весна посмеялась над ним. Она отстегала его крупным, косым дождем, облепила мокрым снегом. Он побежал к поезду, не разбирая дороги, начерпал полные ботинки воды. На площадке вагона солнце встретило Безуглого на смешливым блеском поручней. Теплый ветер из Казакстана сорвал с него фуражку. Безуглый был обижен на весь мир — в его белье не оказалось ни одной сухой нитки. Его особенно раздражало спокойствие главного кондуктора, с которым тот односложно мычал в ответ на нетерпеливые вопросы о времени отхода поезда. Он тогда именно вспомнил суровые строки Карлейля.

Безуглый задумался. СССР — конечно не Россия. Однако молодая страна еще зияла огромными пустотами необжитых пространств. Из Москвы до Белых Ключей Безуглый ехал трое с половиной суток поездом, почти столько же парходом и четыре дня лошадыми. До Урала он видел небольшие города с двумя-тремя златоглавыми церквями, соломенные деревни на кило-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7—8 и 9 с. г.

метр одна от другой, поля в густой сетке межей, узкие ленты лесов. За хребтом, отделяющим Европу от Азии, поезд шел степями, болотами, тайгой. Сибирские селения — богатые, с большими пашнями — были редки и казались только островами в диком океане. Дорогой Безуглый перечитал много книг о Сибири. Он, в сущности, впервые всерьез заинтересовался страной, в которой отбывал каторгу и дрался с белыми.

Безуглый долго водил пальцем по карте советских восточных владений. Невеселая усмешка дергала у него концы губ. Мощный, дремучий материк всем своим страшным грузом висел на тонкой стальной проволоке в семь с половиною тысяч километров. От Челябинска до Владивостока — единственная линия железной дороги. Колесные мощные пути почти отсутствуют. Реки глубоки и судоходны, но текут в мало-доступный Ледовитый океан.

Безуглый поставил в левом углу чистого листа бумаги единицу и против нее написал:

«Бездорожье».

На землях, в два раза больше всей Европы, жили пятнадцать миллионов человек.

Он отметил в своем конспекте:

«Безлюдье».

Фабрик, заводов было мало, значение их ничтожно.

Безуглый в докладе против пункта «Техническая вооруженность Сибири» старательно вывел большой и жирный ноль.

В Сибири — восемьдесят три процента запасов каменного угля всего Союза. Добыча — в несколько раз меньше Донбасса. Белый уголь ставит Сибирь на второе место в мире. Использование — на предпоследнее. Зеленый уголь — в количествах, равных которым нет нигде. Разработка уступает маленькой Финляндии. В одной восточной части Сибири золота больше, чем во всех банках Америки. Золото лежит в земле. В стране с астрономическими цифрами земельных площадей, годных для хлебопашества, зерна собирается меньше, чем на Украине. В стране...

Безуглый не захотел перебирать в своей памяти все несчитанные сокровища Сибири. Он под цифрой «четыре» вычертил только одно слово, отделив в нем букву от буквы длинными тире:

«В—о—з—м—о—ж—н—о—с—т—и»

Сибирь для царской России была вначале «самородным зверинцем, кладовой мягкой рухляди»¹⁾, потом — поставщицей золота, местом ссылки и всегда заброшенной окраиной. Россия Романовых по мере сил «сводила» сибирские леса, истребляла зверя, птицу, рыбу, грабила и оттесняла с удобных земель коренное население. Она вывозила из своей колонии все, что можно было взять без особого труда и затрат. В Сибири старая Россия строила неохотно и плохо.

Безуглый стал по пальцам считать города давней постройки — Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Красноярск, Иркутск. Все они — сплошное дерево. Тобольск и вымошен деревом. Каменные кварталы в них — редкие вкрапления. Из камня обычно воздвигались церкви, тюремные замки, дворцы губернаторов, иногда торговые ряды и хоромы купцов. В старых городах теперь только доглевали немногие монументальные осколки эпохи завоевания русской Канады. Новые города — широкие, приземистые — были совсем безлики. Безуглому они казались скоплениями деревянных барачков, неизвестно почему перенесенных с золотых приисков. Ни водопровода, ни канализации, ни хороших зданий общественного пользования, ни мостовых, ни тротуаров. Даже Новосибирск, нравившийся ему, Безуглый называл иногда только строительной площадкой.

Три столетия в Сибири хозяйничал слабосильный и трусливый хищник. Он только поцарапал добротную шкуру своей крлонии. Недра ее остались нетронутыми. Он, правда, иногда не надолго пытался добывать и руду. На Алтае были рудники, сереброплавильные заводы, первая и самая древняя в России узкоколейная железная дорога в два километра длиной.

¹⁾ Слоцов П. А.

Безуглый вспомнил Барнаул — мертвый центр горнодобывающей промышленности. Строгие корпуса плавильни Демидова полуразрушены. Кирпичной сухой кровью сыплются трещины их толстейших стен. В архиве под пеленой тлена лежат дела колывано-воскресенских заводов. На кладбище крошатся каменные плиты могил горных командиров: берг-гешворенов, унтер-шихтмейстеров и царевых управителей — статских генералов. На улицах часами спит тихая непотревоженная пыль. Около домов зеленеют цветущие лужи. Ночью в садике у собора поют синие соловьи. В темной тишине города позвякивают цепи последних каторжан — четвероногих сторожей.

Бедная, отсталая страна, несмотря на все свои чудовищные богатства.

Безуглый перевернул страницу в записной книжке, прочитал ее, иронически прищурился.

«Колонии просвещенного общества, утверждающиеся в безлюдной и малонаселенной стране, скорее всякого другого человеческого общества двигаются к богатству и благосостоянию...»

Адам Смит.

Он шлепнул ладонью по дневнику и сказал:

— Да, старина, это тебе не Америка, но мы добьемся...

Он записал:

«Кандалная Канада станет страной социализма».

Безуглый подумал о препятствиях, которые придется преодолеть Сибири. Царь тут сковывал только людей. Природа — дикая и своевольная — была свободна. Она стояла рядом с городами лохматой тайгой, голыми скалами, горькими солончаками. Стихия, враждебная человеку, наступала на улицы пылью, грязью, лезла травяной зеленью между камнями редких мостовых, грибной ржавчиной раз'едала стены, осыпала штукатурку. Человек здесь только бредил, а не укрощал стихию. Она отбирала у него назавтра все, что он завоевывал у нее сегодня. Особенно остро Безуглый почувствовал ее необузданную силу в Бийске, когда ночью возвращался от ямщика в гостиницу. (Он там

до встречи с Парамоновым и до заезда к нему на фабрику прожил около суток.)

Безуглый сходил с тротуарных деревянных настилов через каждые пятьдесят метров. Они обрывались в озеробразных лужах, в глубоких ямах, в буграх мусора. С тротуаров надо было иногда даже прыгивать (так высоко они поднимались над землей). Серединой немощеной улицы Безуглый ступал неуверенно. Дорога под ногами ладливо прогибалась. Он с опаской смотрел на редкие высокие дома. Ему казалось, что под ними также зыблется почва и что они каждую минуту могут исчезнуть в колыхающейся утробе земли.

Безуглый остановился около брошенного, забитого дома. Он не знал, куда двинуться дальше — кругом были рытвины и кучи кирпича. Сквозь ставни в покинутых комнатах слышались шорохи, скрипы, размеренный стук водяных капель. Дом медленно разрушался. Безуглый задержал дыхание, прислушался. Со всех концов безлюдной улицы шли такие же тихие постуки, трески, всплески, урчащие вздохи. Он понял, что слушает шумы вечного движения мира, его непрерывных превращений. Он знал, что весь мир живет по одним и тем же законам разрушения и созидания. Ветры, воды, льды непрестанно растаскивают, размывают, разламывают. Земля поворачивает к солнцу то один бок, то другой. Горы и моря на ней меняются местами. В ее неостывшие недра погружаются города, страны, материи.

Безуглый взглянул на небо. Бесчисленные миры светились в недоступной вышине. Они возникали, исчезали, рождались вновь, чтобы умереть, гибли, чтобы опять возродиться из праха. Он увидел вселенную, как единый хорошо работающий огромный механизм. Человек показался ему обидно ничтожным.

Безуглый написал в тезисах к докладу:

«Сволочь природа».

В двух словах он соединил — и гнев, и восхищение.

На окраинах Бийска, за неустроенными улицами, за темными домами, поставленными на полквартала один от

другого, Безуглый увидел мир, в котором человек человеку — медведь. Дома с глухими ставнями на железных болтах, с островерхими заборами в колючей проволоке стояли рядами неприступных фортов. Гарнизон каждого из них готов защищать до последнего вздоха единственную свою святыню — священнейшую частную собственность. В убогих кварталах небольшого города перед Безуглым встал весь мир с его часточадами границ, с вооруженными лагерями — великими и малыми державами. Магафор и Миодора, как Адам и Ева, трудились у истоков его истории. Топор убийцы и захватчика был для него ключом к благосостоянию. Мир был построен на законах так называемого свободного соревнования. В нем наиболее культурной и передовой страной поэтому считалась та, которая располагала самой дальнобойной артиллерией. В этом мире путь к обогащению был открыт каждому, кто поднимал топор и обрушивал его на голову ближнего.

Безуглый в своих докладах, когда ему надо было давать характеристику частной собственности, всегда приводил одно примечание Маркса к его главе о первоначальном накоплении. Он помнил его дословно.

«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 проц., и капитал согласен на всякое применение, при 20 проц. он становится оживленным, при 50 проц. положительно готов сломать себе голову, при 100 проц. он попирает ногами все человеческие законы, при 300 проц. нет такого преступления, на которое он не рискнул бы...»

Безуглый читал и писал до рассвета. Он не слышал, как Анна открыла дверь. Анна вошла, чихнула, взглянула на мужа и захохотала.

— Рожу-то вытри, докладчик. В саже весь, как негра. Лампа-то у тебя тут наработала, в пору мясо коптить.

Безуглый схватился за лицо, посмотрел себе на руки и загоготал следом за Анной. Она толкнула его в спину.

— Иди в реку, вымойся.
Безуглый вышел из бани.

На собрание ячейки Безуглый с Анной пришли первыми. Михай Хромыкин отпер им просторную избу сельсовета и ушел домой пить чай. Он был уверен, что собрание раньше, как через час, не начнется.

Безуглый разложил на столе свои бумаги. Анна, аккуратно подвернув юбку, уселась напротив.

На другой стороне улицы остановился Бидарев. Анна увидела его в окно и показала Безуглому. Он простоял не менее пятидесяти минут. Его обило дождем, обсушило и снова вымочило, — он не пошевелился. Старик сосредоточенно смотрел в землю и молчал. Анна сказала мужу:

— Семен Калистратыч у нас такой, где его мысли большие пристигнут, там и встанет. Другой раз часа два и боле простоит столбом. В бане он все пишет, не хуже тебя. Летошный год была с ним оказия.

Анна прикрыла рукой смеющийся рот.

— День цельный он писал, в вечеру вытопил банешку, выпарился, а одеться забыл. Вышел на улицу, в чем мать родила, и стоит в сильных размышлениях. Ребятишки собрались, срам. Он, ровно неживой, — ничего не слышит. Ум у него очень пронзительный, только кончик, самая острая умственность-то и загиается. Загвердил одно — сейте. Ну, а кто будет железо на плуги добывать, не обьяснят.

Анна взглянула в окно.

— Самому графу Толстому писал, знакомство с ним вел.

Безуглый усомнился.

— Мне кажется — лично он не был знаком с Толстым?

Анна удивилась вопросу Безуглого. В Белых Ключах знакомство Бидарева с Толстым считалось неопровержимым фактом.

— По-моему, Семен Калистратович со Львом Николаевичем никогда не встречался. Они только переписывались. Книжку Бидарева, в Париже изданную, верно

Толстой читал и многое из нее взял для своей проповеди земледельческого труда.

У Анны вздрогнули руки.

— В Белых Ключах у любого старика спроси, правду я говорю или вру, скажет — правду, в Бийске они встретились.

Анна посмотрела на Безуглого. В глазах у нее блестела обида.

— Иван Федорович, хочешь рассказать?

Безуглый уткнулся в бумаги.

— Расскажи.

Анна оправила на голове платок, опустила голову.

— Однажды посылает Бидарев Толстому письмо, ты, мол, сам ко мне приезжай, тогда и поговорим, а то что по бумаге-то наразговариваешь. Толстой берет билет и едет по чугунке. До Бийска доехал, а дальше не может. Ревматизм, что ли, у него был. Все-таки нежный человек. Пишет он Бидареву, зовет его в Бийск, дескать, так и так. Ну, конечно, Семен Калистратыч собрался и поехал. Встрелись они, и пошла же тут у них кагавасия. Бидарев под конец уж криком кричит на Толстого и кулаком стучит по столу: «Ты, — говорит, — пишешь-то гладко, тоже зубы заговариваешь, а сам-то в графья записался, сам-то не работаешь. Ты, — говорит, — сроду-то когда косил, нет? Серпом-то пробовал поелозить? А? Ты, Толстой, тож работай, как я работаю». Толстой это не осерчал. Правда, говорит, Семен Калистратыч, вечный работник и земледелец теперь я буду. Уехал домой да с тех пор, до самой смерти, как крестьянин, жил. Посконную рубаху носил, косил, жал, без седла ездить даже стал. Ребят начал учить, как наш Семен Калистратыч учит. А от жены в раздел ушел, в избушку.

Безуглый достал в красном уголке с полки энциклопедический словарь, отыскал страницу, посвященную Бидареву, быстро пробежал ее и сказал Анне:

— Видишь, тут ничего не сказано о встрече в Бийске. Зато здесь есть ответ на твой вопрос: кто будет железо добыгать, если все станут сеять.

Безуглый прочел вслух:

— «Основная мысль учения Бидарева — утверждение закона «хлебного труда»; все, без исключения, должны «работать своими руками хлеб, разумея под хлебом всю черную работу, нужную для спасения человека от голода и холода...»

Анна оттолкнула от себя том словаря.

— Кто писал, не знаем, а мы, дураки, читаем.

Она встала, торопливо пошла к двери. У порога оглянулась и крикнула:

— Машину он опровергает! Какой ты нашел у него ответ? Никакого он ответа-совета человеку не даст, хоть год на одном месте простоят!

Безуглый не смог удержать улыбку. Анна с силой хлопнула дверью.

Безуглый привык к резкости Анны. Она немного стеснялась его только в первые дни встречи. С тех пор, как он заговорил с ней о парторботе в Белых Ключах, она точно взяла его за руку и повела по селу. Анна слушала мужа с покорностью ученицы, когда он говорил о городе. В делах деревенских она не любила его возражений. Он сначала не доверял ей, думал, что в своих оценках она пристрастна. Он спрашивал Игонина, Улитина, Помольцева, коммунистов, беспартийных и вынужден был признать, что Анна в деловых отношениях свободна от личных симпатий и обид. Жена говорила ему:

— Кого ты тут знаешь? Один у тебя дружок — Андрон-кулачок. Ты меня слушай.

Безуглый с каждым днем все чаще прибегал к ее советам. Она распутала ему весь клубок родственных и кумовских хитросплетений в селе. Он поэтому был совершенно спокоен за хлебозаготовки. Его никому не удастся обмануть.

В избу начали входить коммунисты. Игонин прошел со своей трубкой от двери до стола, и сразу надымил, как паровоз. Все подавали Безуглому руки и расписывались на сером листке бумаги. Безуглый потягивал свои светлые подстриженные усы, дружески улыбался. кивал головой. Вернулась и Анча. Она озорно повела на мужа глазами, закрыла концом платка губы и сказала ему:

— Сходила полужнула акурагистов наших партийных.

Безуглый оглядел скамьи. Он знал в лицо всех коммунистов и комсомольцев. Все были в сборе. На собрание набралось много и беспартийных. Они сидели на подоконниках, на полу в проходах около стен, тоdkлись в дверях. Безуглый встал, спокойным движением заложил правую руку за борт своего потертого френча, левой оперся на стол. Анна увидела, как он вдруг сконфуженно опустил голову. На щеках у него выступили красные пятна. Она не могла понять причину его неожиданно-го смущения.

Безуглый поймал себя на желании повторить наиболее характерные жесты Сталина на трибуне — правая рука за бортом френча, левая на столе или мерно рассекает воздух. Безуглый не мог сам себе объяснить, почему он вздумал копировать вождя. Может быть, он сделал это потому, что перед докладом перечитал его том «Вопросов ленинизма», может быть, и потому, что видел его в последний раз очень близко на пятнадцатом съезде.

Безуглого выручил тонкий, дребезжащий, властный голос Бидарева. Он стоял перед столом президиума, опираясь на свой высокий посох.

— Граждане, сборище ваше не тайное?

Безуглый быстро вскинул голову и ответил:

— Пожалуйста, садитесь, Семен Калистратович, заседание ячейки открытое. Старик показался ему особенно бодрым. В его синих глазах он разглядел переливчатые, лукавые огоньки.

— Верно говоришь, надо сесть. Не к лицу мне стоять перед тобой, потому по чину я в ровнях с самым вашим большим комиссаром.

Посох Бидарева взмыл вверх и грохнул об пол.

— Да что комиссар, тебе передо мной стоять надобно, мой хлеб ты ешь, я тебя кормлю от трудов своих.

Безуглый спокойно пошутил:

— Стою, Семен Калистратович.

Старику уступили место на первой скамье.

Игонин, как молотком, стукнул по столу трубой.

— Федорыч, давай бери слово.

У Безуглого всегда на затылке вскакивал большой, как рог, упрямый вихор. Он говорил, немного наклоняя голову, точно бодался.

— Товарищи, некоторые из вас и многие из беспартийных спрашивали меня, почему вдруг партия решила перестраивать сельское хозяйство, вдруг взялась за создание тяжелой промышленности. Вдруг, видите ли, налетели на деревню уполномоченные по хлебозаготовкам, по коллективизации, и все пошло и поехало. Должен вас успокоить. В таком большом деле, как хозяйство целой страны, ничего и никогда вдруг не делается.

Безуглый подробно рассказал о первой пятилетке.

— В Белых Ключах мне не без улыбочки кое-кто говорил, что вот, мол, Ленин завещал пролетариату быть в союзе с крестьянством, а вы, мол, начинаете нас ссорить с рабочими. Найдется вероятно немало людей, которые думают, что царству рабочих и крестьян не будет конца. Они забывают, что наша цель — построение бесклассового общества. Советская власть конечно есть власть рабочих и крестьян, но не надо упускать из виду, что она только средство, следовательно, явление временного порядка, а отнюдь, повторяю, не цель.

Он порылся в конспекте.

— Владимир Ильич однажды очень едко высмеял плакат, на котором изображалось беспечальное и вечное царство рабочих и крестьян.

Безуглый поднял к лампе исписанный лист бумаги.

— Значит ли это, что мы хотим ссориться с крестьянством? Совсе нет. Союз рабочих с трудовым крестьянством в нашей стране был и будет, пока мы не уничтожим классы. Вот только ведущая роль в нем была и останется за пролетариатом. Мы не ссориться собираемся с крестьянином, а хотим помочь ему перестроить свое хозяйство на коллективных началах.

Безуглый говорил с обезоруживающей силой. Он был человеком убежденным. Его теоретическая подготовлен-

ность, сложенная с практической деятельностью, давала ему и широту кругозора, и целеустремленность. В партии его считали крепким коммунистом. В подполье, в Красной армии, в хозорганах он работал и рядовым, и командиром, и в обозе, и на передовых позициях. Не было случая, чтобы он отказался от какого-нибудь партийного поручения или его не выполнил. В очень трудные минуты он только сам себе говорил вслух — препятствия, преодоление, победа.

В темных, древних глубинах его мозга, как и у всякого человека конечно, еще жили и зверь, и собственник. Он вел с ними упорную борьбу. Они очень редко оказывались победителями.

Слушали Безуглого внимательно. Один раз только его прервал Помольцев. Он обратился к нему с просьбой: — Федорыч, шибко высоко не заносись, об'ясняй попроще.

Безуглый рассказал собранию о людях, которые поколение за поколением искали «Беловодье» для всего человечества. Он сказал, что оно найдено. Горы препятствий — позади. Он утверждал, что люди могут быть счастливы, если на новой земле станут жить по-новому.

Собрание хлопало Безуглому долго и дружно. После него говорил Игонин. Секретарь ячейки начал свою речь с лукавого предисловия:

— Товарищи, складно говорить я не обучен, если чего лишнего нагорожу, не взыщите.

Улитин скривил свое желчное, сохшееся личико, проворчал:

— С первого слова, бесстыдник, врать начал.

— Не знаю, с какого бока мне и начинать.

Игонин пососал потухшую, пустую трубку.

— Начну, пожалуй, с Северных Американских Соединенных Штатов, а, почему именно с них, об этом речь впереди.

Известно вам, товарищи, что работал я на разных местах, ну, между прочим и в животноводческом совхозе. К скоту я с детства привычен. В долге ли, в коротке ли, даюг меня в по-

мощь одному ответственному товарищу и командируют в самую ту Америку на закупку племенных быков-производителей и тонкорунных баранов. Американским газетчикам очень удивительно было и в роде как бы неудовольствие какое им получилось от того, что оказался я бритым. Побывал я в Чикаго и в Нью-Йорке. В Чикаго на бойнях, гляжу, — грязина. Скотина пропавшая тухнет, необранная. Я раскритиковываю газетчикам ихние порядки. Опять на них находит недоуменность — как так сибирский мужик грязь осуждает. Напечатали они мои слова и назавтра же произвели в бойне полную уборку.

Игонин налил из графина стакан воды, неспеша мапился.

— В Нью-Йорке дома трубами облака боронют. А люди в них живут, никогда солнца не видят. На площадях торговцы-лотошники стоят с раскрытыми ртами и дышат, как собаки на жаре. В воздухе у них большая нехватка. Понастроили они много, но зря ума, ровно для того только, чтоб народ мучился. Богатые конечно живут одаль от городов в садах, и дома у них небольшие. Богатством своим они выхваляются на весь свет, а подумать пристально — одинаковое у них с нашей деревней идиотство. В двадцать первом году у нас — голод. У них — фермеры хлеб в море кидали, жгли в паровозах. Где же, думаю, разумность вашей жизни, если вы жили из себя вытягаете на конвейерах, а что сработаете — в огонь? Какие же вы богачи, если от своего богатства непомерного можете в один день об'явиться полными нищими? Никто у вас ни покупать, ни продавать ничего не будет. На горах хлеба пропадете голодом.

Игонин почесал пальцем лоб.

— Газетка с моей фамилией попала в руки известному вам всем односельцу нашему, Пантюхину Алексею. Мы с ним в германскую служили вместе и в плен угодили вместе. Он только после войны прямо из Питера в Америку подался, обиделся, дурной, что его не с музыкой встретили. За морем он и женился на богатой вдове-фермерше.

Берет Пантюхин билет на самый скорый поезд и катит в Чикаго. Костюм мне привез и штук шесть галстуков. Евфросинье своей, брошенной с ребятами, накупил барахла цельный чемодан. Таможников наших пограничных насилу уговорил я после пропустить в Сесеер буржуазную материю. Побывал я у него. Пашет он весело на своем тракторе и трубку из зубов не вынимает. Погостили мы с ним и у соседей. Один машины имеет хорошие, другой — того лучше. Большая разница с нашей деревней. Разговоры же совсем с нашими схожие. Почему хлеб? Сколь земли? Когда посеял? Как родилось? Гляжу я на них и так планую своим умом. Наши кулаки крестьянина с земли смазным сапогом выпехивают. Ваши богатеи, фермеры, бедняков тракторами топчут. На машине, выходит, до конца вам ближе. На машину, думаю, и мы скоро залезем. Руль только не в ту сторону завернем. Говорю я Пантюхину: «Алексей, едем домой, на Алтай, в противном случае не миновать тебе сумы». Он воззрился на меня, ровно на дурачка. «Куда, — отвечает, — мне от своего капитала ехать, чего искать? В старое время мог бы тут продать, деньги перевести и купить в России. Советы, — спрашивает, — собственность на землю отменили? Ну?» Разъехались мы с ним, одним словом, в разные стороны полными врагами.

Евфросинья Пантюхина стояла на другом конце избы, около окна. Она сказала Игониному.

— Фома Иванович, мужик-то мой беглый письмо прислал, кланяется тебе, пишет, хлеб у них шибко дешев.

Игонин посмотрел на ее белый платок и ничего не ответил.

— В обратную дорогу лежу я в каюте. Море в окошко мне хлещет и качает меня, как мать дите. Мысли мои текут по жилам веселым вином. Понял я, той соленой водой едучи, все американское наполеонство. У них каждый в Наполеоны лезет. Каждый хочет весь мир закупить и распорядиться, как у себя в лавке. Одна помеха — Наполеонов много и все с ножами друг на друга налетают.

Собрание сидело молчаливое, притихшее. У некоторых рты были полукруглыми, как у ребят. Бидарев не отнимал от уха руку.

— Из плена вернулся я, товарищи, скучно мне было, из Америки приехал — еще того тошнее стало. Везде, вижу, жизнь на одну колодку сшита. Во всем мире сосед на соседа нож навастривает. У нас тут, бывало, из-за покосов деревня на деревню с вилами наступает. У них народ из-за межей по судам мытарится. От малой семьи до большого правительства — одна песня.

Игонин посмотрел на часы. Помольцев сказал ему:

— Мы не соскучились, Фома Иванович, высказывайся.

— Об Америке к тому я речь завел, что наши сибирские кулачки с ихними фермерами — родные братья. У американца раб — негр, индеец, случается, и белый бедняк, который из Европы залетит понаслуху о райской заморской жизни. У сибиряка рабы — алтайцы, киргизы и лопатоны из-за Урала. Наши сибиряки потому и быстрее российских мироедов оперялись, форсистее в люди выходили. Не знаю вот только, многие ли из вас помнят, как до железной дороги в Сибири богатые мужики хозяйство свое, ровно чистые американцы, своими же руками раззоряли. Захватит, бывало, мужик покос с целую губернию и без ума все лето сено ставит. Спросят его: «Сено продавать будешь?» — «Нет, — говорит, — у нас этого в заведении нет, кому тут его продашь? Косим для своих коней». — «А на конях-то извозом занимаешься?» — «Пошто, — отвечает, — извозом, сторона наша непроезжая». — «Для чего же коней-то столь держите?» — «Как для чего? Сено возить».

Многие громко засмеялись, зашумели. Безулый постучал по столу ручкой.

— Придет время, разглядит мужик, что в собственном хозяйстве он и сам, в роде коня на корде, по кругу ходит, схватит топор и ну скотину свою лупить по лбу.

С железной дорогой конечно легче стало — есть, куда продать. Однако в Америке-то, товарищи, железных дорог

множество, а продать все равно некому. Америка-то, она нам показывает, куда мы упрямся, если по ее дорожке поедем.

Безуглый ласково хлопнул Игонина по плечу, когда тот кончил и сел с ним рядом.

Бидарев застучал посохом. Все обернулись на него. Он спросил:

— Беспартийным говорить у вас дозволяется?

Игонин встал и объявил:

— Товарищи, слово предоставляется Семену Калистратовичу Бидареву.

Бидарев, вонзая в пол острый свой жезл, медленно подошел к столу.

— Ничего у вас, лжеучители, не выйдет. В колхозах ваших опять человек человеку будет гонителем. Саранчой на поля ваши насыдут писцы непашущие, начальство городское с белыми руками, и пожрут труд земледельца. Не разделить вам ни полей своих, ни жен. Было все это в Америке и у нас на Молочных Водах между духоборцами.

Безуглый заметил, что слушали Бидарева немногие.

— Веселый, легкий труд ваш на вас же обратится тяжестью непомерной. С прилежанцем слушал я Фому Иваныча и так уразумел слова его, что машина американская ни одного человека счастливым не сделала. Был человек рабом у человека, станет теперь рабом машины. Сломайся машина — и человеку напиток нечего, осветиться нечем. Без машины он даже до ветру сходить не сможет, брюхо свое не опростает.

Бидарев ударил в пол посохом.

— А я все своими руками добуду, и никакой у меня нехватки ни в чем не обнаружится, и никакой не заведется роскоши праздной. Надо так сделать, чтобы одна местность в другой не нуждалась, один человек другому в рот не глядел. Когда каждый станет делать все сам, тогда не будет и власти тягостной человека над человеком и не пойдет народ на народ войной. Сказано в писании: «...Ибо будет в последние дни явлена гора господня и дом божий наверху горы, и возвысится превыше холмов, и придут к ней все народы. И пойдут народы многи и рекут: прийдите

и взыдем на гору господню... И раскуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не возьмет народ на народ меча, и не будет научаться воевать... И отдохнет каждый под лозою своею, каждый под смоковницею своею, и не будет устрашающего... И изболжит господь сильные народы, даже до земли дальней... Пути его видел и исцелил его, и утешил его, и дал ему утешение истинное: мир на мир далече и близ сушим...»

Бидарев обвел собрание торжествующим взглядом.

— Слышите, глухие, — под лозой свою, под смоковницею свою. Вы же, прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его и дома. От труда мирного пахарей на битву возбуждаете, брата на брата и сына на отца ведете.

Бидареву никто не хлопал. Все знали заранее, что он скажет. Старик посмотрел на собрание, на президиум, вздохнул и замахал посохом к двери.

На собрании говорили еще долго. Никто не возражал ни Безуглому, ни Игонину. Ячейка решила организовать в Белых Ключах колхоз.

Помольцев спросил Безуглого:

— Федорыч, ужели и коровенку последнюю мне доведется в колхоз свести? Охотник я большой до молока. Без молока я и за стол не сяду.

Безуглый не слышал вопроса Помольцева, поэтому ничего ему и не ответил. Он думал о людях, которые начали переделывать мир в одной шестой его части. На золотой от капель смолы стене сельсовета висел портрет Сталина. Илья Дитятин — единственный художник в Белых Ключах — написал вождя на берегу пустынного, замерзшего Енисея. Он шел по снегу смеющийся, в высоких оленьих сапогах, в полушубке и в меховой шапке-ушанке. В зубах у него дымилась короткая кривая трубка. На правом плече лежала рыбацья сеть. В левой крепко стиснутой руке Сталин держал связку больших, жирных осетров. Круглые куски льда на плавниках и на панцире рыб блестели, как золотые монеты. Безуглый вспомнил позолоту стен Андреевского зала. На трибу-

ну пятнадцатого съезда вышел сухощавый, выше среднего роста человек. На нем — защитный френч, серые штаны и сапоги. На голове у него — нетронутые временем черные пряди волос. Концы усов опущены книзу. Глаза темны и суровы. Лицо в свете юпитеров — бледно. Его слушала вся страна и миллионы за ее рубежами. Он ни разу не

повысил голоса, не сделал ни одного резкого движения. Он был спокоен. Он видел, как в обвалах войн и революций, точно в первозданном хаосе, шли горообразовательные процессы, возникали материки нового мира.

Безуглый смотрел на стену избы. Сталин смеялся, курил трубку и играл золотыми осетрами.

(Продолжение следует)

Гвардеец

Стихи

Ал. СУРКОВ

Слушай. Я расскажу по порядку:
За ометами, бабьим грехом
Прижила меня с кем-то солдатка
И отправила в мир пастухом.

Наша доля пастушья известна
(Не забуду — сто лет проживу!):
Пролежала полынная песня
От егорьева дня к покрову.

Под зелеными шапками сосен
Жизнь чадила, слепа и глуха.
Прямо с поля в ненастную осень
На прием повели пастуха.

Голос родины нашей посконной
Раскололся частушкой и смолк...
Увезли меня в гвардии конный
Самого императора полк.

Доктора осмотрели — не слаб ли?
Ткнул перчаткой в живот командир.
Дал капгер мне тяжелую саблю
Да рейтузы, да белый мундир.

На манежах, насквозь пропыленных,
Под копытами выла земля.
Я три года носил на погонах
Императорские вензеля.

Бородинской и рымникской славы
Над штандартом сиял ореол.
Прикипел к моей каске двуглавый
Императорский медный орел.

По пути из казармы в клоповник
Шпоры звякали, как кандалы.
На парадах невидный полковник
Говорил нам: «Здорово, орлы!»

... Было ведро в то утро, гроза ли,
Все из памяти вышибло вон.
Поп кропил на Варшавском вокзале
Обреченный, немой эшелон.

Пахло потом и ладаном жженым,
Поезд вздрогнул и скрылся вдали...
На перроне солдатские жены
Причитали и бились в пыли.

Боевую, военную славу
Нелегко на чужбине найти,
Гумбинен, Вержболово, Сольдау
Черной тенью легли на пути.

Смерть аллюры треножила коням,
Кровью с шашек стекала заря.
Прикипала к шершавым ладоням
Трехлинейная милость царя.

От Карпатских «кряжей» до приморья
Выбит в поле копытами путь.
Восемь ран и четыре «егорья»
Приняла эта самая грудь.

Сколько песен солдатских пропето?
Сколько пролито крови? Не счастье!
В бредовой тишине лазарета
Я оставил гвардейскую честь.

И когда в прикарпатские дали
Февралем прогудела земля,
Мы с погонами вместе содрали
Императорские вензеля.

Ждали — скоро воротимся в хаты,
Смоем черную копоть с лица,
Да явились на фронт адвокаты
И сказали: «Воюй до конца!»

Под шрапнелью на выжженных кручах
Лег в окопы обманутый полк.
Распевал перед строем поручик
Про гвардейскую доблесть, про долг.

И ввязался с поручиком в спор я,
И ударил его, разъярясь,
И четыре солдатских «егорья»
Загтоптал каблучищами в грязь.

... На расстрел меня вывели рано.
Над окопом, у всех на виду,
Получил я девятую рану,
Как предатель и трус, по суду.

Расстреляли меня, а поди же!
Не поладил со смертью солдат.
Отлежался я в тайности, выжил,
Дезертиром ушел в Петроград.

По дороге, в тоске и томленьи,
Я узнал от безногих калеки,
Что скрывается в Питере Ленин,
Самый правильный человек.

Опостыла окопная боль нам,
Боль иссеченных пулями лет.
Прилепился я к ленинцам в Смольнѣм,
Получил большевистский билет.

Мы все ночи пробредили миром,
А поди ж ты, гвардейский солдат
Из окопов попал командиром
За заставу, в рабочий отряд.

Сквозь сырые октябрьские ночи,
Сквозь пургу и сибирский мороз
Я со взводом заставских рабочих
Ярость бедности нашей пронес.

Мы глотали в ненастную осень
Распроклятый сивашский туман.

Мир. И орден вот этот. И восемь
На себя заработанных раѣ.

Я рассказом тебе не прискучу.
В долгий отпуск длинок отпустив,
Поднимал я в поселке Гремучем
С партизанской братвой коллектив.

Сколько пролито в борозды пота,
Сколько отдано сил, — не сочтешь.
Ото сна отучила забота,
Неурядицы, бабий галдеж.

Было — ворог нашептывал в уши:
«Пропадет бесталаннѣй колхоз!»
Было — к вешнему севу чинуши
Отпускали невсхожий овес.

Было — сердце давили каменья,
Люди гнулись в тяжелой борьбе.
Что таить? Подступали сомненья,
По неделям ходил не в себе.

То, что было, во сне не приснится.
То, что было, тому не бывать.
Посмотри — зацветает пшеница,
Скоро колос начнет наливать.

Посмотри — упираются в небо
Коллективные наши поля.
Урожайми доброго хлеба
В синей полночи бредит земля.

Над просторами взметанных пашен
Замирает от радости дух.
Все кругом, понимаешь ли, наше,
Все взрастил и взлелеял пастух.

Не задаром под говор орудий
Мы прошли сквозняком по земле!
Башковитые, дельные люди
Заправляют делами в Кремле.

Жан Жорес*)

А. БЕЛЫЙ

Погуляв, поработав, к 12-ти я опускался в укромную зальцу коричневых колеров, как и ковры — коридориков, лестницы; посередине стоял общий стол; вдоль окошек — отдельные столики; их занимали: хозяин-вдовец с взрослой дочкой; он был с добротой, без «политик»; весьма уважал социалистов и руку жал парочке бледных кюре, столовавшихся здесь; как летучие мыши, влетали они в своих черных сутанах и в шляпах с полями; шушукали о конфискации Комбом церковных имуществ; держались отдельно, но кланялись вежливо; столик в углу занимал сумасшедший рантье с миловидной женою; пыталась со мною кокетничать: бедная!

Общий же стол пустовал: три прибора; на нем размещались: месье Мародон, иллюстратор романов, ходивший обедать и завтракать; мы — познакомились; я посетил его; рядом садилась приятная барышня, русская немка из Риги; мы с ней по-французски общались; меж блюдами я перелистывал «Юманигэ»¹⁾.

И соседка спросила меня:

— «Почему вы читаете эту газету?»

— «Она симпатичней других мне».

— «Вы чтите Жореса?»

— «О, да!»

Тут хозяин, смеясь, просиял; а соседка кивнула:

— «А знаете? Он же ведь завтракал с нами последние месяцы после того, как жена его в Тарн из Парижа уехала;

*) Отрывок из книги «Между двух революций»: из парижских воспоминаний.

¹⁾ Орган социалистов, редактировавшийся Жоресом.

месье Жорес живет рядом; оставшись один, стал ходить сюда завтракать — перед палатой; недавно уехал он в Тарн».

— «Он вернулся» — кивнул нам хозяин, — «он будет здесь завтракать: завтра».

— «Везет вам» — смеялась соседка, — «о, это такой человек!.. Впрочем сами увидите».

— «Месье Жорес — о!» — хозяин, махая руками, давился почтеньем.

Не видя Толстого, младенцем я знал, что бессмертен он; сфера бессмертия определялась, как функции: есть — вестовой, понятой, даже городской; есть — «Толстой» в каждом городе; вдруг появился в квартире у нас бородатый старик; и тогда мне открылось: он есть Лев Толстой, знаменитый писатель.

Из детства мне вырос Жорес; он — оратор; а позже открылось мне: он — социалист; но он — стопятидесятилетний старик, современник Руссо, Робеспьера, Сен-Жюста, которых Танеев чтит; умерли эти; Жорес же живехонек; перемешались в мозгу: социализм, революция, книга о ней, сочиненная Жаном Жоресом; поздней, разбираясь в газетах, я видел: Жорес, Клемансо, — телеграммы Парижа; и ныне кричали столбцы: Клемансо, Жан Жорес. Клемансо стал главою правительства; схватки с Жоресом его потрясли Париж; все бежали в палату: их слушать; Жорес брал атаками, а Клемансо фехтовал софизмами.

Как, Жан Жорес — детский миф — сядет завтракать рядом? И я испугался: увидеть его на трибуне — одно; сидеть рядом — другое; трибуна ему, что —

рука; он хватает ей тысячи; просто услышать «б о н ж у р» от него, это ж — уху подставить под пушку, которую слышишь с дистанции; страшно сесть рядом с салфеткой, подвязанной пушкой.

Уж я привыкал к знаменитостям: в литературе; ведь точно орешками щелкаешь с ними; а этот предложит кокос разгрызать; с литераторами интересно болтать; но я их забывал уважать; уважение к Жоресу меня подавляло.

Оратор в Жоресе внезапно возник; он до этого преподавал философию в Тарне; но в первой же речи сказался гигантский ораторский дар; из профессора вылез политик; и вот депутатом от Тарна явился в Париж он; и стал здесь вождем социалистов.

С волнением спустился я к завтраку; стол: рядом с барышней, моей соседкою, — новый, четвертый прибор:

— «Ей-то, ей каково сидеть рядом; я — спрятан за нею».

Стараясь соседкой укрыться, я сел; уже подали первое блюдо; уже два кюре, прошмыгнувши под окнами, тихо влетевши, уселись под окнами.

— «Месье Жорес!» — показала соседка в окно.

На сером пятном черным мелькнули: на лоб переехавший с очень большой головы котелочек, кусок желто-карей, густой бороды, шея, толстая, вжатая в спину; на ней за сюртук зацепившийся ворот пальто; пук газет оттопырил карман; зачесавшая зонтиком воздух рука промахала. Широкий, дородный, короткий, пререзво пронесся он махами рук, уподобясь гамэну, а не знаменитости; эдаким мячиком прыгает разве один математик, бормочущий вслух вычисления, под мордую лошади; и — что-то милое, давнее, в памяти всплыло:

— «Отец!»

Я не видел ни в ком повторения жестов, какими отец — тоже крепкий, широкий, короткий — прохожих смешил на Арбате; Жорес вызвал образ отца; как отец, он скосил котелок; как отец, вырываясь из рук, подававших пальто, зацепил воротник за сюртучную складочку; и, как отец, чесал зонтиком воздух.

Но дверь распахнулась; в подпрыжку влетел; суетился под вешалкой; с кря-

тами руки раскинул: направо, налево и наискось; с кряхтами лез из пальто; приподнявшись на цыпочки, с кряхтом повесил его, вырвав пук из кармана и сунув подмышку; не глядя на нас, растирая ладони, бежал с перевальцем к пустому прибору; отвесивши общий поклон, сел; и стуло — закракало; тяжело расставивши ноги, расплывшись улыбкой и перетирая ладонями, корпусом перевернулся к соседке с вторичным поклоном; взбугривши улыбкою толстые щеки, пропел ей:

— «Бонжур, мадемуазель... Са ва бьен?»

Пушка — выстрелила: перепонка ушная не лопнула; вместо кокоса же — подали кролика; он, изогнувшись широкой спиной, схватив вилку, себе покидав в рот куски, отвалился, схватясь за газету; и, ею завесясь от нас, опочил в телеграммах; но подали третье: газета — отложена.

Сидя, казался высоким, вставая, был меньше себя, так как широкоплечее туловище укорачивали небольшие, словенские какие-то ноги; он был бы красив; но дородность мешала; глаза, голубые и добрые, щурились светом ума, никогда не смеялся и вперялся в окна; рот, темнопунцовый и тонкий, не скрытый густыми усами, когда не жевал, то скорее скорбел; хохотали морщинки у глаз и веселые, точно надутые, щеки с темнейшей родинкой; правильный нос; лоб высокий; весь профиль дышал благородной серьезностью; пышные вставшие волосы, светлокориичневые, с желтизной, и такого же цвета большущая, густая его борода серебрились курчаво сединками; и выдавала южанина кожа: коричнево-красная.

Сел, и возникла вокруг атмосфера смешного уюта, не страшного вовсе: совсем не «Жорес», а профессор; Д. С. Мережковский, малюсенький в жизни, — тот силился выглядеть «и м е н е м»; чувствовал: рядом со мною уселась и кракала стулом огромная личность; с огромною вилкой, зажатой смешно в кулаке, с неподдельным беззлобием из-за салфетки, которой себя повязала, полезла на барышню, громко расспрашивая о подробностях ее работы и за-

работка; Мародон, да и я, и не знали, что барышня наша искала работы себе; Жорес — знал.

Так большой человек во мне вспыхнул из маленьких жестов, с какими он яблоко резал, газеты читал и кидался: к тарелке, к соседке, к салфетке; я вовсе забыл, что хватает за сердце с трибуны; трибуна я видел далеким героем былин; думал я: этот славный, простой, нас бодрящий месье привязал к себе крепко, двух слов не сказавши со мною, и тем, как глотал, над тарелкой разинув усы, от усилий краснея, и тем, как прислушивался, отвалясь, склонив голову набок, с улыбкой прищурой, ко мне, к Мародону, к соседке, которая что-то сказала о сером коте и о крыше:

— «Коты, мадемуазель, вылезают на крышу» — сказал этот добрый месье, показав свои крепкие зубы, — «затем, чтобы там дебатировать».

Кланяясь скатерти: с ясным прищуром:

— «У них крыша — клуб: да-с!»

А узел салфетки вставал над спиной, как заячье ухо; и в этом смешке повторял он отца, за столом сочинявшего басни из мира животных; и так, как отец, тотчас перебивал каламбур он, не без педантизма; с надсадой крича, придираясь к словам окружавших; так: с первого ж завтрака он из-за сыра ревнул на меня, — рубнув ножиком в воздухе:

— «Э, да неправильно же выражаетесь вы; говорят: «Лё парту политик», а не «ля»; «ля» — относится к мясу; «л ё» — к партии...»

«Лё» или «ля» — знаки рода; «парту» в смысле «часть» — рода женского; в смысле же «п а р т и и» — рода мужского.

— «Лё-лэ: лё парту!»

Топотошил ногами под скатертью: делалось очень уютно, сердечно, тепло; и представьте себе мой восторг, когда толстый хозяин однажды, ко мне подойдя, разведя свои руки, мне вытянул нос; и — сказал:

— «А месье-то Жорес о вас выразился превосходно: «Месье Бугажёв, — это, это: оратор природный...» Вот видите!»

В паспорте «иот» вместо «и» написали: «Bugaieff»; немецкое «иот» в начер-

тани своем одинаково с «жи»; так я стал «Б у г а ж ё в ы м» во Франции.

Не понимаю, как мог Жорес видеть «оратора» в том, кто в французских словах заплетался, как рыба в сетях: говорил я ужасно; позднее Матисс, вероятно иронии ради, хвалил мою речь; верно брал интонацией, паузами и бесстрашным подмахом руки на оратора, словом своим поднимавшего бури; со второго же завтрака славный «месье» меня схватывал, точно рыбешку, крючком: «Э, коммáн пансэ ву?»¹⁾ Вылезал головой из-за носа соседки; я лез на Жореса, соседку давя; с «савэ ву»²⁾ откровенным — руками намахивал характеристики литературных течений в России; подчас философствовал, анализируя Генриха Риккерта³⁾, мнение имея о Тарде и Мэн-де-Биране; Жореса-оратора я не слышал; а, узнавши «месье», я забыл об «ораторе»: сам заораторствовал; а Жорес между людьми, сидя с газетою, ухо ко мне поворачивал, слушая голос мой; даже бросая газету, он, кракнувши стулом, врвался в слова:

— «Что заставило вас полагать?»

Я — отчитывался.

Но вернусь к первой встрече: окончив последнее блюдо, очистивши яблочко, тыкнувши ножиком в ломтик, ко рту не поднес; отвалился и замер, сорвавши салфетку, — не глядя на нас, убегая глазами в окошко и щурясь: глаза занялись жидким светом, бросавшим лучи мимо нас; мне поздней об'яснили, что он собирается с мыслями перед палатой; мы все в пансиончике знали, когда выступает он там; к окончанию завтрака делался тихим тогда; и сидел, привалясь к спинке стула, — не видя, не слыша, не глядя; вставали, бросали поклон, уходили; а он все сидел, отвалясь, склонив голову, взгляд исподлобья бросая в оконные стекла.

Я помню, как вспугнутым гиппопотамом вскочивши со стула, с поклонцем всем корпусом, бросился к вешалке он перевальцем и сунул в пальто мятый пукиш газет, чтобы, вставши на цыпочки, тужиться в трудном усилии свое

¹⁾ «Ну, а как полагаете вы?»

²⁾ «Знаете ли».

³⁾ Немецкий философ-неокантианец.

пальто отцепить и, сломавшись, разбросив короткие руки, на черном пальто распинаться с пыхтеньем: он долго возился, стараясь пролезть в рукава; но до шеи не мог он пальто дотянуть; воротник, зацепясь за сюртук, подвернулся, а он уж мелькнул котелочком под окнами, цапаясь зонтиком.

С этой поры появленья Жореса, получасовые сиденья за завтраком с ним — мой просвет и уют в бесприютности; точно, нашедши меня, кто-то вымолвил: — «Брат мой!»

Повеяло: жаром.

Сердечно любили Жореса: хозяин, меесь Мародон, сумасшедший с женою, соседка и я.

Дать отчет о беседах с Жоресом мне трудно; он мне — неровня; он жил в мире огромном; я — в маленьком; он завивал из палаты смерчи; и я же был для него — «Бугажёв», молодой человек; он ко мне относился с симпатией; но и симпатия эта меня обдавала, как жаром; я счастлив, что в хоре хвалений великому деятелю социализма вплетен слабый голос мой, не потому, что я видел «великого»; видел я «доброго»; как он умел приласкать без единого слова: ужимочкой, жестиком, тем, что нам, малым, он был совершенно открыт; перед столькими был осторожен: до хитрости; слухи ходили, что сдержан; свидания с ним добивались неделями; пойманный, он становился «политиком», взвешивал каждое слово, чему был свидетель не раз; и тогда лишь вполне оуслил его ласку к «меесь Бугажёв, се жён ом»¹⁾ — в его шутках с «жён ом», в каламбурах о кошках и в покриках громких о том, что ломаю же, чорт побери, я грамматику речи:

— «Сказать надо вот как» — он громко кричал на меня, — «а не эдак вот: не по-французски выходит».

И тут же примеры грамматики: преподаватель, педант!

Что ко мне относился тепло он, я понял из ряда штрихов в обращении ко мне, всегда мягко участливым; он ежедневно, вмешавшись в беседу мою с Ма-

родоном, меня подвергал настоящим экзаменам, строго допытываясь, что читал я по логике и почему я, читая Когэна, чтоб Канта усвоить, молчу о французцах, меж тем как во Франции есть представители и кантианских течений; откинувшись, делаясь строгим, наморщивши лоб, барабанил по скатерти пальцами (так вероятно он в бытность профессором делал экзамен студентам); бывало он, бросивши взгляд исподлобья, оглаживает свою карюю бороду, тащит к ответу меня:

— «А что можете вы мне сказать о французских последователях философа Канта?»

Я упомянул Ренувье, написавшего книгу о Канте, отметивши: мысль в ней путанна; потом передам впечатление свое от другого труда Ренувье¹⁾; тут «меесь» Жорес, мне улыбаясь, с довольным побряхотом бросает:

— «Ну, да: это — так!»

И, схватясь за вилку, уходит в тарелку, с большим интересом обнюхивая вермишель; ел он неописуемо быстро; покончивши с порцией, корпус откинёт; руками — на скатерть, и слушает, что говорят, в ожидании; раз он дал отеческий, строгий урок мне:

— «Ну, знаете» — строго он губы поджал, — «вы — левее меня».

Я — язык закусил; но, увидевши ласковый взгляд голубых его глаз, успокоился; взглядом, как гладил:

— «Сболтнули вы зря: ничего, — еще молоды».

Я извлекал из него интервью на все темы; был дипломатичен в ответах, когда вопрос ставился прямым; когда же оставляли в покое его, он, как кот на бумажку, высовывал нос и себя обнаруживал; прямо спросить, — он подожжется; глазки, став малыши, — мимо: ответит уклончиво; мнение его искажали: поэтому, не обращаясь к нему, заводил разговоры с соседкой, конечно на нужные темы, но с видом таким, будто дела мне нет до Жореса; он выставит ухо, но делает вид, что читает, хотя и пыхтит от желанья просунуть свой нос; не удерж-

¹⁾ К «господину Бугаеву, этому молсдому человеку».

¹⁾ «Эскиз систематической классификации». 2 тома, книга не переведена на русский язык.

жится, бросит газету, всем корпусом перевернется; и ноги расставит, пропятив живот:

— «Почему вы так думаете?»

Я того только жду; и, бросая соседку, — докладываю; а он — учит.

Так маленькой хитростью я из него извлекал, что угодно.

И мне выяснялось его отношение к событиям русской действительности: революцию в данном этапе, ее он считал неудавшейся, видя реакцию в том, что эсеры считали успехом; досадовал на непрактичность, отсутствие твердого плана борьбы; максимализм для него был развалом; сурово громил партизанов от экспроприации; в моем сочувствии к экспроприаторам видел незрелость и шаткость; но мне он прощал, потому что я не был политиком; иронизировал лишь: «Вы — левее меня»; в психологии мученичества он видел истерику слабости:

— «Выверните наизнанку его» — говорил о бомбометателях, — «и вы увидите: это — ягненок, одевшийся волком; такой маскарад ни к чему».

Он учуял азевовщину за бессильной истерикой прекраснотушия:

— «Нет, почему» — рубил скатерть ножом, — «почему они просто ягнята какие-то?»

Так относился Жорес к большинству эмигрантов, с которыми виделся: виделся он ежедневно с писавшим в газете его Рубановичем.

— «Ваши кричат: революция-де торжествует в России; я — вижу разгром!»

Даже раз, обрывая меня, защищавшего крайности, в пику мне, бросил с досадой:

— «Послушайте-ка: при подобном разгроме движения было бы шагом вперед, если б ваше правительство стало кадетским».

Беседы с Жоресом сказались через три месяца; в ряде заметок в «Взсах», в фельетонах газетных я стал нападать на заскоки в политике, в литературе, в эстетике. В те дни еще люди, подобные Н. А. Бердяеву, громко гласили: они-де левей социалистов; отказываясь от марксизма, они будут строить из пылов своих «свое» царство свободы; о них я пи-

сал: «За горизонтом инфракрасные эстеты в союзе с инфракрасными общественниками... синтезируют Бакунина с Соловьевым. И пребывали бы за чертой досягаемости... Но они бросают камни... в сей бранный мир... Беда в том, что судьба их исчезать за горизонтом — только средство, чтобы появиться справа... Мы давно уже поняли, что «левое устремление», так вообще... в лучшем случае — шарлатанство, а в худшем случае — провокация» (1907).

Так я воспринял беседы с Жоресом: они приводили к сознанию: пафос без тактики — дым; я конфузился надоедать величайшему в этой эпохе политику жалкими мнениями о политике; кстати сказать: от политики переводил мои мысли к культуре он; пришлось признаться, что сам я пишу: он высоко ценил драмы Ибсена; Гауптманом восхищался; Морис Метерлинк был ему очень чужд; но от критики он воздержался:

— «Он, может быть, нравится некоторым; но я должен сказать: этот странный писатель весьма непонятен».

Любил драматические сочинения классиков; и постоянно подчеркивал мне, что Корнель еще ждет надлежащей оценки и что социалисты должны ее дать, отделивши Корнеля от темной эпохи, свой штамп наложившей на драмы его; он подчеркивал, что непредвзятость в оценке искусства конечно же будет господствовать в социалистическом царстве.

— «О, мы, социалисты, сумеем создать Пантеон, уничтоживши толки о том, будто мы унижаем искусство» — махал за столом он салфеткою. — «Мы и гуманней, и шире, чем думают».

Кстати, он не выяснил, когда я говорил «социал-демократ», «социал-демократия»; морщась, хватался за нос, поправляя:

— «Вы хотите сказать: «социализм». «социалисты»».

За трапезой был удивительно прост и в иные минуты открыт совершенно;

кому он не верил, с тем вел дипломатию; раз он привел длинноносого, бритого, самодовольного вида мужчину, который совал свои руки в пиджак с таким видом, как будто и море ему по колени, развязно Жореса-трегируя, даже его назидая отогнутым пальцем; Жорес же с лукавой любезностью, бросивши руки, показал место ему за столом; и потом, повернувшись ко мне, он движеньем ладони ко мне и к мужчине, нас соединил:

— «Познакомьтесь, — месье Бугажёв, соотечественник ваш, месье «Аладьин»!»

Так спесивый нахал оказался Аладьиным, трудовиком первой думы; в России считался оратором он; оказался же агентом империализма; в те дни он был встречен с почетом французами; он читал лекции; шумно давал интервью, в них рисуясь; Жорес с ним держался, как с гостем; любезнейше ставя вопрос за вопросом; от собственных мнений воздерживался; он казался теперь не беззлобным, почтенным профессором, — зорким и настороженным, присевшим в засаду; Аладьин от самовлюбленности точно ослеп и бросал снисходительно, точно монету с ладони, «по-моему», «я полагаю», не видя Жореса, любуясь собою; с лукавым наклоном Жорес принимал эту дань; а надутый Аладьин, засунувши руку в карман, указательным пальцем другой продолжал «полагать» пред Жоресом «по-моему», «как я сказал», не заметив, что за нос водили его; к концу завтрака выяснилось, что Аладьин не только болтун, но дурак; и Жорес, даже как-то плясавший на стуле с потирами рук, с хитроватыми бегами глазок, как лакомством редким, таким дураком наслаждался, под соусом нам подавая его; на другое же утро, улыбку в усах затаив, он с прищуром спросил:

— «Как вам нравится компатриот?»

Мы с достаточной пылкостью высказались: не нравятся вовсе; припавши к столу, захватывая руками за скатерть, подставил он ухо и глазками бегал по скатерти, не выдавая себя, — пока мы говорили: пыхтел в той же позе; и вдруг бородой рубанул по тарелке:

— «Я вас понимаю!»

И бросился к блюду.

А в русской колонии бегали слухи: Андрею-де Белому — как повезло! Декадентишка этот таки-ухитрился с Жоресом знакомство свести, — с тем Жоресом, которого ловят политики, корреспонденты всех стран, интервьюеры; он от них бегаёт; с этой поры рой вопросов:

— «С Жоресом встречаетесь?»

— «Да».

— «И с ним завтракаете?»

— «И завтракаю».

— «Каждый день?»

— «Каждый день».

— «Ну, так я приду позавтракать к вам: я хотел бы Жоресу поставить вопрос».

И посыпалось:

— «Вы попросите Жореса... Спросите Жореса... Мне надо Жореса... Есть дело к Жоресу...»

Желающих завтракать — рой; приглашал я обедать; тогда обижались: со мной не хотелось обедать, а — завтракать; мне приходилось отказывать; наш пансиончик, укрытый в далекой ульчонке, был местом, где мог откровенно Жорес отдыхать, где его окружали без алчности люди простые, нехитрые; ставить его пред разинутым ртом? Но тогда он бесследно исчезнет.

Два раза пришлось уступить: Мережковскому, Минскому; Минский, считавший отцом символизма себя, мне годился в отцы; он себя объявил социал-демократом; газету «Начало», где Ленин писал, редактировал несколько дней¹⁾; его стих открывался строкой:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С упорством ко мне он пристал:

— «Я хочу с вами завтракать!»

Завтракал, с третьей же фразы, бросая меня, прицепился к Жоресу и стал развивать свои нудности, нам с ним ненужные, но и Жоресу ненужные; тот доплывал фразой пустой, нос упрягав в тарелку; откушав скорей, чем всегда, убежал, прошмыгнув котелком

¹⁾ Социал-демократическая газета, выходившая в Петербурге в конце 1905 года (до московского восстания).

мимо окон; я видел, что Минский обиделся, скис и иссяк; он не очень остался доволен Жоресом.

Трудней было с трио: с четой Мережковских и спутником их, Философовым; трио поставило мне ультиматум: — «Знакомьте с Жоресом нас!»

Трио печатало книгу в Париже: «Le tsar et la révolution»¹⁾; Мережковский в Париже, отъехав от Струве, подехал к эсерам; и скоро стал савинковцем; Философов, сжимая в руке шаполак и от имени «Речи» таская свой фрак на банкеты с министрами, часто ходил к анархистам-кропоткинцам и заявлял: хотя «Дима», кузен его, сделан министром²⁾, он все же питает симпатии к синдикализму; а Гиппиус даже из чашки фарфоровой раз угощала свирепого вида матроса-потемкинца, бившего в скатерть рукой:

— «Уничтожим мы вас!»

— «Чай... бисквитик?»

Удрав из России, кричали они о своей левизне; Мережковский, по комнатам шмякая туфлей, воздев кулачки под защитой французской полиции (очень боялся апашей он), бомбой словесной в министров кидал и клялся, что он книгу скажет всю правду, отрезав себе возвращенье в Россию: сношение с царским правительством есть преступленье для Франции; тут он, сходясь с Жоресом, мечтал о совместном с ним митинге; под председательством лидера социалистической партии проголосит Мережковский; Жорес — это имя:

— «Вы, Боря, устройте; сведите с Жоресом».

Недели он три донимал; знал: не выйдет из этого толк; хоть бы строчку Жореса прочел Мережковский; я по Петербургу достаточно знал отношенье к рабочим писателям этого; сделку с Жоресом придумав, стал блузником он.

Делать нечего; начал я издали, от разговора с соседкой, — о бывших собраниях с попами писателей, ратовавших против церкви, но за христианство; Жорес за газетой пыхтел, ставя ухо на наш разговор и бросая мне с рывками:

¹⁾ «Царь и революция».

²⁾ Двоюродный брат Философова был в это время министром.

«ле» или «ля»; как всегда, зацепившись, он выставил нос из газеты; потом, кракнув стулом, всем корпусом, напоминающим гиппопотама, влетел в разговор; я представил ему физиономии Минского, Розанова, Мережковского, Гиппиус, как атакующих вместе с сектантами церковь; он внимал, как симптому, рассказам об этой атаке; я вставил броском замечанье: трилогию Д. Мережковского можно прочесть по-французски; о ней что-то слышал Жорес.

Через несколько дней я соседке докладывал, в ухо Жоресу крича: Мережковские переселились в Париж; я их вижу почти ежедневно; так, дав силуэт Мережковского, я обратился уж прямо к Жоресу:

— «Мой друг, Мережковский, хотел бы, месье, с вами встретиться; есть у него к вам вопросы; он просит у вас разрешенья позавтракать с вами».

Учуяв засаду, Жорес нырнул в блюдо, надувшись и шею вдавив меж плечей, в этом жесте напомнивши гиппопотама, залезшего в тину и ноздри свои из нее поднимавшего; и, как Аладьину, светски, с приклоном, пропел, что, встречаясь с общественным деятелем, должен прежде всего он узнать физиономию этого деятеля; с Мережковским охотно бы встретился он; но его не читал; он теперь им займется; и тут, записавши название трилогии, фирму издателя, он оборвал разговор; с той поры о свиданье — ни звука; прошло две недели; на все приставания Гиппиус — «Вы на Жореса давите» — ответил отказом, рискуя опалу попасть.

Но однажды Жорес, собираясь уйти, подошел и, пропятив живот, бросив руки, пропел церемонно:

— «Так вот: я знакомился с произведениями Мережковского; вы передайте же вашим друзьям, что я очень охотно бы встретился с ними: так — завтра: в 12 часов».

Зная скверный обычай четы Мережковских опаздывать (Гиппиус ведь просыпалась не ранее часа), чету умолял я быть точной: Жорес, дорожа каждым мигом, наверно придет до 12-ти; мне обещали они; но конечно проспали; и —

вообразите: хозяин ко мне прибегает за 20 минут до полудня:

— «Месье Бугажёв: вам месье Жорес просит напомнить, что ждет вас внизу; вас и ваших друзей».

«Друзей» — нет! С неприятнейшим чувством спускался в пустое я зальце; Жорес, руки бросив за спину и перетоптываясь под окном, проявлял уже признаки нетерпеливой досады; не глядя, ткнул руку; и тотчас, схватясь за часы, на ладони расщелкнувши их, обратился к двум тощим французам, сотрудникам «Юманитэ», приведенным наверно, чтоб разговор деловой протекал при свидетелях (был осторожен); стенные часы громко тикали; пять минут, десять; Жорес, согнув палец, стал перетирать им себе под губой волоса с таким видом, как будто чихал на меня:

— «Э, да что уж!.. Эхма!..»

С перевальцем ходил все под окнами; двое французов сидели у стенки, косясь на меня; вот пришел Мародон, появилась соседка, спустился рантье; уже первое блюдо; Жорес занимался с французами, потчюя их, с аппетитом бросая на блюда; второе нам подали; тут он, вторично схватясь за часы, их расщелкнул:

— «Ну, — ваши друзья?»

Появились!

Высокий, красивый, подтянутый, с номером «Речи» в руке, Философов почтительно подал газету Жоресу:

— «Позвольте, месье Жорес, вам поднести этот номер газеты; я вам посвящаю статью в нем».

Жорес, прижав руки к груди, поклонился; увидевши рыжеволосую Гиппиус в черном блестящем атласе, с лорнеточкой белой в руке, косолапо отвесил поклон; и теперь лишь предстал ему «кит», в виде маленькой, хмурой фигурочки с иссиня-белым лицом и пустыми глазами на выкате; эта фигурочка силилась что-то извлечь из себя; Мережковский, «великий писатель», нет, — что с ним случилось? Перепугался? Ни прежде, ни после не видел его в такой глупой позиции; хлопая глазом, он силился что-то такое промямлить, как школьник, на стуло присев; и — выщипывал крошки: балдел; как

всегда, Философов его отстранил, очень дельно, раздельно представя мотивы для митинга и доказавши Жоресу, что руководителю «Юманитэ» надо митинг возглавить.

Жорес только слушал да ел, занавесясь салфеткою, севши в нее, как в кусты, из которых с большим любопытством разглядывал трио, облизываясь и оглаживаясь; очевидно — весьма забавляла: лорнеточка Гиппиус; на Мережковского он не глядел, чтоб не мучиться мукой писателя; этот писатель умел голосить и молчать; говорить не умел он; так лет через пять, посетив тихий Фрейбург, он грозно рычал на философа Генриха Риккерта — тихого мужа:

— «Вы, немцы, — мещане, а русские, мы, — мы не люди; мы — боги иль — звери!»

Философ, страдавший боязнью странства, признался Ф. А. Степпуну, что от этого рыка не мог он опомниться долго:

— «Вы, русские, — странные люди».

А перед Жоресом обычно «рыкающий левик»... икающим стал. Так и ахнул, когда лет через десять в немецком журнале попалась мне воспоминанья писателя об этой встрече с Жоресом; из них я узнал: Мережковский Жоресу высказывал горькие истины; и знаменитый оратор ему-де на них не ответил; хотелось воскликнуть:

— «Ах, Дмитрий Сергеевич, можно ль так лгать! Вы молчали, набрав в рот воды, потому что за вас говорил Философов; вы хлопали только глазами».

Свидание длилось 15 минут или 20; Жорес согласился условно способствовать митингу; был осторожен до крайности он, отложив разговор о подробностях митинга; митинга — не было, книга «Le tzar et la révolution» провалилась; «великий писатель» вернулся к себе: в Петербург; о Жоресе он даже не вспомнил при встрече со мной.

По тому, как Жорес себя вел с Мережковскими, Минским, Аладыным, видел, какой он политик; предвидя войну, зная все подоплеку ее, он боролся с идеей реванша, с разделом Германии, Австрии, с планом создания югосла-

вянской державы, границы которой политикам были известны до... карты, уже отпечатанной в штабах; боролся, как мог, с франко-русским союзом, указывая, что союз — наступательный.

К маленьким людям склонялся сердечно; когда я болел, то Гастон, внося завтрак, передавал каждый день мне привет от Жореса; позднее, посещая в больнице меня, немка-барышня передавала, с какой теплотой Жорес ее спрашивал о всех подробностях хода болезни моей; в отношении к ней проявил он участие на деле; когда я вернулся в отель, то ее уже не было; ставились рядом приборы: Жореса и мой.

— «Мадемуазель, где она?»

Тут, расставивши толстые ноги, Жорес повернулся; руками салфетку схватил, прижимая к груди:

— «Мадемуазель переехала; ей далеко теперь завтракать с нами; но ей удалось наконец подыскать род занятий, который вполне соответствует ее способностям».

Стало мне ясно, кто принял участие в ней.

Этот трезвый мужчина с рассеянным видом профессора виделся экзаминатором, академическим лектором, автором толстых томов, — не оратором вовсе; он взвешивал каждую фразу, которую произносил угловато: с надсадой, с трудом; я не видел оратора в нем; но в Париже жить и не услышать Жореса — в Москве побывать, не увидев Кремля.

Я прочел объявление о слове вступительном в Трокadero¹⁾, перед чтением Корнеля артистами из «Комеди Франсэз»; начало назначено было в час с четвертью; сбор поступал в пользу «Юманите».

Почему-то я думал, что он не придет перед лекцией завтракать; он появился, таща пук газет; он просунул в них нос; только был он рассеяней: не убежал после третьего блюда; чуть щурясь, сидел посредине пустого стола, захватывая руками за скатерть, с отчетливо помолодевшим и ставшим, как выбитым, профилем; между ресницами вспыхивал

влажно-мерцающий свет; седовато-курчавые, на расстоянии серые, золото-карие волосы мягко вставали над карим лицом; твердо сжались пуноцвые губы; Пракситель бы мог изваять эту голову: в ней — что-то Зевсово.

Зал вмещал несколько тысяч в нем бившихся туловищ; черное роище: зыбь рук, голов, сюртуков, шей, локтей — в коридорах, в партере, в проходах, на хорах; сидели, стояли, ходили, сжимая друг друга, друг в друге протискиваясь — разодетые дамы и барышни скромного вида в простых шемизеточках, лавочки, буржуа, адвокаты, студенты, рабочие.

Вот: все воскликнуло; залпами аплодисментов, как отблеском ясным, весь зал просиял; и Жорес появился из двери, увидясь и шире, и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз; переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которою встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном: направо, налево; но вот он короткую руку свою бросил в воздух: ладонью качавшейся уgomнял рявк и плеск; водворилось молчанье; тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилия в уши врубать тяжковесные свои фразы, — забил своим голосом, как топором; и багровыми, мощными жилами вздулась короткая шея; грамматика не удавалась ему; говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкаясь паузами; слово в сто килограммов почти: ушибало; раздавливал вес — вес моральный; тембр голоса — кричающий, упдающий звук топора, отшибавшего толстые ветки.

Кричал с приседаньем, с притопом увесистой, точно слоновьей, ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона; и мелькало: что будет, коли оторвется от кафедры и побежит: оборваться с эстрады; вот он — оторвался: прыжками скорей, чем шажечками, толстого туловища, продвигался он к краю эстрады; повис над партером, вытягиваясь и грозясь толстой массою рухнуть в толпу; голос

¹⁾ Огромный причудливой архитектуры дворец на берегу Сены против Эйфелевой башни.

вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дишкантами визгливой игры на гребенке; вдруг чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподымал эту массу людей к потолку: ушибить их затылки, разбить череп, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем.

Мы кубарями понеслись на космической изобразительности; он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы; переменялся рельеф воспринятый; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан; промежуточные заключенья глотал; и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уж ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас интуицией одолевая расстояния меж силлогизмами; мыслил соритями, эпихеремами¹⁾, и оттого нам казалось: хромала грамматика и упразднялася логика лишь потому, что удесятерил он ее.

Не припомнить, чего он коснулся. Смысл: снять катаракты мешанских критериев с глаз, чтобы видеть политику трезво: в событиях парижского дня, в протоколе рейхстага, в интрижке колониальной политики Англии надо уметь восстанавливать ось всей планетной действительности; точно Фидий скульптуру, изваивал целое из непосредственно данного хаоса, бывшего в нас, как тайфун; за потоком с трудом выбиваемых образов преощущалась программа огромной системы, им произнесенной на митингах, ставшей решением, действием, лозунгом масс.

Говорил он периодами: «так как» — пауза; «так как» — вновь пауза долгая; и наконец уже: «то...»; иль:

— «Когда» —

начинал он с поревом, с подлетом руки на притопе, — «то то-то», рисуящим инцидент в Агадире, едва не приведший к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирающей саблей.

— «Когда» —

брал регистром он выше, и выше метал руку, бороду, топнувши, —

«то-то и то-то», рисуящим роли Вальден-Руссо, Галлифэ, Комба в недавнем конфликте с соседней военной державой.

— «Когда» —

дишкантами летел к потолку, став на цыпочки и перевертываясь толстым корпусом, чтоб бородой и рукою закинуться к хорам и с хоров поддержки искать у протянутой из-за перил головы, —

«то и то-то», рисуящие революцию русскую, Витте (и капали капли тяжелого пота на бороду); вдруг с дишкантов в бездну баса:

— «Тогда!» —

и рукою, вырастающей втрое над опеченевшим партером, как кистью огромною, он дорисовывал выводы.

Выстрелы аплодисментов: всплывала от всех ускользнувшая связь меж «кгда»; в той же позе — он ждал: животом — на партер; и потом, отступая, тряс победительно пальцем, от слова до слова свой вызвавший возгласы текст повторял он; повертываясь, переваливаясь, брел под кафедру, пот отирая платком, точно слон к водопою; и с новым периодом снова бросался на нас.

Кончил: кубарем вылетел я, чтобы после него не услышать Корнеля, которого так он любил, что поднес, точно лакомство; Корнель — художник.

Жорес — еще бо́льший: художник политики.

Он, говорят, говорил больше часа; но время мне жалось в минуту, чтобы протянуться годами: в сознании; в «Юманитэ» я читал стенограмму; но речь была в паузах, в голосовой интонации, в жесте; в ней фраза, обстанная кариатидой-метафорой, как бронтозаврами, мощно плескалась прибором ритмических волн; да, — размах мировой: современность парижская не подходила к размаху; эпоха войны открывала Жоресу возможность взрывать динамитные склады Германии, Франции, Англии, — в этой эпохе он делался главнокомандующим миллионов стонавших; он мог бы зажечь революцией Францию, Жоффра сменить, повернуть

¹⁾ Ракурсы силлогистической мысли.

дула пушек и вызвать ответные отклики в Англии, даже в Германии; шаг его был шаг эпохи; биение сердца — бой колокола.

Это — поняли: даже в тюремном застенке бой сердца Жореса звучал бы набатом; так что оставалось убить.

И они это сделали.

Я пережил эту смерть вблизи Базеля; но не великий, величию равный эпохе, погиб для меня; для меня эта смерть — смерть сердечного, доброго, ставшего в воспоминании близким; семь лет я не видел Жореса; но знал я: он — есть; а теперь его — не было; и — я забыл о войне; и забылось, что мы, проживающие рядом с границей, в клетках

меж двух армий, что пушки из Бадена наведены и на нас, что близ Базеля корпус французов, прижатый к Швейцарии, вынужден в нашу долину вступить; и тогда пушки Бадена (как на ладони, — там) грянут; уже собирали дорожные сумочки: в горы бежать; уж под Базелем бухали пушки.

Все это забылось; я, как сумасшедший, забегал по берегу Бирса:

— «Месье Жорес... Тот, кто опорой мне был в тяжелейшие месяцы жизни, кого я любил...»

И над струями темнозелеными пеной курчавой плескалось и плакало:

— «Умер он, умер: они — погубили его!»

Люди и факты

1. П. Ширяев — Высокая земля. 2. П. Лукницкий — Диванà

1. ВЫСОКАЯ ЗЕМЛЯ

П. Ширяев

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*)

22

Голубое море легло между близнецами-братьями: Нарынским и Чолпан-Атинским конесовхозами —

Нарынский — на южном, Чолпан-Ата — на северном берегу озера Иссык-Куль. Пути в Нарын и в Чолпан-Ата лежат через Рыбачье, и пути эти непохожие, разные. Путь в Нарын — ущелья, перевалы, звериные тропы, — безлюдье и глушь... Путь в Чолпан-Ата — по бойкому тракту Рыбачье—Каракол; справа — голубой Иссык-Куль, слева — заросшая полынью и усатым чем равнина, уплывающая к предгорьям Кунгей-Алатау.

И, как пути разные, так же непохожи и разные два брата-совхоза. Дыханье Нарына сурово, в нем слышна первозданная мощь. Чолпан-Ата дышит ароматами цветников, тополей, теплом и бодрым запахом яблок в тенистых садах. В Нарыне Елеференко радовался, как золотой руде, картофелю и мечтал, хотя бы о самой паршивенькой яблоне, которая могла бы устоять против жгучих нарынских ветров; в Нарыне качан капусты звучит, как ананас... В Чолпан-Ата — изобилие всех плодов земных: абрикосы, тучные, дымчато-синие сливы, черешни, брызжущие соком груши

«дюшес», а яблоки «апорт» превосходят по величине и вкусу знаменитый алма-атинский апорт.

Если Нарынский конесовхоз в какой-то мере — пока еще хаос, из которого только-что начинают вырисовываться величавые контуры «мироздания», то по сравнению с ним Чолпан-Ата — вполне сформировавшееся, образцовое хозяйство.

Чолпан-Атинскому конесовхозу было легче расти и жить. Не говоря уже о более удобных и культурных путях и способах сообщения с ним, сама природа благоприятствовала его росту. В климатическом отношении Чолпан-Ата — великолепный курорт. Он расположился в глубокой котловине у самого озера. Хребет Кунгей-Алатау защищает его от холодных северных ветров, а «Горячее озеро»¹⁾ еще более смягчает прекрасный климат.

Но... климат — климатом, и природа — природой... Нехватало человека. Нехватало творца, который сумел бы не только понять и оценить эти дары природы, но и включить их как органическую часть в то огромное целое, что мы называем социалистическая стройка.

До революции Чолпан-Ата был жалкий и незаметный поселок; несколько

*) См. «Новый мир», кн. кн. 7 — 8 и 9 с. г.

¹⁾ «Иссык-Куль» в переводе — «Горячее озеро».

приземлившись в нем кулачков ослепло рылись в своем маленьком благополучии. И все! Жизнь без перспектив, без творчества и без пафоса.

Нужны были новые люди. И эти новые люди пришли. Это были все те же красные конники-бойцы тт. Удрис, Раппопорт, Гофман...

И на месте жалкого поселка возник великолепный конесовхоз, который сейчас становится местом паломничества не только для русских, но и для иностранцев...

.....

23

В первую мою поездку в Нарын мне пришлось задержаться на несколько дней в Кочкорском овцеводческом совхозе, неподалеку от селения Кочкор. Совхоз этот по количеству поголовья — крупнейший в Союзе. Он в достаточной мере благоустроен: есть контора, квартиры для служащих и рабочих, общежитие, дом для приезжающих, столовая и пр. Широкий и мощный арык с чудесной водой прорезает территорию совхоза...

Но все дни, которые я там провел, я не мог отделаться от гнетущего состояния благодаря полному отсутствию зелени. В совхозе нет ни одного деревца, ни одного кустика. Было страшно выходить из комнаты на зной и горячий ветер, несущий столбы едкой пыли. Никуда не спрячешься, как в Рыбачьем, никакой нигде тени!..

— Деревья тут не растут, ветры вредные! — объясняли мне совхозные работники.

— И овощ никакой здесь не произрастает! — добавляли другие.

Огородов в совхозе тоже не было.

Перед отъездом я пошел в поселок купить на дорогу какую-нибудь еду. У арыка, у мостика в две гибких и неверных дощечки, я остановился. Навстречу шла женщина, — на мостике вдвоем не разойтись! — в руках у женщины была корзинка, в корзинке — картофель и несколько штук морковок.

— Ма-ма!.. — прозвенел у меня за спиной детский голос, и мальчуган, лет

семи, рыжеволосый, конопатый, стремительно бросился на мостик к женщине.

— Подожди, куда ты?! — пыталась остановить его мать, но он уже был около нее и лез ручонкой в корзинку.

— Не лезь, говорю, подожди!..

— Морковку-у, да-ай морко-овку! — заголосил мальчуган.

— Нету морковки, это в суп. Суп будешь с морковкой есть.

— Дай, дай!..

— Говорю, нельзя!..

— Да-ай!..

Женщина вздохнула, выбрала морковь поменьше и сердито сунула ее в руку мальчугану.

— На, отвяжись, паршивец! Иди вперед, ну!..

Не знаю, как это случилось, но мальчуган, балансируя на кривых ножках по гибкому мостику, выронил морковку в бурливый арык. Морковка закрутилась и исчезла.

Я никогда не слышал такого отчаянного, пронзительного вскрика. Так кричат, когда отрубят руку, ногу, вырвут глаз, словом, произойдет страшное и непоправимое несчастье. Растопырив руки и ноги, мальчуган, нагнувшись над арыком, смотрел в то место, где исчезла чудесная морковь, и дико вопил...

— О-ой... о-о-ой... о-о-ойй!!!

Шлепком мать согнала его с мостика и зашагала сердито к совхозу. Не переставая вопить, мальчуган ползл за ней. Я долго еще слышал его неутешный плач. И горе его было мне понятно.

— Эх, теперь бы поми-до-р-чик или огурчика!..

Эту фразу произносили с неизбывной тоской в совхозе и взрослые...

.....

В дорожном мешке у меня было несколько луковиц, припасенных во Фрунзе. Продолжая путь в Нарын, я из Кочкорки добрался до фермы Тюлек, прилепившейся почти у самых снегов хребта Кара-Кокты. Там я заночевал. Утром в мазанку заведующего фермой, где я был, вошли четыре девушки. Вошли якобы «по делу», к заведующему... (Разве не «дело» — появление живого, нового человека на ферме, приютившейся на высоте почти три тысячи

метров, на ферме, где все «население» укладывается в однозначную цифру!?)

Девушки работали на «производстве» брынзы.

Я сидел на полу и перебирал содержимое моего дорожного мешка, приготавливаясь к отъезду...

Как сейчас, помню загоревшиеся глаза одной из девушек, когда она увидела вынутые мною из мешка луковицы. Она смотрела на них так же, как смотрит ребенок на блестящий предмет, когда он его видит впервые.

— Хотите? — предложил я.

... Можно «хрупать» яблоки, морковь, репу, но чтобы так «хрупать» лук, как начала его хрупать Лиза, я видел впервые.

— Лизка, да что же ты всю слопа-ла?! — не без зависти вмешалась хозяйка мазанки...

Из Тюлека я выехал без луковиц.

.....
 Это все из моей первой поездки в Нарын. Прошел год. Поздно вечером, осилив мрачный Улахолский перевал, я и проводник Мамбетказы вехали в Рыбачье. Разыскали базу Коневодтреста...

В юрте горела лампа. У очага, на котором кипятился чай, сидел сторож базы и «торговый агент» Чолпан-Атинского конесовхоза тов. Олейников. Первое, что я заметил, войдя в юрту, была пирамида решетчатых ящиков с помидорами.

— По-ми-до-о-ры-ы?!!

..... — Товарищ Олейников, можно один помидор?!.

Потом я сказал:

— Здравствуйте!..

.....
 — С руками отрывают, товарищ Ширяев, — рассказывал мне Олейников, — не наготовишься. Зеленый, порченый — все равно: давай и давай! А теперь вот скоро капуста подспеет, не знаю, как и управимся. Нигде ведь ничего негу, только у нас в Чолпан-Ате... Кочкоока пресит — давай, Томчи — тоже, а в Рыбачьем, не успеешь с подводы разгрузить, моментом, как бритвой, — подчистую!..

— Товарищ Олейников, я еще возьму помидор!..

— Кушайте, кушайте!.. В Нарыне, там этого не увидишь! Кушайте, дайте-ка я вам поспелее выберу!

— Все равно!..

— С транспортом у нас плохо. Грузом приходится доставлять, а сами знаете, чего это стоит, к тому же отрывать лошадь сейчас от хозяйства трудно и даже неспособно. Пара лошадей; туда и обратно — четверо суток; корм; харч для людей. Прямой убыток! Возьмем для наглядности картошку. У нас ее на Урюктинском хуторе пятнадцать га, а от Урюктово до Рыбачьего полтораста с лишком километров. Вот и считайте! От силы на подводу тридцать пудов, а сколько ее с пятнадцати-то га!?. Вот и вози!.. Не хотите еще помидорчика?..

.....
 По Иссык-Кулю ползают два-три пароходика из Рыбачьего в Каракол и обратно. Директор конесовхоза любил по утрам выйти на берег и смотреть на голубую воду озера. Посматривали на Иссык-Куль и бухгалтер совхоза Михаил Малахович Слепенко, и агроном Карл Мартынович Рисс...

Директор Л. Л. Раппопорт думал о разных вещах: и о строительстве, и о табунах, о дорожном строительстве, о разных неполадках совхозного механизма и о самом больном в жизни совхоза — об отсутствии автотранспорта...

Михаил Малахович был озабочен «финпланами», мобилизацией «внутренних ресурсов» и еще целым рядом вещей. Он не был только «бухгалтером», которому платят жалованье. Конесовхоз для него был таким же детищем, как и для Раппопорта. Каждая мелочь совхозного строительства его волновала.

Агроном Рисс сгибался под тяжестью плодов земных: урюктинского картофеля, чолпан-атинских помидор и сотен тонн созревающей капусты. Все это надо реализовать и превратить в новые огороды, в новые сотни тонн овощей и фруктов для окружающего населения, для Кочкорки, Рыбачьего и пр.

— Карл Мартынович, сколько примерно тонн картофеля будем мы иметь в Урюктах в этом году? — спрашивал

директор, когда вечерами случайно в конторе сходились он, агроном и бухгалтер.

— Считайте, Леонид Львович, пятнадцать га, если в среднем с га... — агроном называл цифру.

— Значит, чтоб перебросить картофель из Урюкты, скажем, в Рыбачье, потребуется подвод...

— Это же невозможно, Леонид Львович! — с юношеской запальчивостью вмешивался Слепенко. — В прошлом году у нас не было таких огородов и такого строительства, и все-таки транспорт нам обошелся в двадцать четыре тысячи рублей!.. А что мы будем делать с капустой? Вы видели, сколько ее и какая она у нас! А лес и строительные материалы нам надо возить из Урюктов? Надо! Да и какие у нас перевозочные средства!.. Ерунда! Я говорю, что мы не управимся...

На «огонек» и голоса в контору заходили еще люди. Приходил кузнец Лященко, огромный, могучий и застенчивый человек. Ветврач. Заведующий кооперативом... Другие...

— Если Москва не дает нам до сих пор автомобиля, — продолжал Слепенко, — мы его сами должны найти. Деньги у нас есть. Одна реализация огородных культур нам дает семьдесят тысяч рублей...

— А потом, Леонид Львович, гужевой транспорт по этим дорогам требует все время ремонта, а железа шинового например у нас — нехватка, и взять его негде... — вставлял раздумчиво Лященко.

— Без автотранспорта мы зашьемся!

— А лошади!.. Мы же их в конец измотаем! — вставлял ветврач.

В этих попытках разрешить больной транспортный вопрос отдельные мысли собеседников переплавлялись в одну коллективную мысль, и в один из вечеров эта коллективная мысль нашла смелый и необычный выход из транспортного тупика.

— А почему бы нам, конникам, не превратиться в мореплавателей? Иссык-Куль — в нашем распоряжении.

— Лесопилка в Урюктах есть. Лесу — завались. Брезент, канаты достанем.

— А вот как насчет гвоздей, товарищи?..

— Мм-м-да-а...

— Товарищ Лященко, как ты, что скажешь?

— Да ведь, ежели не достанем, сами наделаем!

— Ну, хорошо, а корабельного мастера откуда мы достанем? Корабль — не сундук и не табуретка.

— Не достанем, сами обмозгуем! А один человек есть на примете...

.....

— — Лес,

гвозди,

канаты,

брезент,

корабельный

мастер — —

все есть!

Но над всем этим был еще один необходимый строительный материал —

с о з и д а ю щ а я в о л я...

Так родилась у чолпан-атинцев мысль о «собственном флоте».

Так краснознаменец-конник Л. Л. Раппопорт к титулу «директор» прибавил еще новый титул —

а д м и р а л.

24

«Верфь» была учреждена на Урюктинском хуторе.

День и ночь визжали пилы на лесопилке. По склонам Урюктинской щели, где темнеют кущи тянь-шаньской ели, шарилы неугомонные строители, выбирая «корабельный» лес.

В Чолпан-Ата, в своей маленькой мастерской кузнец-слесарь-механик, могучий Лященко, не разгибая спины, ковал гвозди.

Иван Степаныч — корабельный мастер — заявил:

— Восемь тысяч штук, ни гвоздя меньше!

Было мобилизовано все, что могло дать лишнюю сотню гвоздей. Вся проволочка, весь железный утиль.

И восемь тысяч гвоздей были сделаны. Широкая, сутулая спина Лященко вела им счет.

Из Чолпан-Ата во Фрунзе каждый день летели телеграммы агенту по снабжению:

— Фрунзе. Улица Карла Маркса. Тараненко.

Даешь: брезент!..

— смолу!

— бечеву!..

— блоки!..

— якорь!..

— якорную цепь!..

Тараненко метался, как угорелый, по магазину, складам, учреждениям, просил, требовал, лицемерил, врал, божился и —

отгружал в Чолпан-Ата брезент, смолу, канаты, цепи и пр., и пр. Всевидящее око конесовхоза, Михаил Малахович Слепенко сидел над выкладками, балансами, планами и вел строгий учет стоимости кораблестроения, и знал заранее:

сколько бы ни стоил «броненосец», два рейса с грузом из Урюктов в Рыбачье с лихвой окупят затраты.

Агроном Рисс Карл Мартынович мастодонтом шагал по огородам и мысленно закладывал новые десятки га морквы, картофеля, капусты, помидор...

Волновался и ночей не спал «адмирал-директор» Л. Л. Раппопорт. Разве уснешь с новым титулом!?

— А что, вдруг корабль потерпит крушение?..

— А вдруг выстроим, а он куда не годится?

— Или попадет в бурю!?

— Выйдет с грузом и вдруг — течь! И на дно!..

— Корабль — не жеребец и не кобыла. Там — «тппрру», и все в порядке! А тут...

Адмирал спрыгивал с постели и шел в крохотную квартиру М. М. Слепенко, отвлекая его от балансов и вычислений.

— Чего это вы не ложитесь? Первый час уже...

— Да вот все с этими сведениями путаюсь, Леонид Львович! А вы чего бродите по ночам и тоже не спите?

— Да так, что-то не спится! Лежал, и вдруг раздумался: а что, если наш

броненосец попадет в бурю? И... ко дну?

— Ну, что вы...

— Или вдруг — течь!..

По деревянному крыльцу — тяжелые шаги: Карл Мартынович Рисс.

— Смотрю — огонек. Вот и зашел! Что-й-то вы не спите, товарищи?

— А вы?

— Да я, знаете, люблю ночью погулять.

— Леонид Львович все беспокоится, кабы наш флот ко дну не пошел!

— Ни-че-го-о!.. — басил Карл Мартынович. — Не поиде-ет!

— А вдруг попадет в бурю?

С невозмутимым спокойствием Рисс отвечал:

— А что ж!.. Корабли для бури и строятся. Какой же это корабль, который бури боится!?

— А вдруг — течь?

— За-ткну-ут, Леонид Львович!

— А как мы его назовем, Михаил Малахович? Я думаю — «Оборона».

— Можно «Оборона».

.....
О постройке «флота» я узнал в свой второй приезд в Чолпан-Ата. И, признаться, отнесся к этому скептически.

— Где, как, из каких материалов, какой инженер сможет здесь, в Чолпан-Атинском конесовхозе, построить судно?.. Лодчонку — да!.. Но судно, грузоподъемностью в три тысячи пудов, это — не фунт изюму!..

Мне это казалось фантазией.

Рано утром я вышел на берег озера, пострелять фазанов. Смотрю — на глинобитной стене, огораживающей посадки декоративных деревьев, стоит Раппопорт. Правая рука вытянута кверху, на указательном пальце — лоскуток папиросной бумаги. Какой-то заклинатель или фокусник...

Подхожу.

— Что это вы делаете, Леонид Львович?

Немного смущенный моим неожиданным появлением, Раппопорт спрыгнул со стены.

— Определяю направление ветра.

— А зачем?

— Сегодня первым рейсом должен прибыть из Урюкты наш броненосец.

Раппопорт говорил, улыбаясь, шутил... Но по его лицу я видел, что он волнуется.

— Чорт возьми!.. Я же теперь — адмирал! Волнуюсь. А вдруг кораблекрушение? — Он взял меня под руку. — Ведь вы понимаете, ежели из этой затеи выйдет пух, — меня так вые... А, с другой стороны, броненосец может быть нашим благодетелем.

Из-за бугра слева выдвинулась высокая, сутулая фигура Карла Мартыновича, за ним — Слепенко.

— Ну, не видать?

— Нет. Боюсь, не случилось ли что-нибудь! Вдруг затонул?

— Не за-то-нет! — уверенно протянул Рисс. — К полудню, раньше не будет.

— Вы знаете, в прошлом году, — повернулся ко мне Раппопорт, — из Каракола в Рыбачье шел пароход с грузом пшеницы. Понимаете, настоящий пароход. Вдруг — шторм. Как закрутил, как нача-ал!.. Нет тебе спасенья!.. Пять тысяч пудов пшеницы пришлось выбросить в озеро, тем и спаслись... На Иссык-Куле, говорят, хуже, чем в Черном море, если шторм...

— Ни-че-го-оо! — со своим обычным невозмутимым спокойствием протянул Рисс. — На то и шторм, чтоб корабль не дремал...

В полдень в мою комнату бурей вошел Раппопорт.

— Идет, идет!!! Айда встречать! Уже недалеко!

.....

Это был настоящий «взаправдашний» корабль. С двумя мачтами, реями, парусами и прочими подробностями, характерными для парусника. И конечно с экипажем и капитаном.

Он бросил якорь в нескольких десятках метров от берега. Мы добрались к нему на лодке. Я, Раппопорт, Рисс и Слепенко. Нам дали «трап» — конец мокрой и скользкой веревки. Пообезьяня мы вскарабкались на борт. Нас встретил капитан и строитель Иван Степанович — хмурый, усатый человек в валенках. Я без улыбки не мог смотреть на Л. Л. Раппопорта, — так он

волновался, торжествовал и так хотел не показать своей взволнованности...

И было отчего!..

Построить относительно большое судно хозяйственным, кустарным способом при полном отсутствии настоящих строительных материалов — это звучало, почти как анекдот!..

— Теперь, Леонид Львович, мне бы тетрадочку! — заговорил Иван Степанович. — Надо судовой журнал завести, чтоб все честь-честью. Вот выйдем в первый рейс на Рыбачье — надо записать делагы. А потом надо и название прописать по борту. И еще — флажок, обязательно!

— Все, все будет, капитан! А каюта у тебя есть?

— А как же! Пожалуйста!

Иван Степанович подвел нас к дыре в палубе. По лесенке в пять ступеней мы спустились в каюту: я, Раппопорт и капитан. Больше трех человек «капитанская каюта» вместить не могла. Иван Степанович извлек откуда-то полбутылки портвейну, яблоко и стакан.

— За благополучное прибытие!..

Торжественное прибытие «эскадры» в порт Чолпан-Атинского конесовхоза было отпраздновано.

Потом мы все, совместно с экипажем, подтягивали ближе к берегу прибывший «броненосец»...

— Ну, уж теперь-то мы завалим нашей сельхозпродукцией и Рыбачье, и Томчи, и Кочкорку!.. — басил Карл Мартынович, когда мы возвращались с озера после встречи «корабля». — В будущем году мы выбросим на рынок в два раза больше продуктов.

— Еще бы нам обзавестись хотя бы полуторатонкой!.. — вслух мечтал Слепенко.

Я слушал, и мне вспоминался мальчуган в Кочкорке, уронивший морковку в арык...

25

Сельскохозяйственные мероприятия Чолпан-Атинского конесовхоза, его строительство и его «быт» могут служить блестящим образцом совхозного строительства вообще.

Совхоз начал свое существование буквально ни с чем. Двести пятьдесят случайно собранных магок и никаких средств. Сперва совхоз входил в систему Кирплетреста и занимался разведением птиц, свиней, коров, в то время как его основной задачей должно было быть производство ремонтной, улучшенной лошади и улучшателя для местной киргизской матки...

Буйный рост совхоза начался примерно с 1930 года.

Любопытны здесь цифры.

В 1930 г. основной производственный фонд совхоза выражался в сумме 396.000 руб.,

в 1931 г. — 1.124.000 руб.,

в 1932 г. — 1.813.000 руб.,

в 1933 г. — 2.737.000 руб.

В 1930 г. работало в конесовхозе рабочих и служащих 150 человек,

в 1931 г. — 370 чел.,

в 1932 г. — 654 чел.,

в 1933 г. — 1.028 чел.

Расходы на строительство выражались:

в 1931 г. — 139.000 руб.,

в 1932 г. — 244.000 руб.,

в 1933 г. — 1.049.000 руб.

А для того, чтобы приведенные цифры были еще более показательны, достаточно привести тот факт, что в 1933 году конесовхоз путем мобилизации внутренних ресурсов вносит в свое хозяйство огромную сумму в шестьсот пятьдесят тысяч рублей!

Совхозный быт организован прекрасно.

Есть молочная ферма, колбасная, хороший кооператив, столовая, клуб... И куда бы вы ни заглянули, везде — образцовый порядок, чистота и даже изящество. Последнее особенно боосается в глаза, когда приезжаешь в Чолпан-Атинский конесовхоз после посещения других совхозов, созданных в революционный период. Во всех новых постройках Чолпан-Ата чувствуется не только желанье построить удобно и прочно, но

и красиво. Чувствуется любовное внимание к деталям. Очевидно в этом в какой-то мере сказываются личные качества руководителя совхозной жизни, в частности «директора-адмирала» Л. Л. Раппопорта.

Помню, с каким увлечением он говорил мне о постройке клуба. Мы возвращались с ним в контору после осмотра жеребятника.

— Смотри, вон обрыв направо! — вытянул он руку. — Вот там и построим!.. Во-первых, оттуда — чудесный вид на озеро!.. Сделаем с круглой террасой, с колоннами; обрыв этот озеленим, разобьем клумбы. Ведь ты понимаешь, когда рабочий придет в прекрасное, светлое, красиво обставленное помещение, когда перед глазами цветы, прекрасный вид, полы блестят, понимаешь, он ведь отвыкнет и харкать на пол, и сморкаться в кулак, и навозить!.. У него постепенно создадутся культурные привычки. Он их и в семью к себе перенесет... А вечером например, ты представляешь... — Раппопорт остановил коня и снова вытянул руку к обрыву, — представляешь, какой будет вид отсюда!?. Этакое здание, и все в огнях!..

И еще помню...

Осматривали мы почти законченную стройку лазарета для лошадей. Лазарет был расположен неподалеку от совхоза, в чудесной долинке, близ озера. Дорога к лазарету была обсажена двумя рядами тополей. Посадки были недавние, свежие.

— Правда, хорошо? — спросил меня Раппопорт, остановив коня в конце аллеи.

— Неплохо.

— Это еще не все! Я уже приказал разбить здесь цветники и еще сделать насаждения. Почему конь, понимаешь, больной конь должен лечиться в чорт знает каких условиях?! Конь, понимаешь, это же — товарищ!.. Я хочу, чтоб здесь был настоящий курорт для коня. Пусть поправляется, отдыхает!..

Возразить было нечего. Устами директора говорил конник-боец, свыкшийся и навсегда полюбивший коня. И это было трогательно.

26

Между прочим в анналах чолпантинского строительства были совершенно анекдотические моменты, которые нельзя обойти молчанием.

До 1932 года все постройки в совхозе выполнял Киргосстрой.

— Предъявили они нам счет, — рассказывал мне М. М. Слепенко, — на сумму 104 тысячи рублей за произведенные постройки. Стал я просматривать. Смотрю: что-то неладно! Постройка зернохранилища была по смете 14.000 рублей; по договору—15.000 рублей, а по исполнительной смете — 35.428 рублей. Постройка конторы по предварительной смете—12.000 рублей. По договору — 10.000 рублей, а по исполнительной—49.253 рубля. Дом-казарма по предварительной—19.000 рублей, по договору — 25.000 рублей, а по исполнительной — 47.000 рублей. Поехал я в Киргосстрой. Я, сами понимаете, не специалист. Набрался нахальства и начал возражать. Смотрю, скидывают со счета. Сколько вы думаете?..

Михаил Малахович от волнения даже встал и зашагал по комнатке.

— Пятьдесят девять тысяч скидывают, ты-ся-яч, понимаете?! Это говорят, арифметическая ошибка. Понимаете? На 59.000 рублей арифметическая ошибка, а?! В общем дело дошло до нотариуса. Нотариус предложил внести 41.000 рублей, и баста!.. Как вам это нравится? Ну конечно, после этого мы расплевались с Киргосстроем и начали строиться хозяйственным способом. И вы знаете что?.. Пока строил Киргосстрой, один кубический метр постройки обходился в 33 — 24 рубля, а хозяйственным способом — 10 рублей. Понимаете, какой эффект! А о качестве говорить уж не приходится!..

.....

От слова «бухгалтер» мне всегда становилось скучно...

С такой скукой я пошел в первый раз к Михаилу Малаховичу Слепенко. Мне нужно было получить какие-то цифровые справки.

«Скоренько возьму и уйду!» — думал я, поднимаясь по скрипучему крыльцу домика, спрятавшегося в глубине сада.

Было уже поздно, часов одиннадцать вечера. Совхоз спал.

Михаил Малахович сидел за столом, согнувшись над какими-то вычислениями; на спине у него сладко дремал рыжий кот. В двух крохотных комнатках был потрясающий беспорядок. На столе, на диванчике, на стульях — газеты, номера журналов «Новый мир» и «Красная новь»; недопитый чай; огрызки яблок; остатки какой-то еды; собранный в бумагу и невыброшенный мусор... И всюду, в каждом уголке, в каждой посудинке — окурки, окурки, окурки... Зато постель — идеальной чистоты, и эта «деталь» перекрывала сразу весь беспорядок и примиряла с хозяином.

— Вы уж простите меня за все это! — повел рукой вокруг Михаил Малахович, — жены нет, уехала к сыну, а я как ни убираю, ничего не получается!.. Я сейчас это...

И он засуетился, стараясь навести чистоту. Получалось у него действительно плохо. Собрав со стола в клочок газеты окурки, он долго суетился с ними по комнате, ища, куда бы положить, хотя мусорное ведро стояло на виду, у печки. И наконец положил: в тарелку с брынзой.

— Михаил Малахович, давайте я вам помогу!

— Что вы, что вы!! Я сейчас, мигом, все это!.. И будем чай пить.

В его суетливой беспомощности было что-то детское. Вдвоем мы разгрузили стол, перемыли посуду и сели за чай.

У Михаила Малаховича был прекрасный, огромный, как гора, лоб, и под очками — маленькие острые глаза. Уже пожилой, с седыми волосами, тучный, он поражал своею подвижностью и какой-то юношеской горячностью, и — качество чрезвычайно редкое — у меня ем слушать.

Я просидел у Михаила Малаховича до утра. О чем мы только не говорили?! И о Пушкине, о Гоголе, о многих советских писателях, о театре, о Париже, Флоренции, о промфинпланах и

лошадях... Конечно больше всего о Чолпан-Атинском совхозе.

Михаил Малахович чудовищно много курил. Закурит и в разговоре, передвигая папиросы из одного угла губ в другой, изжует мундштук до табака, и сейчас же закуривает свежую, при чем часто закуривает не с того конца...

— Наш совхоз поставлен в идеальные условия в смысле климата и вообще природных благ... Крым в подметки не годится! И, понимаете, вообще нам стыдно, понимаете, стыдно будет, если мы не сделаем из него бриллиант! Вы видели, какая у нас пшеница! Хоть сейчас на международную выставку посылай! Мы по три укоса люцерны снимаем, да какие укос-осы! Сейчас мы ставим опытное дело с зерновыми культурами на Григорьевском хуторе, мы — единственные во всем округе, которые поставили семеноводческое дело... У нас сейчас уже имеется двести пудов семян кормовой свеклы и пятнадцать пудов семян морквы. А вы знаете, что это значит?.. Мы несомненно растем и будем расти... Вот вам цифры. В тридцатом году посева люцерны было 86 га, в нынешнем — уже 483 га. В тридцатом овса — 137 га, в нынешнем — 642 га. В тридцатом пшеницы — 124 га, в нынешнем — 306 га. И так далее. В 1927 году джут¹⁾ унес в Киргизии полтора миллиона овец и громадное количество рогатого скота и лошадей. Нам не страшен никакой джут теперь. Мы по горло обеспечены кормами... А вот, если перейдем с люцерны на клеверники, тогда и вовсе!.. Карл Мартынович уже нашел подходящий для нашей местности сорт клевера. И вообще, вы знаете, здесь чорт знает что можно сделать!.. Была бы, как говорится, охота...

— Ну, охота-то у вас есть! — улыбнулся я.

— Есть, конечно есть!.. Ведь я с этим делом, как с родным дитем своим, сжился. Что вы думаете, жалованье, что ли, мне нужно?.. Уж очень дело-то интересное, на глазах главное выросло-то...

Разве теперь уйдешь отсюда? Вы кузнеца нашего знаете?

— Лященко?

— Да. У него огромная семья, душ одиннадцать, жалованье ничтожное, концов не сводит. Так вот он каждый год собирается уходить и никак не уходит. Привык, не может. Советую между прочим с ним поближе познакомиться. Интересный человек. Вот с кем вам о литературе-то поговорить. Сколько у него этих книг — полны сундуки!.. Охотник замечательный. Вы бы как-нибудь сходили с ним на козлов или кабанов...

Теперь, после бесед с Михаилом Малаховичем Слепенко, слово «бухгалтер» не вселяет в меня скуки. Бухгалтерия для чолпан-атинского бухгалтера — небольшая частичка огромного целого, в жизнь которого он вкладывает всего себя...

27

В семь утра меня будил совхозный колокол. В семь утра в совхозе начинался рабочий день.

Под окнами моей комнатки были разбиты цветники: нарциссы, левкой, гвоздика, пионы... Все цветы были крупные, яркие и пахучие. За цветниками густел сад, и в просветах яблоневых ветвей поблескивал голубоватой сталью Иссык-Куль, а еще дальше, за озером, — снега Терской-Алатау.

В восемь девушка из совхозной столовой приносила мне завтрак. У нее было чудесное лицо и милая застенчивость в движениях. Звали ее Оля. Войдет, станет на пороге и улыбается, — стол у меня завален газетами, книгами и бумагами: некуда поставить тарелку и чайник.

— Сейчас-сейчас уберу, Оля, одну минутку!..

— Всегда у вас так! — тихо говорит Оля и не перестает улыбаться.

— Оля, а вы, должно быть, счастливый человек, всегда веселая, всегда улыбаетесь.

— А я не знаю, счастливая я аль нет?

¹⁾ Джут — ледяная корка, покрывающая горные пастбища.

- Давно вы здесь работаете?
- Два года скоро.
- Вы — не здешняя?
- Нет.
- Из России?
- Я — Пензенской губернии.
- Не скучаете по родным местам?
- Нет. Мне и тут хорошо!
- Чем же здесь хорошо? Вы уборщицей работаете?

— И уборщицей, и в столовой. А когда и в поле. А вечером на курсы хожу. У нас в Чолпан-Ате хорошо, и директор у нас хороший человек, во все вникает, и жизнь хорошая. На будущий год училище настоящее будет. Теперь каждый может учиться. Всякому доступно. А зимой в спектакле будем играть...

Эти немногие слова Оли были истощающим объяснением, почему ей и всем другим хорошо и весело жить.

Мне невольно вспомнились нарынские табунщики. Вспомнился очаровательный юноша Токонтай, брат Абдрахмана Даулетпакова, и сам Абдрахман, «лучший из лучших», потомственный батрак, и многие другие. Несмотря на тяжкие условия работы, на голодовку, на безденежье, ни один из них не жаловался на жизнь. Тяготиться жизнью могут только рабы и одиночки. Революция выкорчевала и то, и другое...

Слушая у окна мелодичные песни девушек, работающих в саду, я смотрел на пышные, яркие, пахучие цветы и мысленно повторял слова Оли:

«На будущий год училище настоящее будет... Теперь всякому доступно... И... ж и з н ь х о р о ш а я!..»

.....

— А замуж вы не собираетесь? — спросил я как-то Олю.

— Что вы, что вы?! — отмахнулась она.

— Почему? Женихов нет?

Оля задумалась, помолчала и вдруг снова рассмеялась.

— Чего вы?

— Ох, и чудно-ой один есть!.. Женихиться на мне все приставал.

— Кто это такой?

— Вы его не знаете. Тут по соседству.

Оля назвала поселок по соседству с конесовхозом.

— Вот чудной!.. В роде как из интеллигентов, красивый такой, а не в с а м д е л и ш н ы й.

— Как невамделишный?

— Да гак, какой-то неуместный й.

Слова Оли о «невамделишном» и «неуместном» женихе мне вскоре помогли расшифровать фазаны...

Но об этом потом.

28

В Чолпан-Ата я приехал в первый раз в июле. Из Рыбачьего мы выехали на бричке, запряженной великолепной тройкой совхозных лошадей. От Рыбачьего до Чолпан-Атинского конесовхоза восемьдесят километров... Немного!.. Но какие же это страшные километры!.. Ровный на вид серый холст дороги таил на каждом шагу такие сокрушительные зуботычины и чудовищные толчки, что уже в Томчи (овцеводческий совхоз на полпути) я приехал окончательно разбитым, в синяках и ссадинах, проклинающий и бричку, и лошадей, и кучера...

Сорок километров от Томчи до Чолпан-Ата были еще нестерпимей. Безрессорная бричка прыгала и металась по камням, как одержимая. Ни кошма поверх сена, ни меховой полушубок, подложенный под бок, — ничто не могло предохранить от толчков и ударов. Я всячески пытался «приспособиться»: ложился; сползал ближе к передку, где толчки чувствовались не так сильно; садился; свешивал ноги и, заметив впереди рытвину или камни, стискивал зубы и собирал в комок все свои внутренности... Ничто не помогало. И умоляющей скороговоркой, дабы не откусить язык, просил возницу:

— Ради всех святых — шагом!..

Возница переводил тройку на шаг; какой-то миг я отдыхал и блаженствовал, а потом снова бешеные пристяжки Ахилл и Ахиллес подхватывали и мчали...

— Да из какого же ты-то материала сделан?! — смотрел я на кучера. —

Какие же у тебя внутренности?! Да и есть ли они у тебя?!!

Для меня было совершенно непонятно, как могут выносить все эти пытки больные, едущие искать исцеления на замечательных курортах Иссык-Кульского побережья...

Дороги и транспорт — самые уязвимые места в хозяйстве Киргизии, а между тем богатства, которыми располагает эта «страна гор», огромны. В Киргизии есть и нефть, и каменный уголь, золото, медь, свинец, серебро, минеральные краски, озокерит, продукты которого столь ценны для военных надобностей...

Организация транспорта и дорожное строительство — первая и неотложная задача для Киргизии. Между прочим все, что сделано в этом отношении, сделано советской, революционной Киргизией. Автотранспорт организован в 1925 — 1926 г.: Фрунзе — Рыбачье, Фрунзе — Алма-Ата, Фрунзе — Константиновка — Цементный завод, Ош — Андижан и др. Расходы на устройство грунтовых дорог с 1925 г. по 1930 г. возросли с 200.000 руб. до миллиона с лишком... Огромную роль в деле улучшения транспорта сыграли совхозы. Их буйный рост выдвинул вопросы транспорта на первое место и тем самым помог их разрешению...

Подъезжая к Чолпан-Ата, еще издали замечаешь белые стены конного двора и характерную крышу конюшен с вентиляционными башенками; на воротах — резные фигуры коней и красные флаги.

— Иссык-Кульский конесовхоз № 54.

Я приехал в день отправки группы лошадей на скачки во Фрунзе. Директор устроил для меня выводку, и я прямо с телеги, несмотря на усталость, пошел к конюшням и целый час любовался великолепным зрелищем борцов-коней, уходивших на фрунзенскую арену. Лошади были в прекрасном порядке, все подсушенные, с хорошо отбитой мускулатурой.

Остальное конское население совхоза находилось на «джайлау» — высокогорных летних пастбищах.

В основу работы Чолпан-Атинского конесовхоза положены те же принципы табунно-косячного разведения и содержания лошади, что и в Нарыне... Отличается Чолпан-Ата от Нарына тем, что в Чолпан-Атинском конесовхозе есть филиал чистокровных лошадей, на хуторе в Урюк-Ты. Чолпан-Ата и производит, и выращивает чистокровных и высококровных скакунов. И нужно сказать — неплохих. Из сорока шести производителей, имеющихся в конесовхозе, — восемнадцать чистокровных и девятнадцать высококровных, среди которых мы встречаем такие «имена», как «Прибой», сын знаменитого «Бранси»; выводные из Франции «Фримус», «Маркони»; победитель приза им. М. И. Калинина в 1929 г. — «Силач»; «Хайклифф», «Зулус» и другие...

На «джайлау», в косяки, я выехал вместе с Л. Л. Раппопортом и старшим смотрителем табунов Антоном Борковским.

Горный пейзаж в Чолпан-Ата нежней и мягче нарынского пейзажа. И миниатюрней.

Нарын суров, величествен и скуп.

В Чолпан-Ата все дышит изобилием. В Чолпан-Ата больше тепла, ласки, солнца.

И почва в Чолпан-Ата другая — светлокаштановые, пре-красно фильтрующиеся почвы.

Определение гео-агрономическое и для меня, «не специалиста», маловразумительное, но его содержание полностью раскрывалось передо мной в невиданном обилии цветов и трав вокруг. Чего тут только не было?! Анемоны, горный мак, тюльпаны, астрагалы, ирисы... Лошади буквально тонули в густой и буйной траве... На каждом шагу из-под ног срывались куропатки, рябчики, а немецкий овчар Герд — неразлучный спутник Антона Борковского — то и дело выпугивал зайцев, похожих скорее на кошку: до того они были мелки.

Самое поразительное и незабываемое впечатление произвели на меня посевы пшеницы.

В кинокартине Довженко «Земля» есть кадр —

ворох арбузов и хлещущий по ним великолепный, крупный дождь.

С предельной простотой раскрыта в этом кадре неиссякаемая, извечная, материнская щедрость земли. Смотришь на арбузы, на потоки дождя и чувствуешь, как эти потоки великолепного дождя и с тебя смывают грязь и копоть «лукавых мудрствований», и остаешься ты один-на-один лицом к лицу с простой правдой матушки-земли... «Рожу и кормлю. Кормлю и рожу...»

Мы ехали по узкой тропинке, огибающей гору. Круто свернув влево, тропинка подвела нас к долине.

Неволью я остановил коня.

Тучные, темнозеленые полотнища посевов пшеницы лежали перед нами. На высоте двух тысяч метров матушка-земля ответила на человеческий труд с такой щедростью, о которой сказывается только в сказках.

Столетиями лежала здесь целина, и бродил по ней со своими табунами кочезник. Он пил кумыс, ел баранину и иногда сухие ячменные лепешки; страив корма в одном месте, перекочевывал в другое, а когда наступал его беспощадный джуг, голодал и умирал вместе со своими табунами. Он слышал и понимал просьбы девственной земли:

— Дай мне воды, и я дам тебе хлеб!

Но он был бессилён, он был одинок и продолжал кочевать со своими табунами.

Революция зажгла внизу, у голубой воды Иссык-Куля, звездочку советского совхоза. И оттуда пришла сюда коллективная, созидательная воля.

— Дадим воду и возьмем пшеницу.

По девственной целине потекли обузданные горные воды. К ароматам генициана и анемон примешалась гарь бензина. На высоту двух тысяч метров по тропам были подняты «интеры». Застучал мотор...

Любуясь морем тучных колосьев, я думал о «проклятом труде в одиночку»...

И мне припомнилось:

Был канун империалистической войны — 1914 год. Я жил в Ницце. Домишко на окраине выходил окнами на пустырь — огромный квадрат земли, заросший бурьяном и усеянный камнями. Пустырь принадлежал какому-то рантье, имевшему по соседству виллу, называвшуюся «Лос-Анжелос».

В один из дней, утром, на пустыре появились люди: две женщины, мужчина и трое оборванных и чумазных ребятишек. На двух ручных тележках они привезли домашний скраб и земледельческие «орудия»: мотыги, лопаты, грабли и прочее. Мужчину звали Марио Канделла. Одна из женщин, Роза, была его жена, другая — старуха — мать. Все они были итальянцы.

К вечеру следующего дня на пустыре была воздвигнута «постройка» — нечто в роде крохотного барака из фанеры и ящичных досок, а на третий день, с утра, вся семья уже была за работой. Женщины и дети собирали камни, в изобилии рассыпанные по пустоши, складывали их в кучки, а Марио на тачке отвозил их в буерак, граничивший с пустырем. Так продолжалось и день, и два, и три... Потом Марио и Роза взялись за мотыги. Сухая и каменистая почва с трудом поддавалась мотыгам. Жгло солнце. Марио работал без рубашки. Я видел его коричневую, блестящую от пота спину и мускулистые руки. Он часто подходил к бассейну у моего домика и, обливаясь водой, с улыбочкой говорил мне:

— Фа кальдо!.. (Жарко.)

И снова мотыга взметывалась в его руках, ковыряя неотдатливую землю. Роза то и дело садилась отдыхать, роняя голову на руки, — она была беременна. Дети и старуха помогали им: разбивали вывороченные комья земли и выбирали камни.

Когда вся целина была поднята, Марио водрузил около хижины проволочное решето и начал отсеивать землю. Для устройства гряд нужна была земля пушистая и мелкая, без камней.

И Марио, и Роза, и старуха работали с утра и до сумерек. Вечерами разводили около шалаша огонь и варили похлебку из хлеба — «пан-котто».

Заросший бурьяном каменистый пустырь превратился в стройные ряды грядок. Началась посадка гвоздики.

Владелец пустоши, приземистый и тучный человек в ярком жилете, увидя правильные ряды грядок и кустики гвоздики, сказал:

— Я конечно отдал тебе землю слишком дешево... На будущий год ты заплатишь мне другую цену.

Спины Марио и Розы отлично знали «цену» арендованной земли.

И Марио ответил:

— Синьор, даже и при этой аренде мы не будем иметь возможности кушать макарони «аль бурро». (С маслом.) А сколько тачек камня я свез в буерак!..

— О, если бы синьор знал, как это трудно! — вздохнула Роза, складывая на животе руки.

— Да, в этом году я ошибся! — повторил «хозяин земли» и еще раз предупредил:

— На будущий год цена будет другая.

Марио проводил хозяина до калитки и, хотя уже смеркалось, принялся за поливку. Воду таскал из бассейна ведрами.

— Десять, двадцать, пятьдесят, сто двадцать... — попробовал я однажды считать количество ведер, потребных для поливки. Величина возделанного пустыря была больше полугектара.

Изо дня в день, месяцы, я наблюдал «жизнь и труды» этой семьи. Их потребности были сведены до ничтожного минимума. Их труд был нечеловеческий. Это не был свободный труд. Это была отчаянная, страшная борьба за существование. Над согбенными спинами Марио и Розы был занесен бич неумолимого погонщика — голода и нищеты...

Когда гвоздика начала куститься и стебли стали достаточно большими, наступил новый цикл работ.

Чтобы куст не развалился, нужно было заключить его в корсет из четырех-пяти колышков, опутанных ниткой. Я не знаю, сколько было кустов гвоздики на всей площади, думаю — за тысячу... Целыми днями вся семья ползала на корточках между грядка-

ми, — Марио, Роза, старуха, ребятишки, — и каждый гвоздичный кустик был «окорсечен».

Ближе к осени, когда темнозеленое поле начало улыбаться розовыми, красными, сиреневыми цветами, вдоль каждой гряды Марио набил ряд кольев и по ним протянул жерди.

— А это зачем? — поинтересовался я.

— Скоро начнутся холодные зори и ночи... Цветок может погибнуть. Его надо укрывать на ночь одеялом, — пояснил Марио.

— Каким одеялом?

— А во-от!.. — кивнул Марио на свою хижину, около которой Роза и старуха плели из соломы камыша узкие, длинные цыновки.

И каждый вечер, лишь только начинало смеркаться, Марио накрывал все гвоздичное поле камышевым одеялом...

— Скажите, Марио, — спросил как-то я, — вот вы и вся ваша семья работаете, как каторжники... Я не знаю дня, когда бы вы отдохали! Что даст вам в награду этот труд?

Марио вздохнул.

— Мы будем сыты эту зиму, синьор! Только сыты...

.....

Я рассказал об этом, сидя в юрте у Антона Борковского.

Антон Станиславович Борковский был уроженцем Западной Пруссии. В начале империалистической войны он попал в плен и испытал все прелести жизни в лагерях военнопленных. В 1924 году вступил в партию большевиков. В Германии у него остались отец, мать и братья.

Несловоохотливый и застенчивый Борковский после моего рассказа долго молчал, опустив голову. Потом посмотрел на меня и с какой-то хорошей, человеческой улыбкой проговорил:

— Их надо выписать в наш Союз... Пусть с нами работают.

В этой фразе, произнесенной с акцентом, и в словах этих — «наш Союз» — Антон Борковский как-то вдруг раскрылся передо мной; в них он протягивал свою рабочую руку каторжному труду Запада, и я твердо знал: вот

этого Антона Борковского создала наша революция, и никогда он ей не изменит.

— А вы не скучаете по Германии? — спросил я.

— Я же — коммунист, — кратко и просто ответил он.

.....

Первый косяк, который я увидел на «джайляу», был косяк гнедых маток с чистокровным выводным жеребцом Гадауином.

— Товарищ Ширяев, не под'езжайте! — предупредил меня Борковский. — Жеребец строгий!

Я и без предупреждения видел, что под'езжать не следует...

Гадауйн, как только завидел нас, сразу вскинул голову и насторожился. Он пасся на отлете, шагах в ста от косяка. Поза, в которую он стал, была настолько выразительна, что у меня сразу пропала охота поближе рассмотреть «падишаха».

— Его косяк самый дисциплинированный, — сказал Раппопорт, — прекрасный косячный жеребец! И водит хорошо, и в обиду не даст.

На почтительном расстоянии от «прекрасного жеребца» я обогнул косяк. Гадауйн не спускал с меня глаза. Какая-то кобыленка, отбившись от косяка, мирно пощипывала траву, и я случайно очутился около нее. Вдруг Гадауйн рывком бросился в мою сторону, ощерив розовые челюсти. Это было страшно. Я по-настоящему струсил и, кажется, даже закричал что-то Антону.

Но гнев Гадауйна обрушился на кобылу, отбившуюся от косяка. Подлетев к ней, Гадауйн схватил ее зубами за холку, давил, и кобыла с трусливой торопливостью мгновенно очутилась рядом с косяком.

Гадауйн рос и воспитывался в великолепных денниках французской конюшни. Каждый час его жизни протекал под неослабным наблюдением десятка глаз специалистов: врачей, конюхов, тренера и проч.

Здесь, в горах Кунгей-Алатау, французский аристократ пасся под наблюдением одного табунщика-киргиза и совершенно не испытывал нужды в услу-

гах специалистов. Он нашел здесь свое «естественное назначение».

— Если бы вы видели, каким он пришел к нам и какой он сейчас!.. — рассказывал мне Антон Борковский. — Не узнать!

Любопытно следующее: многие производители, бесплодные в условиях конюшенного содержания, попадая сюда, мгновенно возрождаются как производители.

Опыт Нарынского и Чолпан-Атинского конесовхозов, оспаривая выводы многих авторитетных научных работников, утверждает, что чистокровные жеребцы, вырванные из противоестественных условий конюшенного содержания, являются великолепными производителями как по плодовитости, так и по жизнеспособности жеребят. И, кроме того, лучшими косячными жеребцами в отношении проявления ума при ведении и охране косяков.

Не помню сейчас имени жеребца, о котором мне рассказывал П. А. Гофман. Кажется, это был внук знаменитого Галтимора...

— Более «рачительного хозяина» я не встречал! — говорил Гофман. — Он не был только повелителем «гарема». Он прекрасно ориентировался в местности, выбирал самые удобные и обильные пастбища; днем давал косяку широко разбредаться, а на ночь загонял в увалы и ущелья. Был строг в отношении маток и нежен с жеребятами. За три года не дал ни одного жеребенка многочисленным волкам; на табунщиков смотрел, как на своих помощников, и например в час водопоя, если косяк не шел за ним, бросался от одного табунщика к другому и понуждал их помогать ему и гнать косяк к воде. Страдая ревматизмом, разыскал на пастбище грязевый источник и не только сам начал принимать «ванны», но и весь косяк не раз загонял в целебную грязь... Однажды на урочище «Тибет» одновременно с его косяком к водопою с другой стороны подошел киргизский жеребец с косяком киргизских кобыл. «Англичанин» немедленно отогнал свой косяк от воды, как бы уступая водопой. Киргизский жеребец, завидя чужих ло-

шадей, начал визжать, бить копытами и всячески «задираться». Он словно вызывал «иностранца» помериться силами. Жеребцов разделяла узкая полоска горного потока. Табунщики не успели предотвратить страшного и мгновенного поединка...

Прыжком англичанин перемахнул на другой берег, сшиб киргизского забияку на землю, схватил за загривок и ударами передних копыт уложил на месте...

.....

Мы заночевали на «джайлау», в опрятной юрте Антона Борковского.

До поздней ночи нас развлекал «Борька» — молоденький ручной архар, воспитанник жены Борковского.

Борька был на редкость беспокойное и шаловливое существо.

Мы сидели за низеньким столиком на кошке и пили чай. Неожиданно меня кто-то толкнул в спину. И толкнул довольно бесцеремонно — я чуть-чуть не опрокинул пиалу с чаем. Оглядываюсь, смотрю — серая, безрогая голова с выпуклыми глазами, прицеливающаяся ко второму удару...

— Борька, нельзя!.. — крикнула жена Борковского. — Поди сюда!

Я протянул к нему руку с целью приласкать. Борька пугливо отпрянул назад и — это было совершенно изумительно! — вдруг грациозным и легким прыжком перемахнул через меня, Раппопорта, столик на кровать, где сидела жена Борковского. Ткнувшись мордой ей в руку в надежде найти там что-нибудь вкусное и не найдя ничего, кроме ласковых пальцев, он вторым, таким же изящным и легким, прыжком через голову Антона очутился посредине стола. Самое поразительное было то, что он не зацепил ни одной посудинки на крохотном столе, его копытца стали как-раз туда, где ничего не было...

Около двери, в юрте, сладко дремал молодой щенок-овчар. Борька вдруг заинтересовался дремлющим песенком. Остановился около и долго-долго рассматривал его своими выпуклыми, глуповатыми глазами. Потом нагнул безрогую ребяческую голову и осторожно боднул щенка. Щенок взвизгнул, про-

снулся и обиженно затыкал на обидчика. Очевидно его лай Борьке понравился. Он уморительно подпрыгнул на одном месте и, нагнув голову, нацелился на щенка. Щенок трусливо сжался и завизжал. Я ждал — вот-вот сейчас Борька треснет его безрогим льбом; до того выразительна была его прицелившаяся голова! Но Борька «шутит»; Борьке нравилось только попутать струсившего пса. Он еще раз подпрыгнул на одном месте всеми четырьмя ногами и снова принял ту же позу, как бы готовясь к удару...

— Борька, нельзя, оставь! — окрикнула жена Антона.

Борька повернул к ней голову, что-то соображая. В этот момент щенок, набравшись смелости, таянул его за заднюю ногу... С невероятной быстротой Борька мгновенно очутился на одной из кроватей. Потом — прыжок к двери, вон из юрты, легкие шаги по крыше, и мы увидели его серую, безрогую голову, смотрящую на нас уже сверху, из круглого отверстия в конусообразной крыше юрты...

Спать улегся Борька вместе с нами. Спал он на кровати, рядом с хозяйкой, положив безрогую голову на подушку...

29

Когда мы на следующий день возвращались с «джайлау» в совхоз, на полпути к нам присоединился агроном К. М. Рисс. Он вынырнул совершенно неожиданно из какого-то увала на своей неизменной бурой кобыле. Из сумки, перекинутой через плечо, торчали пучки трав.

— Здравствуйте, товарищи! — пробасил он и, обращаясь ко мне, спросил:

— Пшеничку нашу видели?

— Видел. Чудесно, Карл Мартынович!

— Это еще не чудесно. Мы найдем другие сорта. Леонид Львович — скептик, а я говорю, что через два-три года я увеличу урожай на сто процентов. Только не мешайте мне. Сейчас я занят «земляной грушей». Этот опыт надо проделать. У нас есть затененные места — для земляной груши это великолепно. Две тысячи пудов с га обеспечено. Но это не все. У нас неплохое стадо свиней.

Около двухсот великолепных свиноматок. Пустить их потом на эти места. Они будут рыть, выбирать остатки, то есть разрыхлять почву. По существу, они проделают великолепную работу. Заметьте и еще: места эти затененные. Для свиньи существенно. Не будет трескаться кожа...

— А откуда вы сейчас, Карл Мартынович?

— У нас не растет внизу лук. Я установил наконец — луку нужно более высокое место. Ездил — искал...

— Нашел? — спросил Леонид Львович.

— Лук у нас будет!

Карл Мартынович свернул огромную цыбулю махорки и, словно вслух думая, проговорил:

— Найти бы еще сорт клевера для наших условий. Замена люцерны подходящим клевером необходима. Это даст колоссальный эффект. Надо урвать пару недель и съездить в Россию, я найду... Вообще сейчас пока мы — кустари.

Он затаился, помолчал и, выравнивая кобылу со мной рядом, спросил:

— Вы конечно знаете, что такое «склеро» и кто такой Карльтон?

..... Я знал очень немного.

.....
— Лет тридцать пять тому назад наша русская пшеница вдруг получила мировую славу.

«Склеро».

Этим именем иностранцы называют твердую пшеницу, рожденную в эйонных степях Юго-Востока СССР. Русская степная пшеница нужна европейскому рынку так же, как заводам Круппа для изготовления высушенных сортов стали нужен наш марганец. Степная пшеница богата белковыми веществами. Обилие в ней клейковины делает ее необходимой в производстве например вермишели и макарон. Эту нашу степную пшеницу нашел американец Марк Карльтон. Пшеница Америки страдала от «головни», сводившей на-нет урожай. Ученые того времени не могли установить, переходит ли головня с одного вида хлебных злаков на другой. Марк Карльтон поставил целый ряд научных опытов. Он собирает со всего простран-

ства Штатов сведения о болезнях хлебных злаков и мерах борьбы с ними. Он устанавливает, что только от одной головни Америка терпит ежегодно убытку 18 миллионов долларов. Сын небогатого фермера, с детства сросшийся с землей, он не мог конечно примириться с теми способами борьбы, которые принимало правительство Штатов.

— Эпидемию хлебных болезней нельзя уничтожить порошками и микстурами. Надо найти новую, здоровую и стойкую против болезней пшеницу. И я такую пшеницу найду, хотя бы для этого мне пришлось обшарить весь мир!

И Карльтон начинает действовать. Со всех концов мира ему шлют самые различные и самые ценные сорта пшеницы: из Японии — «онигра», из Турции — «гафкани», из Германии — «голая королевская», озимая — из России и т. д. На опытном поле в Гаррет-парке все эти образцы, собранные со всего мира, высеваются, но опыты эти постигает неудача. Лишь немногие из выписанных сортов пшеницы дают хорошие результаты в суровых условиях Северной Америки (Мериланд). Карльтон повторяет свой опыт в других районах Америки. Но возникают новые неудачи. Сорта, противостоящие болезням, оказываются: одни неприспособленными к засухам, другие — к морозам, третьи — к ветрам...

Карльтон наблюдает, сравнивает, делает выводы и в 1895 году заявляет:

— Я еду в Россию. Там я найду нужные нам сорта пшеницы, устойчивые и от морозов, и от грибных болезней...

Этот год был бедствием для родины Карльтона — Канзаса. Засуха разорила десятки тысяч фермеров. Карльтон, приехавший в Канзас, случайно встретился с переселенцами из России — менонитами. Это был поселок, единственный не покинутый жителями. Менониты не бежали от голода, так как собрали, несмотря на страшную засуху, со своих полей вполне хороший урожай.

Так Карльтон нащупал нужную ему пшеницу. Ехать в Россию было для него теперь необходимостью. На эту по-

ездку нужно было добыть средства. Карльтон пытается убедить свое чиновное начальство, чтобы оно дало ему командировку в Россию.

Его принимают за сумасшедшего.

— Вы же не знаете ни слова по-русски! На каком языке вы будете объясняться с дикими киргизами? — убеждали его.

Карльтон садится за русскую грамматику и словарь. Начальство все-таки категорически противится его намерениям и заявляет, что дальше не желает выслушивать его сумасбродных рассуждений. У Карльтона была железная мужицкая воля. Он копил деньги, делает долги и наконец собирает необходимую сумму для далекой поездки за океан. В 1898 году он на пароходе покидает Вашингтон. С невероятными трудностями совершал он этот «поход за хлебом». Всю осень и зиму 1898 года он бродит по черноземной полосе России. Вдоль и поперек исходил Украину, Урал, Сибирь. Замерзал в Тургайской степи, задыхался от дыма в киргизских юртах, голодал и все-таки нашел заветную пшеницу. Это была «кубанка», не вымерзающая в самые суровые зимы и не выгорающая в самые засухи...

Вернувшись в Америку, Карльтон начинает свои опыты с привезенной русской пшеницей. Об их результатах ученые Америки узнали вскоре из бюллетеней д-ра Шепперда, заведующего сельскохозяйственной опытной станцией в Северной Дакоте.

Д-р Шепперд писал:

«От нового сорта пшеницы, вывезенного мистером Карльтоном из России, под названием «пéреронок», фермеры Дакоты собирают небывалый урожай — на восемь четвертей больше с каждого акра земли, нежели до сих пор давали здесь лучшие сорта пшеницы...»

В то же время другой крупный специалист, проф. Саундерс, из Южной Дакоты, писал в Вашингтон:

«Карльтон, которого мы все считали сумасшедшим, совершил истинное чудо: добытые им сорта «кубанки» и «арнаутки» великолепно перенесли сильнейшую засуху, постигшую наш край: фермеры собрали в этот исключительно неуро-

жайный год по 30 шэффелей с акра, тогда как наши лучшие сорта дали в этом году от 2 до 8 шэффелей на акр...»

В короткое время Карльтону удается не только всюду разнести славу о русской пшенице, но и организовать сбыт русской пшеницы из Америки.

В 1900 году он вновь едет в Россию, и на Украине, в Старобельской степи, находит новый сорт пшеницы «красная харьковская». Этот новый сорт он настойчиво пропагандирует в Канзасе, Небраске, Оклахоме и Монтане.

В 1904 году в Америке — страшный неурожай. Головня уничтожила посевы. Но, питомцы «сумасшедшего охотника за пшеницей», русские сорта переносят это испытание блестяще. В то время, как 60 процентов урожая американской пшеницы в 1904 году было погублено грибной болезнью, русские сорта стойко выдержали эту напасть.

Этот год был кульминационным моментом торжества и славы Карльтона. Фермеры целого ряда Штатов переводят свои поля на посевы русских сортов пшеницы. Урожай «кубанки» в 1907 году дает С.-А. Соединенным Штатам до 30 миллионов долларов в год. В 1914 году «харьковская пшеница» приносит урожай в 86 миллионов шэффелей.

.....

Обо всем этом мне дорассказал К. М. Рисс в своей приятной квартирке, когда мы вернулись с «джайлау».

— Марк-Альфред Карльтон умер в 1925 году, умер, всеми забытый и нищий, — печально закончил свой рассказ Карл Мартынович.

И, помолчав, продолжил:

— Все, что мы делаем сейчас в Чолпан-Ата, все это пока еще эксперименты... Правда, довольно удачные. Но этого мало. Я, кажется, нашел сейчас разгадку, почему у нас внизу не растет лук... Я нашел место, где он будет расти. Ведь у нас только первый год организовано опытное поле на Григорьевском хуторе... Мы только начинаем жить. И жить мы будем, и жить неплохо... Недавно нас посетила компания иностранцев: француз, немцы и американка. Не хва-

стаю — они были поражены нашим хозяйством, поражены не только экзотикой...

Я знал — К. М. Рисс не хвастает. В Чолпан-Атинском конесовхозе есть чем поражаться и чему учиться.

2. ДИВАНА

П. Лукницкий

... Эй, зрочки, караульте,
 Чтоб сна поганого не было!
 (Шугнанская песня.)
 ... В ущельях гор:
 Ки-иль-ях-хх-х... Пи-иль-ях-х-х..
 — Осыпи!
 Туда одна не ходи,
 Неверная ты, сестра!
 (Даргиллик)

1

Тропа, бежавшая вдоль реки в прошлом году, превратилась в ровную, широкую дорогу, по которой уже два раза ездил автомобиль. Мы ехали шагом, проехали аэродром, и скоро налево, за рекой, я увидел афганскую крепость Кала-и-бар-Пяндж. Марод-Али повернулся в седле:

— Я бы отдал трехмесячную зарплату, чтоб полететь так!..

— Тебе хочется побывать в Сталинабаде?

— Конечно хочу. Там у меня друзей много, ты и не знаешь, сколько у меня там друзей! Все на курсы поехали, все ученики мои!.. Очень я добивался этого, всю жизнь добивался, а теперь, смотри, что получилось? Вот я инструктор сейчас, все наяву пришло, сам видишь: сколько домов строится в Хороге? И больница новая, и кооперативы, и школы... Восемь лет назад ни одной школы не было в Горном Бадахшане, а теперь их — сто двадцать. Кто-то их строит? Как ты думаешь, кто их строит? Мои ученики строят, живые мои ученики, рабочие люди...

За поворотом скалы каменная дорога выстлалась совсем гладко, и мой конь, мотнув головой, перешел в резвую рысь. Я не удерживал его, а Марод-Али выскакал на своем бадахшанце га-

И, думая не об «иностранцах», а о нашей советской общественности, мне почему-то вспомнились горькие слова великого поэта:

«мы ленивы и нелюбопытны».

лопом вперед, моему коню это показалось обидно, и он тоже рванулся галопом. За новым поворотом дороги начался подъем, и мы перевели запыхавшихся коней в шаг. Марод-Али опять повернулся ко мне:

— А меня один раз объявили баем. Знаешь, когда меня баем объявили, я испугался здорово, и трясло меня, и стал совсем дурак (и так дурак, а тут еще больше). Я плакал. Долго плакал, потом взял ружье, зарядил, стреляться хотел. Отец увидел, что я выхожу из дома с ружьем, — знал, что я много перед тем плакал, — понял, отнял ружье. А потом я пошел в Хорог, заявление подал: «Как звать меня баем, когда я жил до сих пор, как все бедняки, и просил горох и муку на каждом дворе, и расчески делал, и канал делал. Если меня звать баем, лучше поставить меня под стену и стрелять, это неверно, я не могу терпеть...» Ты не пускай лошадей, дай я расскажу, скоро приедем, вон тот поворот, дальше мое селение видно будет... Зачем торопиться?

— Ладно... Шагом, так шагом... — ответила я, работая поводом. — Ну, что же?

— Ничего... Вот товарищ в вике — хороший такой был товарищ — пошел в вик и в мой сельсовет и говорил: «Что вы, с ума сошли? Давайте записку, чтоб назавтра исключили из баев». А потом все узнали: один старик, сволочь старик был, на нашей стороне опиум посеял, мы один раз арестовали его, он признался в милиции — председатель моего сельсовета (тоже сволочь был, под ишаном ходил) опиум сеял и ишан опиум сеял, и он сам, старик, с ними тоже... Назначили тогда комис-

сию и много узнали, какое разное плохое дело там было. Тогда суд назначили, все враги мои тогда через голову полетели, знаешь, как верблюд спотыкается, когда плохо идет... А самый главный ишан был, он умер в этом году, тоже дурак, мало ему курить было, наелся опиума; знаешь, яд в животе, вот умер. А все потому это случилось...

Но здесь, за поворотом направо, у входа в боковое ущелье, открылось разметавшееся по склону селение. Уже издали я увидел — высоко над селением, у самого подножия осыпи, европейского типа дом, окруженный посевами и толпой молодых, тонкоствольных деревьев.

— Это дом моего отца и всех моих родственников, — объяснил мне Марод-Али. — Мой отец сейчас — середняк, потому что у него все есть и ничего больше не нужно... Смотри ниже, вот сад ишана, видишь — белый дом, красивый такой? Там сейчас интернат... Там Каламфоль сейчас как завхоз работает. И мой Наубогор — вот увидишь его! — живет там. Он — правитель воды... А там вон, рядом, видишь, еще дома?.. Это живет...

Влево от дороги, среди больших камней, мелькнула женщина, спускавшаяся к реке. Издали заметив нас, она села на камень спиной к нам. Марод-Али, придерживая коня, навалившегося на мое колено, лукаво сказал:

— Это моя средняя — вторая — жена.

— Она на тебя и смотреть не хочет?

— Нет, хочет. Она любит меня.

Когда я смотрю, она не обернется. Когда проеду дальше, будет смотреть.

Мы проехали, и я несколько раз обернулся в седле. «Средняя» жена, глядящая вслед Марод-Али, отворачивалась.

— Знаешь, в Хоробе есть русский техник. Судился с женой, она ходит, ругает его, а он опять живет с ней. Это — не человек. Женщина должна любить мужчину. Если хоть одной женщине мужчина не нравится, он — не мужчина... Слушай. Я говорил тебе заповеди, которые всем нам читал ишан? Из всех заповедей я бы выбрал одну: «Не будь ссудитым».

— А ты и сейчас веришь заповедям. Марод-Али?

Марод-Али под'ехал ко мне вплотную: — Ты только не смейся... Я честно тебе скажу. Мы, исмаилиты, ничего не должны говорить, сыну моему я ничего не скажу, пусть он другой человек будет, но тебе я скажу. Дурак я такой... Большой я дурак. Я все понимаю, а тут — темнота у меня... В бога верю, в ишанов не верю... Интересный я человек?..

Марод-Али, инструктор столярной мастерской, мой добрый приятель Марод-Али замолчал и задумался. Мы везжали в селение, в то селение, в которое Марод-Али пригласил меня, чтоб я своими глазами поглядел на творение его собственных рук, о котором столько мне говорили в Хоробе. Я уже все знал о нем, потому что много вечеров провел с Марод-Али и его женой, третьей его женой, в его хоробском маленьком доме, где живет он сейчас, навсегда оставив свое родное селение.

Мои размышления прервала орава детей, радостно выбежавших навстречу Марод-Али.

2

Каждый может представить себе такой профиль: внизу — река, широко разлившаяся и образовавшая песчаные мели; вправо от реки, как кривая привычных нам диаграмм, сначала постепенно, затем все круче, вздымается склон. У самой реки он покрыт цепким кустарником. Выше, на этой постепенности, — селение, в котором плоскокрышие дома громоздятся один над другим. Издали оно кажется зеленолиственным островом на перевернутом своде мертвых каменистых пространств. Над селением — по дуге склона — короткий отрез пустыря, усыпанного камнями. Еще выше — отвесные скалы. Это — начало хребта, лежащего параллельно реке. Это — конец кривой. Все, что правее и выше, подобно бесконечно изломанной линии и доступно только зрению птиц.

Теперь представьте себе, что вы взяли в руки клинок и с размаху рассекли

хребет от гребня до самой реки. Это фантазия конечно, но хребет все-таки рассечен, и глубина прорези равна километру, а обнаженное мясо горы — две сближенных отвесных гранитных стены. И между ними, по дну прорези, вместо крови бурлит, захлебываясь собственной пеной, прозрачный горный поток. Прорезь доходит до осыпи, образует здесь узкие ворота ущелья и расширяется, понижаясь, завися от понижения кривой всего профиля, и, надвое разделив пустырь, дойдя до селения, превращается в широкий лог со склонами, покрытыми свежей травой и тополями, склоненными над чуть замедлившим бег потоком. А он бежит до кустарников и вливается в реку, чтоб смешать свои прозрачные воды с ее быстрым, но кружащимся медленно, мутносерым течением. Теперь правая сторона реки вам знакома. Но налево от реки — такая же взнесенная к небесам кривая. Только долина здесь шире и плодородней. Да на огромной черной скале, наклонившейся над самой рекой, стоит афганская крепость Кала-и-бар-Пяндж. Все, что от реки влево, — Афганистан. Все, что от реки вправо, — советская сторона, целая цепь хребтов, облитых бледною прозеленью вечных снегов, и десятки таких цепей, и так без конца, потому что к востоку и к северу от селения в ночном, холодном и прозрачном воздухе протянулся Памир. И, устремив взор в другую сторону, на юг и на запад, — такие же прозрачные снежные цепи, то же самое, потому что там лежат ущелья и крутизны Гиндукуша — Афганистан, Индия, а поближе сюда — страна уничтоженных афганцами черных кафиров, когда-то построивших и эту крепость Кала-и-бар-Пяндж. В крепости расположен афганский пост, в ее саду есть маленькое озерко, а вокруг нее — синевато-зеленые посевы мака, которых на советской стороне нет. Из мака делают опий.

Я сделал, кружась по Памиру, девять тысяч километров верхом и пешком, и я люблю его очень давно. Сотни людей побывали на Памире, но я хочу,

чтоб о нем знали все. Я заставаю вас полюбить его хотя бы для того, чтоб вы раз навсегда перестали называть, так сказать, «поэтическими» представления о дальних странах. Памир прежде всего необычен и мало исследован. Строителями социализма еще не сломен барьер его непроходимых хребтов. Но его перестройка, пожалуй, примечательнее перестройки других областей Союза, потому что Памир должен перескочить не через десятки, а через тысячи лет. Вы не знаете его, и, начав рассказ, я буду безжалостно врываться в ваше спокойное чтение, чтоб без всяких обиняков объяснить вам все, чего вы не нашли бы в словарях и в путеводителях по Памиру, потому что таких путеводителей и словарей еще нет. И потом: мешанина из русских и разноязычных местных слов неприятна. Я предъявляю вам свое право пользоваться во всех возможных случаях только русским языком. Лучше уж я сразу выложу перед вами местные, переведенные мною слова. Вот они:

Селение — группа хозяйств (на Памире до сих пор только родовых или индивидуальных, ибо по причинам крайней отсталости народного хозяйства области коллективизация в ней до сих пор не проведена и колхозов нет), расположенных в долинах и ущельях, обычно на конусах выноса боковых притоков (дех, кишлök).

Поселянин — крестьянин, хлебороб, земледельец (дех кан).

Ишан — поп высшего ранга, «духовный старец», но поп особенный, некий митрополит исмаилитской религии, с властью, расширяющейся далеко за пределы заведывания одними божественными делами (ишан).

Безумный — тоже: сумасшедший и одержимый (дивана).

Повелитель воды — лицо, ведающее распределением воды, кратко: завводраспред (мироб).

Самопал — старинное, фитильное ружье, с ножками, которые несомненно — прапраотцы ножек дегтеревского пулемета. Распространено на Памире и вообще в горных районах долины (мултук, цан, камон).

Управитель — волостной управитель в Афганистане (хаким буквально — ученый).

Пузырь — плавательный снаряд, баранья или козья шкура, надутая воздухом. Часто связываются в плоты (гупсар, турсук, сана ч).

Горный козел — так и есть дикий и водящийся в горах южных районов Средней Азии (киик).

Дикий баран — «каменный баран», «баран Марко Поло», водится только в Тибете и на Памире (архар).

Канал — оросительный канал (арык, чуй).

Пиала — ну, это все знают: обиходная чашка без ручек, расширяющаяся к краям (пиола, чннй).

Кошма — войлочная подстилка.

Дом — постройка из грубо сложенных камней, с плоской крышей и дырой в ней для дыма (чод, чид, хонд).

Халат — суконный, дмотканый, серый, белый или черный (г л н м).

Ну, и так далее. Например: «Пяндж» — пять (хотя местные жители реку Пяндж называют просто: «Дарьё» — Река). «Кала» — крепость. «Бар», как и «болё», — обозначение высоты, поэтому Кала-и-бар-Пяндж значит: крепость над Пянджем. «Бартанг» — высокая щель. «Шах» — это одновременно: царь, скала, ветвь. Река Шах-Дара называется по-шугнански Хох-Дара, и перевод в данном случае будет: «Ветвистое ущелье». «Дарваз» (область Таджикистана) — это от «дарвоза» — ворота, и эта область называется так потому, что единственная бегущая вдоль Пянджа тропа, соединяющая Западный Памир с Таджикистаном и со всем Советским Союзом, сжимается теснинами и становится акробатичной именно в этой области. Еще в древности эта тропа была головоломным, страшным, но необходимым торговым путем из стран Севера в индийские страны и из стран Запада — мимо пустыни Гоби — в Китай.

А теперь я налегке удаляюсь в холмы моего рассказа о безумце Марод-Али.

3

— Смотри, он опять ходит там, — сказал маленький оборвыш Шамо своему приятелю Хошмамаду, так же, как он, свесившему ноги с огромной ветви старого тутовника. — Тише, так болтая ногами, меня столкнешь.

— Ходит, все ходит... Как думаешь, ищет? Что можно искать на этих камнях? — ответил Хошмамад, всматриваясь сквозь листья в человека, блуждавшего высоко по каменистой осыпи.

— Может быть, он ищет синие камни? Знаешь, русские всюду ищут

синие камни, может быть, ему обещали денег, если он найдет камни?

— Нет. Он не ищет камни. Я сам один раз подумал так. Я подумал — полез и всюду искал. Помнишь, у матери сдохла хромая овца? Я тогда искал. Ничего нет. Разве наши старики не держали бы знания об этом?

— Шамо, ты знаешь, что сказал мне отец? Ты не знаешь, что сказал мне отец!

— Что?

— Отец сказал: он — сумасшедший. И я тоже думаю: он — сумасшедший. Конечно сумасшедший. Три лета ходит, как баран, все по одному месту. Мой отец спросил его: зачем так ходить? А он смеялся и сказал: там ближе к солнцу.

— Он врет! Я знаю про него все. Мой отец вел о нем большую беседу. С ишаном беседу вел. Они сидели на террасе. Они вместе курили опиум. Они тихонько так разговаривали. А я подкрался и слушал.

— Он врет! Я знаю про него все.

Мой отец вел о нем большую беседу. С ишаном беседу вел. Они сидели на террасе. Они вместе курили опиум. Они тихонько так разговаривали. А я подкрался и слушал.

— Ой?.. Они тебя совсем не видали?

— Вот, не видали. Мой отец спросил: «Правда, Марод-Али — сумасшедший?» А ишан так говорит: «Конечно. Разве он такой, как все? Разве все ищут душу первой жены?»

— Какой жены?

— Ты не знаешь? Вот дурак! Где ты был? Мы все это знаем. У Марод-Али сейчас вторая жена. У Марод-Али была первая жена. Она умерла на Верхнем Пастбище. Она пасла скот и родила четверню. Она рожала, — другие женщины не могли ей помочь. Тогда она умерла. И вся четверня умерла. Если б она осталась внизу рожать, разве старики помогать не умеют? Так говорят: ей некогда было остаться. Вот так. А на Верхнее Пастбище она всегда ходила по этой осыпи. Лезет прямо наверх, на скалы, потом лезет по скалам (там, не знаю, есть, не знаю, нет, — козья тропка). Она дура была, всем кричала: «Ходите три дня, ходите обходной тропишкой, у вас есть время, у меня нет». А тут, как говорят, она ночь ходила. Одну только ночь. Молоко не успеет скиснуть, — она сюда его принесет.

— Все равно, не все равно — сладкое молоко или кислое принести?

— Зачем надоедаешь?.. Сестра у нее была. У сестры ребенок больной. Все лицо обросло паршой. Один человек сказал: надо сладким молоком отмыть. Вот, лазала так, оттого умерла. Теперь ишан говорит отцу: «Марод-Али ходит. Потому ходит — ее душу ищет. Конечно сумасшедший (говорит ишан), он и молитвы такой не знает, чтобы найти. Зачем искать? Столько терять времени? Пусть придет ко мне, барана принесет, зерна принесет, сукна тоже принесет. Если хорошая душа, разве я не позабочусь? А у нее душа из земли сделана, не из воздуха, — рваной кошмы не стоит. И разве может быть от таких душ польза живущим? Только вред бывает от таких душ, они гnevаются на родственников, гoлько падеж скота, неудачи, подвохи, насылы болезней. И никто, кроме меня (говорит ишан), — мне бог помогает! — не может сделать, чтоб мертвые не вредили живым. Марод-Али скуп, ко мне не идет, жалко денег, жалко немножко зерна, жалко чесоточного барана. Вот душа его жены сделала его сумасшедшим, а сама и не думает появляться на скалах...» Такую тайну — большую тайну! — открыл ишан моему отцу... А я слышал.

— А ты боишься Марод-Али?

— Конечно боюсь. Сумасшедшие страшны.

— А я не боялся. Он добрый: идет, яблоками всегда угощает. Лук мне один раз подарил. Вот, я стреляю.

— Ой? — испуганно перебил собеседник. — Такой желтый, красивый, да? Ты мне не сказал. Почему не сказал? Сжечь его надо было...

— А зачем?

— Ты дурак, э, дурак... На твои глаза короста придет... Ой... Это что у тебя?

— Где?

— Вот, ну, гной под глазом течет?

— Так это. Я веткой оцарапался...

— Э... Навоз у тебя в голове. Все говорят, отец говорил: ничего от сумасшедших брать в руки нельзя. Сглаз будет. А ты... И я трогал твой лук, и у меня... Слезай скорей...

— Зачем?

— Ва, скорей, а то я все твоему отцу расскажу. Надо сейчас же бросить твой лук в огонь... Почему ты сидишь? Скорей!

— Сейчас, — испуганно и покорно ответил оборвыш и поспешно слез с дерева.

Оба мальчугана опрoметью кинулись сжигать вредоносный лук.

4

Человек, одиноко бродивший по осыпи, конечно мог быть безумным. Он всегда был задумчив, и никто не знал его дум. Он очень много думал, вскарабкиваясь на камни. Поднявшись до вершины осыпи, Марод-Али вступал в область скал. Далеко внизу, под осыпью, зеленело селение. Еще ниже, за селением, заплетала свои русла Река. На той стороне, под склоном горы, синели посеы Кала-и-бар-Пянджа. Марод-Али снимал обувь на скалах, переползал босиком с одной скалы на другую. Под ним раскрывался откос бокового ущелья, внизу грохотал поток, но у Марод-Али были цепкие руки и жилистое, худощавое тело. Он хватался за выбоину скалы и выгибался, как ивовый прут. Пальцы его ног касались следующей выбоины. Он осторожно притирал к ней подошву ноги, чтобы не поскользнуться, и, резко оттолкнувшись от скалы, делал внезапный прыжок. Он не знал головокружения и рассчитывал свои движения инстинктивно, с безошибочной точностью. Прыжок переносил его на голову следующей торчащей из отвеса скалы, и он всегда удерживал равновесие, во-время успевая прижаться ладонями к шершавой скале. Он лазил то выше, то ниже и всегда, отталкиваясь, подолгу смотрел вдоль стены. Конечно он что-то искал. Он смотрел и задумывался и снова ползал над пропастью. И конечно он был безумным, потому что даже горные козлы не ходили по этим отчаянным кручам...

А возвратясь в селение, он не спал по ночам. Ворочался, вздыхал, бормотал. Старик Сафo, его отец, просыпаясь,

тревожно присматривался к нему. Сафо тоже раздумывал о странностях своего сына. Однажды, проснувшись от его бормотанья, Сафо услышал следующие слова:

— ... Серый... белая полоска... камень... над расщелиной, против пучка травы... нет, он не так наклонен, не так...

Сафо скинул с себя белый халат, зачесался подмышкой, сел, прислушиваясь.

— ... зазубрина в глыбе с трещинками... над срезом шестого уступа... она больше ладони...

— Марод! — вдруг, испугавшись, крикнул Сафо. — Проснись!

Марод-Али вскочил и, увидев отца, растерянно улыбнулся:

— Что? Я опять разговаривал? Дух гор, я наверно думал во сне?

Оба вздохнули, Сафо закрылтел, резко повернувшись, Марод-Али взглянул на звезды и, пробормотав: «Скоро рассвет», завернулся теснее в халат и заснул. Теплая, безлунная ночь медленно двигала звезды над глинобитной площадкой, на которой спали отец и сын.

5

Селение состояло из клочков земли, очищенных от камней. Камни, собранные с этих обрывков земли, складывались по краям в широкие, в метр высотой, ограды. Ограды, если взглянуть на них сверху, казались беспорядочным каменным лабиринтом. Они почти примыкали друг к другу, оставляя между собой проход, достаточный для всадника, для пешехода или для пары тощих (ибо жирных здесь не бывает) баранов. Если б в селении появилось какое-нибудь сооружение на колесах, — в роде брички или телеги, — его пришлось бы нести сквозь селение в разобранном виде. Только такое сооружение не могло появиться в селении по самой природе этой части Шугнана. А внутри оград камни, которых деть было некуда, складывались в столбы, и на каждом участке торчало несколько таких обременительных башенок. Остальное место внутри ограды было занято стволами тутовых

шершавых деревьев и жиденьким посевом ячменя и пшеницы, возвращенных на этой земле. Путанная сетка сухих канавок разбегалась по ним.

Клочок, принадлежавший Сафо, выгнулся ниже других, на краю селения. Сафо, согнувшись, сидел на камне, локти в колени, запустив в бороду черствые, иссушенные пальцы. Жесткими, печальными глазами смотрел он на свои сухие канавки. Вчера в последний раз, разжижая и вспенивая серую грязь, два булькая, волоча растресканные соломинки, напитывая просушенный солнцем и ветром коровий помет, протацилась по канавкам вода. Но ее нехватило даже на вчерашний день. Доползая до половины его посева, она остановилась. И больше не будет воды. Задохнется посев, не будет зерна, отсохнут листья деревьев, не будет тутовых ягод, ни пучка сена не останется для быка. Что будет он делать зимой?

А все потому, что он не дал сукна правителю воды — желтому старику, брату ишана, проклятому старику, который пустил его воду на пустынные камни. Вынул камень из канала и сказал, что его выбили ночью копыта ослов. А у Сафо нет, давно уже нет ничего, кроме собственного халата. У него слышком мало овец и слышком они плохие, чтоб их шерсти хватило на нужный кусок сукна. Что будет делать Сафо? И у сына его нет ничего. Сын опять отправился по селениям — делать гребенки и деревянные расчески для женщин. За гребенку — горсть зерна, а много ли сделает он гребенок? Месяц назад ходил, всем сделал, у кого не было. Кто же закажет себе вторую? Позапрошлый месяц чинил конюшню ишану, и то — много ли заработал? Три мерки зерна. На неделю хватило.

Сафо считает все, что он съел с весны. Столько-то абрикосов, столько-то чашек гороховой похлебки, тутовых ягод, овечьего кислого молока. Мучных лепешек он совсем мало съел.

Сафо перестает считать и задумывается о канале.

И вместе с ним мне тоже следует подумать об этом канале.

В том месте, где ущелье потока воротами распахивается в долину, лежит его голова. Она лежит у самого дна ворот, врезаясь против течения потока. Выше этого места она не могла бы лечь, потому что выше — отвесная скала, по которой никто никогда не сумеет пустить воду от верхних каскадов потока. Голова канала каменной своей пастью отхватывает шестую часть его ширины; пять шестых потока бегут вниз, по дну зеленого лога, устремляясь к Реке. Через лог переброшен зыбкий мост для единственной тропы, соединяющей Шугнан со странами Запада. По берегам лога стоят одна за другой все водяные мельницы селенья. Но по крутым берегам лога нет места для домов. И если бы не канал, не выросло бы в этом месте селенье. Шестая часть бегущей воды перестает пениться и бурлит, потому что каменный лоток спокойно ведет ее на срез горного склона. И с каждым метром ее пути все выше расстояние между ней и убегающим вниз потоком. Канал строили ханы. Все, что строили ханы, принадлежит ишану сейчас. Ему принадлежит и первая вода канала, выбегающая из ущелья. И выше всего селенья, вдоль первой воды канала, над логом, по горному склону, разросся великолепный многоручный плодовый сад — сад ишана, — в котором персики, груши и яблоки, и абрикосы, и все, что может расти и цвести на высоте в два километра над уровнем моря и на широте Палестины. Под деревьями арбузы и дыни, и сочные лужайки для отдыха, и пруды, и бассейны, и посреди сада богатый, как дворец, дом, с резными дверями и окнами, весь в тончайшем орнаменте, целая усадьба с конюшнями и молитвенными комнатами, и гусятниками, и тенистыми террасами, и пристройками для гостей, и многим еще, что может быть только в саду ишана. Но сад обведен высокой стеной, украшенной рогами диких баранов и горных козлов, и только лишняя, использованная вода вытекает сразу сузившимся каналом за эту стену, чтоб поступить в распоряжение расчетливого правителя воды, чтоб дать жизнь всему селению, раскинув-

шемуся ниже по склону. Выше сада ишана — только его родовое, священное кладбище, а еще выше — сухой пустырь, заваленный камнями, над которым вздымается серая, мертвая осыпь остроугольных камней.

Постройка для гостей в саду ишана — великолепна. Вся ее просторная веранда закрыта, как массивным занавесом, целою системой опускаемых деревянных щитов. Шесть тонких высоких стоек несут эти щиты в пять вертикальных рядов. В каждом ряду — пять щитов один над другим. Каждый щит может опуститься отдельно от остальных и впустить на веранду ровно столько солнца и ветра, сколько нужно гостям. Каждый щит состоит из мозаики деревянных безделок — тончайших пластинок, угольничков, звезд, кружков, крошечных сеток, квадратиков, искусно и хитро сплетенных. Каждый щит — высокое произведение искусства. И каждый щит имеет свое название. Один называется «Глаз соловья», другой называется «Солнечность», третий именуется «Римским поясом», четвертый носит название «Лунь». А по всей резной росписи, по всем щитам сразу идет общий узор, и, как зубчатая стена крепости, все пересекает лестничной изломанной линией выпуклая полоса. Слово «пять» священо в ишанской религии. Слово «пять» — символ исмаилизма. Слово «пять» по-шугнански — «Пяндж». Так называется афганская крепость, так называется Река. Так же называется и эта искусная защита почетных гостей от ветра и солнца — «Пянджара».

Семь плотников работали над ней ровно три года. Семь плотников, потому что больше в Шугнани не было. Ишан приказал, и они работали ежедневно. Как не пойти работать, если немилость ишана равна немилости бога? Плотников кормили их родственники. Один из плотников был Сафо — отец Марод-Али, тогда еще молодой.

Сафо сидит, склонившись, на камне и смотрит на сухие канавки безнадежного своего посева. Может быть, опять пойти работать к ишану? На этот раз самому попросить у него работы? Сафо

вынимает иссушенные пальцы из спутанной бороды. Сафо загибает мизинец, считая вслух:

— Один халат. Черный, с длинными руками. Левый бок — вот, помню, — немножко кривой. Раз.

Сафо загибает безымянный палец:

— Кусок сукна. Серого. Восемь локтей длины. Два.

Сафо долго смотрит на три несогнутых пальца. Смотрит и хмурится, все темней и темней. Потом сердито плюет на землю:

— Нет. Не пойду.

Встает, крихтя, и уходит с посева домой.

6

Тогда — это было давно, и в те годы никто еще не называл Марод-Али сумасшедшим — в Хороге строился большой мост через Гунт. Ни на одной карте Азиатской России Хорог еще не значился городом, столицей Горного Бадахшана. Он был обозначен непарелью: «Пост Хорогский», Внутри крепостных стен, в казарме, жили казаки, во флигеле — казачьи офицеры. А если спросить Сафо, откуда взялись эти казарма и флигель, он может рассказать так:

«... после того, как Шугнаном овладели афганцы и Шугнанское ханство кончилось, а афганец Абайдулла-хан шесть лет просидел управителем в Кала-и-бар-Пяндже, пришел через ущелье Бартанг таджик и сказал, что к Бартангу идет русский, сын министра, с солдатами и дорогу ему показывает Саид-Максум-Саид-Исой-зода — родственник Асфали-Шо. Афганцы пошли воевать с русскими на Бартанг. И русские убежали назад, а через год пришли снова, по всем ущельям, — и через Гунт, и через Шах-Дару, — и много у них было боев с афганцами, и рассказывать об этом не стоит, потому что русские поселились в Хороге, а Хорог — это ровно два камня от моего селения. Два камня — это, по русскому счету, шестнадцать километров. И было у русских много солдат и начальник, которого звали «полковник». Сидели русские в Хороге и делали пост,

вызвали всех наших шугнанских плотников. И один из плотников был Сафо, который говорит это, а другие — Усто Нияз, Давлат Мамад и еще два рушанца. Строили первый раз казарму, а второй раз строили склад, а третий раз — большой дом для начальников. А потом строили штаб, и так, до конца, всю крепость. И наша Река отделила русскую власть от афганской. И Асфали-Шо поселился в моем селении, потому что стал он ишаном. А у меня скоро родился сын мой Марод-Али...»

Большой мост через Гунт строился, когда Марод-Али было четырнадцать лет. Солдаты забрали его на пост, чтоб он тоже работал, как все поселяне. С Шах-Дары по реке издали приплывали тяжелые бревна, и надо было их ловить и таскать. Марод-Али нес одно большое бревно за конец, очень большое бревно, и Марод-Али обессилел, споткнулся, упал, и бревно ударило его сзади по шее. За то, что упал, надсмотрщик бил его сапогами и потом еще бил по лицу кулаком. Вот большой этот желвак на шее, — некрасивый синий желвак, — это с тех пор. А пятнадцати лет Марод-Али ходил по базару в Хороге. Был он учеником у плотника. Русский человек, в роде старшего солдата, десятником назывался, учил, — тридцать четыре ученика было. А только из всех один Марод-Али плотником стал. Из остальных ничего не получилось, все не кончили ученья, домой побежали. Ну, работы такой не любили, и земля у всех в их селениях была, отцы в хозяйство позвали. А у Сафо только мельница, что осталась от деда, но, как мертвый дом, она не знала движенья и стука, потому что земли у Сафо совсем не было, он сам работал плотником на посту, и всюду работал, где ему давали немножко зерна. Вот Марод-Али остался один у верстака и сказал десятнику: «Я не пойду домой, потому что не научился еще». Он учился, работая. Сделает вещь, отдает десятнику, тот ее на базар продавать несет. Афганские купцы разные заказы давали. А Марод-Али от десятника получал каждый месяц по три рубля.

Так три года. Потом слух дошел, что вместо царя одни министры русскими управляют. Когда побегал Николай (все знают, что русский отряд с офицерами в Индию убежал), Марод-Али скрылся на Верхнем Пастбище, потому что с офицерами бежать не хотел. Вместе с Марод-Али скрылся и другой плотник — Мамат-Назар. Пришел к ним один армянин — Григорий. Бил их: «Зачем не слушаетесь нас?» Они на пост спустились — жаловаться. Там Антипов начальником был (несколько офицеров не ушли, на посту остались). Переводчик его Амунбеков Абдураман хотел расстрелять беглецов: «Зачем не послушали Григория?» А Григорий все время варил самогон, — его дело такое было, — они не послушались его, потому что он всегда пьяный. Антипов не бил их, задержал на посту, на работе. Тут Марод-Али работал год и за весь год работы получил только чулки и кусок белого сукна. Потом приехали бухарцы, взяли власть, выгнали Марод-Али и Мамат-Назара с поста, и остались они без работы. Два года ходили вдвоем, работая на население, кто ягод даст, кто зерна... Делали гребешки, ложки, люльки, деревянные калоши, ишану ворота сделали (а он им харчей не дал), э-эх, как жили все время!.. Потом Мамадамир, в роде большевика, комиссаром стал, — пошли к нему на пост и опять работали. Назар-Мамад уехал, а Марод-Али остался один, постоянным плотником. А только денег не было, харчей не было, — ни у кого их не было, потому что караваны не приходили. А потом советская власть, — новый отряд пришел. Перед тем Марод-Али в Афганистан поехал, его послали соль покупать, потому что в Шугнane нет соли. Зимой на лошади переправлялся через Реку, у самого Кала-и-бар-Пянджа. А по реке кружились быстрые льдины. Одна сбила с ног лошадь, и Марод-Али упал и водой снесен был на лед, и ударился о его край головой. Не утонул, вылез, и кровь лилась, дополз обратно до берега, а лошадь выплыла на афганскую сторону. Вот — шрам, на виске, угловатый шрам. Но это все ничего.

И пусть Марод-Али худ, и лицо его тоще и похоже на русские, некрасивые лица, — не в этом дело. Зато у него насмешливые, настоящие мужские — в них видна воля — глаза. А главное, у него есть руки — жесткие руки, сильные и большие: «Если ударю ребром ладони, — как нож. Если ударю ладонью, — как молот». Только ногти на пальцах нехороши. Все в черных полосках царапин, ни одного целого нет, желтые и жесткие, как куски черепашьего панциря.

«Обманщик я... — смеется Марод-Али, — червей так обманул. Всю жизнь работал, ни одного дня отдыха не знал. Худой стал, видишь, что червям останется? Они думали, во мне много сала будет, а я их так обманул!»

Марод-Али горд тем, что он — плотник. И когда пришла новая советская власть, он говорил в селении:

— Я думаю так: надо рабочих сделать. У нас в Шугнane совсем нет рабочих, очень мало. Пускай ко мне приходят, я буду учить, ученики мои рабочими станут, — много рабочих в Горном Бадахшане будет. А сейчас — государство рабочих, значит, эти рабочие и Бадахшаном управлять будут, знать будут, что ему нужно, поселян от темноты отучать, грамоту, которую я не успел в свой ум взять, узнают и не изменят Горному Бадахшану. И всюду у нас будут свои, рабочие люди.

Марод-Али говорил так, но никто к нему в ученики не пришел. Потому что у каждого была своя работа на маленьком поле, среди камней. И другой работы в Шугнane не было: ведь, кроме маленьких горных селений, ничего в Шугнane и нет. До сих пор — ни одной фабрики, ни одного завода. Даже в Хороге. Потому что Хорог — столица Памира, а Памир — нагроможденные скалистых и обледенелых хребтов. Только на дне долин и ущелий, только по берегам ледяных, завитушками вьющихся рек, под откосами громадных каменных стен рождаются и живут корявые селенья, опасаясь нависших над ними камней и снежных обвалов, и шатких, сползающих на них осыпей.

7

Это случилось неожиданно для него, хотя он всегда был уверен, что это случится. Как и всегда, он лез по скале и был одинок. Но сегодня это случилось, — и в тот именно момент, когда, повиснув на руках и не найдя точки опоры, чуть не сорвавшись, он еле-еле подтянулся назад. Он нечаянно глянул вдоль стены и вдруг застыл, хотя оставаться в неподвижности на этом месте было и опасно, и трудно. Он сразу задумался, забыв о своих занемевших пальцах, которые побелели от веса всего его тела, наполовину повисшего над пустотой. Он задумался, и мысль его работала возбужденно.

— Э... э... — бормотал он себе. — Отсюда — туда, с того выступа на этот. А вон тот, дальше, он еще ниже... Так, а там — пусто. Ничего, желобом. Одного мало... Один, два, еще один... Тут — киркой, а там опять на весу... Ничего... Можно. Пойдет.

Он нашел! Нашел! Его идея осуществима!..

Он выбрался из путаницы скал, спустился по осыпи, пел. Вприпрыжку спускался по камням к раскинувшемуся внизу селенью. Он совсем одурел от радости и возбуждения и пел, хотя в песне его играли только два слова: «можно» и «пойдет», перемежаясь, обрываясь, растягиваясь на все лады.

«Можно» построить. «Пойдет» вода. От верхних горизонтов реки, пересекая отвесную стену ущелья, пробираясь между скалами выше осыпи, круто пересязая вниз осыпь, пойдет вода по задуманному им каналу, а подошву осыпи он расчистит от камней. Сотни и тысячи пудов камня он заберет и отнесет в сторону, чтобы очистить площадку, на которой можно будет устроить посев и выстроить дом. В дом переедут его родители и братья, и жена, и дети, и сыновья братьев, и он сам, и еще несколько бедняков, у которых в селеньи нет земли, которые блуждают по Шугану, батрачат, пасут стада, потому что им негде сеять собственную пшеницу. И они тоже выстроят себе маленькие дома, и пройдут годы, и эти дома обра-

зуют новое селенье, которое будет называться... ну, как-нибудь а уж его назовут!..

Марод-Али пришел к своему отцу и все рассказал. До сих пор он никому ничего не рассказывал, даже отцу. Но старик Сафо замахал руками. «Невозможно!» — сказал Сафо. Марод-Али в первый раз спорил с ним долго, гневно и убежденно. Сафо сердился и в первый раз назвал его сумасшедшим. Но Марод-Али спорил еще и еще, он целую ночь не давал отцу спать. И утром отец согласился пойти посмотреть. Марод-Али взял с собою кувшин воды и большую пиалу из тех, что называются «касами».

Сафо и Марод-Али лазили вместе по скалам, и сын помогал отцу в особенно трудных местах. На скалах Марод-Али наполнил водой пиалу до краев, так что вода казалась выпуклой по краям. Затем он ставил ее на камень и выверял. Если ни капли воды не проливалось из пиалы, значит, она стояла ровно. Тогда он осторожно поворачивал ее так, чтобы зазубринка на краю приходилась на одной линии с его глазом. Он смотрел и видел вдали, по направлению, указанному зазубринкой, камень, он искал такого камня, который оказался бы на одном уровне с пиалой. Он прикрывал пиалу краешком тюбетейки, чтобы не ошибиться и не увидеть камней, расположенных выше этого уровня. Так он угадывал, куда потечет вода. Затем он чуть-чуть наклонял пиалу, и вода на какие-то миллиметры отступала от ее края. Он вычислял угол наклона. Этот угол был равен уклону будущего канала. Если уклон нужен больший, он сильнее наклонял пиалу. Это был простейший и хитроумнейший теодолит, но Марод-Али не знал, что такое теодолит, он до этого додумался сам. А отец его на дальних камнях стоял вместо рейки: он то поднимался вверх, то спускался вниз. Марод-Али мерил по его голове. Каждый поворот направления, каждый выгиб стены требовал новых замеров, и Марод-Али работал полдня. Но один из таких азимутов уперся в скалу, голую, отвесную и непреодолимую. По ней

никак не пойдет вода. Тогда Марод-Али начал всю работу заново, — повел линию будущего канала выше. Мерил, считал, лазил, рассчитывал и выверял вместе с отцом. Наконец, задыхаясь от жары, возбужденные, усталые, потные, отец и сын спустились к реке и все обсудили. И уже вместе решили: «можно».

А вечером Марод-Али зарезал барана, устроил плов, собрал всех соседей Сафо и односельчан. И все пришли, удивляясь — с чего бы это Сафо с Марод-Али устроили такой праздник? А когда все наелись досыта, Марод-Али сообщил им свою идею и спросил их:

— Если я проведу канал, ничего против не скажете? Я возьму себе ту площадку, очищу от камней, устрою посев.

— Ты сумасшедший! — сказал старший из всех гостей. — Я думал, ты что-нибудь дельное нам хочешь сказать, а ты оказался безумцем, все понимают: только одержимый безумием может придумать в таком месте построить канал.

И гости ушли, а утром сказали ему, что не могут решить без ишана.

— Хорошо, — сказал Марод-Али. — Если все ваши дурные головы могут придумать меньше, чем одна голова ишана, идемте к нему.

И все вместе они прошли в сад ишана. Тот принял их на широкой веранде своего дома и сначала долго смеялся в свою белую, почтенную бороду. Потом помолчал. Он был очень высок и худ, но сторблен, а когда он молчал, все боялись его воспаленных глаз. Потом опять засмеялся. Очень долго смеялся. И опять замолчал, гладил руками бороду — и заявил:

— Велик бог... Его святая помощь никогда не касалась дурней!.. Каждый осел быстро кричит, медленно ходит... Ну, если сделает, я ему сто рублей дам. Или, может быть, дам быка.

Разрешил.

Тогда все вместе пошли в сельсовет. И председатель сельсовета сказал:

— Я не дам разрешения.

— Почему? — нахмурился Марод-Али.

— Нет у меня закона, чтоб в таких местах строить каналы... И потом ты можешь убится.

— Я сам за себя отвечаю. Я — мастер.

— Все равно не дам!

Долго уламывал Марод-Али председателя сельсовета. И тот наконец спросил:

— А ты уже кому-нибудь говорил слово, что хочешь строить такой канал?

— Никому не говорил, — с досадой ответил Марод-Али. — А тебе не все равно это?.. Вот только сейчас они меня к ишану таскали.

— И что сказал ишан? — пылливо спросил председатель.

— Сто рублей дам или быка, если построишь.

— Что же, так понимать надо, — он тебе разрешил?

Кругом зашумели голоса поселян:

— Разрешил!.. Разрешил!.. Он ему разрешил!..

Председатель сельсовета задумался. Потом тихо ответил:

— Ну, хорошо. И я тебе разрешаю. Строй.

Марод-Али взял письменное разрешение и расписку односельчан, что, если он проведет канал, они не будут требовать себе этой земли, не захотят делить ее между собою, вся она будет принадлежать тем, кто очистит ее от камней. Председатель сельсовета заверил расписку.

8

... Никто, кроме Сафо, не сомневался теперь, что Марод-Али — сумасшедший. Это было решено бесповоротно. И в самом деле...

... Хасоф, житель селения Имц на Бартанге, сорвался и разбился насмерть при попытке втащить желоб на скалу, повисшую над ручьем Кумач-Дара...

... Восемнадцать поселян были раздавлены обвалом у Желтого Камня, попробовав подкопать осыпь, чтоб повернуть ручей, текущий с Верхнего Пастбища...

... Канал, проведенный у Шести Поворотов, подмыл и обрушил целую гору, на которой паслась вокруг ле-

товки отара баранов. Погибли пять женщин и все бараны...

Множество создателей каналов погребено под рухнувшими скалами, оползнями, снежными и каменными обвалами, изучено и убито упавшими желобами. А сколько еще сорвалось с козких троп и отвесных стен? Сколько поскользнувшихся, сбитых с ног было искрошено взбесившейся водой горных потоков?! Недаром, как грозное напоминание всем, отпечателся на плоском камне в Хороге меч Тимура, которым он ударил по камню в ярости на непропускавшую воду скалу... А ведь и канал Тимура было гораздо легче построить, чем то, что задумал безумец Марод-Али, — там совсем не отвесные скалы, и там почти нет желобов. Если на отвесную стену нужно навесить пять-шесть желобов, это — уже отчаянно трудное дело. Самые смелые люди, упрямые и искусные, не решались строить канал, когда отвес скалы требовал больше десяти желобов. Только ханы решались на это, потому что они не жалели жизни рабов. И десятки рабов погибали, и сотни рабов погибали, а канал все-таки проходил на невероятных отвесах и перекидывался через пропасти, и нес хану столько воды, сколько ему было нужно. И когда сейчас где-нибудь обрушится от ветхости старый, ханский канал, никто и не мыслит браться за восстановление его. И хотя люди в хорогском исполкоме говорят, что скоро по самым немислимым стенам ущелий разбегутся такие каналы, о каких ни один хан и помечтать бы не мог, потому что у ханов не было таких порошков и глин, которые называются аммоналом и динамитом и теперь доступны рабочим людям, — никто не верил еще всерьез людям из исполкома, никто своими глазами еще не видал каналов, построенных с помощью этих чудодейственных средств... А Марод-Али хочет своими руками строить канал, в котором — он сам говорит — будет не меньше тридцати желобов. Ха, тридцати желобов! Ха, на стене, высотой в восьмую часть камня, что по-русски значит: в один километр! И если б еще он накурился опиума, перед

тем, как утверждать это. Так нет, все знают, что опиума Марод-Али никогда не курил. Он просто прогневил бога, и бог наслал на него «черное ослепление».

И жители селенья смеялись над Марод-Али, вышучивали его при встречах, изощрялись в способах поиздеваться над ним. Но Марод-Али умел выносить оскорбления и умел сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Он отмалчивался и делал вид, что никаких насмешек и издевательств не замечает. Но к постройке канала не приступал и даже как будто никаких приготовлений не делал. Так прошел месяц, и забавляться насмешками поселянам понемногу надоело. Они наконец решили, что Марод-Али бросил свою фантастическую идею. Тогда они забыли его.

А Марод-Али никому больше не говорил о ней. И никто не задумался о том, что у Марод-Али не было денег и что, кроме Сафо, не было ни одного человека, который взялся бы ему помогать. А без денег откуда взять лес — толстые стволы тополей для желобов? И откуда взять инструмент? Ведь скалу голыми руками не одолеешь? Марод-Али обратился за ссудой в хорогский исполком. Здесь его внимательно выслушали и командировали одного из членов оика осмотреть ущелье. Член оика целый день лазил по скалам вместе с Марод-Али. И, осмотрев все, сказал, что провести здесь канал технически невозможно. Марод-Али настаивал, и ему предложили ссуду в тридцать рублей. Марод-Али просил триста, но такую сумму дать ему не могли, — хорогский исполком в ту пору был слишком беден, чтоб рисковать крупными суммами. И Марод-Али не возражал, но подал заявление о предоставлении ему работы. И работа нашлась. Ему поручили организовать артель плотников и столяров. И здесь можно не рассказывать о том, что последовало за этим: как артель была создана и как Марод-Али сам работал в ней, получая по сорок рублей золотом в месяц (в ту пору, из-за особых условий Памира, все расчеты производились в валюте), и как пришла осень, а за него

зима и весна, и новое лето. Марод-Али жил и работал в Хороге и, казалось, навсегда забыл о канале. Десять рублей в месяц он отдавал отцу и своим родственникам, жившим с отцом в селеньи, потому что вся семья родственников — с женами, сестрами, старухами и детьми — состояла из двадцати двух человек. Сафо хотел было продать мельницу, но никто ее не купил: камни, из которых она была сложена, наполовину рассыпались, жернов давно уже треснул, а все деревянные части Сафо сам давно спалил на своем очаге. И, если б не помощь Марод-Али, Сафо не на что было б просуществовать этот год.

Все в селеньи считали, что теперь Марод-Али живет отлично, что он — не нищий уже, и, перестав называть его сумасшедшим, даже сквозь враждебность почувствовали некоторое уважение к нему. И никто в селеньи не знал, что Марод-Али живет с женой на пять рублей в месяц и отчаянно голодает, ни копейки не тратя из остальных денег. Знала об этом только жена и, пока она могла выносить такую жизнь, молчала. Но однажды утром она сказала:

— Я тебя не люблю. Меня насильно выдал за тебя мой отец. Он думал, ты станешь работать в его хозяйстве. До сих пор я жалела тебя и делала вид, что ты — мой любимый. Я совсем не хочу, чтоб ты работал в хозяйстве отца, но я тебя не люблю.

Марод-Али насутился, ничего не сказал и ушел на работу.

В этот день его подручный испортил материала на три рубля, потому что поленился промерить большим деревянным циркулем филенку шкафа, заказанного начальною школой. Марод-Али, обнаружив изъян, схватил циркуль, и, помахав им перед испуганным подмастерьем, в бешенстве швырнул циркуль на пол, прыгнул на него и, как безумный, изломал его, топча сапогами. И другие подмастерья сбились в кучу, — они гораздо меньше бы испугались, если б Марод-Али ударил этим циркулем виновника. А Марод-Али, придя в себя, пошел к председателю артели и бросил ему на стол три рубля,

которые стоил испорченный материал, и еще два рубля за изломанный циркуль. А потом, сказав, что сегодня он болен, ушел домой — в первый раз — до окончания работы. И, придя к жене, едва разжав губы, угрюмо сказал:

— Идем.

— Куда? — встревожилась жена.

— Идем, — еще тише сказал Марод-Али. — Ты — моя жена и не должна спрашивать.

И женщина пошла за Марод-Али, и он привел ее в загс и велел ей сесть на табуретку. (Эту табуретку он сам сделал когда-то.) И служащий загса выслушал все и выполнил все, что от него требовалось. Бывшая жена Марод-Али плакала и вернулась в дом своего отца. А Марод-Али остался один и, возвращаясь с работы, сам кипятил себе чайник и толоч камнем ягоды тута. И никто не знал, какая обида не дает ему спать по ночам.

Но всему бывает конец, и летом Марод-Али попросил трехмесячный отпуск. Он был превосходный работник, и ему дали отпуск. Он пришел в селение в европейском, хоть и изодранном, пиджаке, и карман пиджака был тяжел, потому что в нем лежало триста рублей.

9

В саду ишана сложены толстые тополевые бревна. Когда ишан хотел строить у бассейна большую купальню, чтоб скрыть от посторонних глаз свои омовенья, он вырубил много хороших деревьев. Но была советская власть, плотники уже не хотели работать даром, и он пожалел на купальню денег. Во всем Шугнани, кроме ущелья Шах-Дары, не нашлось бы тридцати таких бревен, какие нужны были Марод-Али. Но лес Шах-Дары далеко, а ишану бревна совсем не нужны, может быть, он их продает? Марод-Али встретил ишана в селеньи.

— Я думал, бог освободил тебя от «черного ослепленья», — хмуро сказал ишан, — а ты все-таки хочешь делать канал? Ты знаешь, сколько стоят такие бревна?

— У меня есть деньги.

— Сколько у тебя денег? — рас- смеялся ишан. — Разве может быть у тебя столько денег, чтоб их хватило на эти прекрасные бревна, каждое из ко- торых стоит семьдесят рупий? И если у тебя есть деньги и ты их истратишь на бревна, а у тебя ничего из канала не выйдет? Твой канал — твое безумье, ты никогда его не построишь, а деньги твои пропадут....

Марод-Али ответил задумчиво:

— Человек купит хорошую лошадь. Отдаст тысячу рублей. Лошадь сохнет, а сам он останется жив... Женился на красивой, а она вдруг ушла к другому. Всякое бывает. Если пропадут мои день- ги, что за беда? Продай мне бревна, только не смейся, скажи настоящую цену...

— Не будет тебе моих бревен, — со- щурив воспаленные глаза, ответил ишан. — Ты не построишь канала. Если ты построишь канал, мне надо бороду брить... Иди.

Марод-Али жалел, что вступил в такой разговор с ишаном, и весь день повторял с досадой:

— Брить бороду... Самое позорное слово сказал!

Вечером он проходил вдоль стены ишанского сада. С ним поровнялся оборвыш Шамо, тащивший на себе не- сколько снопов клевера. Вдруг откуда- то легящий камень больно ударил Марод-Али по руке и, отскочив, рико- шетом коснулся головы оборвыша. Ша- мо завыл благим матом и бросился наутек, побросав снопы. Марод-Али внимательно осматрелся, но никого во- круг не обнаружил. Его сердце сжа- лось, и он подумал: «Ай, плохо, дурная примета: камень летит от бога, ударяет человека. Человек скоро умрет. Это пра- вильно. Но сейчас он ударил двоих. Кто-нибудь из нас умрет или умрем мы оба».

Марод-Али верил этой примете и пришел в дом Сафо опечаленный. Но Сафо заговорил с ним о бревнах. Где достать бревна? Они долго беседовали и, перебрав всех своих друзей по сосед- ним селеньям, подсчитали, что несколь- ко бревен достанут у них. Остальные надо было покупать в Афганистане.

Спустя несколько дней на голову Марод-Али обрушилась новая волна негодования поселян. Пропал двенадца- тилетний оборвыш Шамо. Поискав его всюду, жители решили, что он утонул в реке. Вероятно бегал купаться и уто- нул. Конечно селение быстро бы о нем позабыло, если б отец Шамо, бывший сборщик религиозных податей Бакар- Шо, не обвинил в его смерти Марод- Али, рассказав всем о случае с камнем, о котором знал от погибшего сына.

«Марод-Али виноват во всем. Камень бога летел на него, а он перебросил его на мальчика, он перебросил на него свою смерть. Он—негодий и неверный, потому что осмелился восстать против воли бога. Конечно бог отомстит ему, но пока — Шамо все-таки умер...»

Бакар-Шо прожигал проклятиями имя Марод-Али, угрозы летели со всех сто- рон, а председатель сельсовета под ка- ким-то неудачным предлогом не захотел дать Марод-Али разрешение на покуп- ку леса в Афганистане. Он дал его только под нажимом случайно проез- жавшего селение секретаря вика.

Марод-Али не знал, что и думать о смерти мальчика, и втайне считал себя виноватым.

Получив разрешение сельсовета, Ма- род-Али однажды на рассвете надул баранью шкуру и, переплыв Реку, явился в Кала-и-бар-Пяндж. В те годы граница еще не считалась закры- той, и жители обеих сторон изредка общались друг с другом. Марод-Али обратился к поселянам, и ему повезло: местный кузнец Ходжамард как-раз продавал свой дом и свой сад, и свою корову, потому что собирался пересе- литься в район озера Шива.

— Что я здесь делаю? Кую подкю- вы для толстых лошадей управителя. Для поста афганцев тоже кую. У меня нет железа. Наша земля — не Ванч, у нас не растет железо. Они дают мне железо, и я работаю. Они не платили мне год. Я пошел к управителю, он ударил меня плетью. Осел хозяину не работает так. Моя земля надо мной смеется. Я пойду к озеру Шива, у меня

брат в селении Джаган-Мир. Хорошее селение — афганского поста нет, управителя нет. Я куплю дом, буду сеять мак и продавать опий.

В саду Ходжамарда росли высокие тополя, и он согласился продать их по десять рупий за дерево, с доставкой на советский берег.

— Только сначала пойдем к управителю. Я не могу продать без него.

Управитель жил в ханском доме, позади крепости. Он не был стар, но был желт и рыхл от куренья опиума. Его жирная борода была расчесана тщательно. Он сидел на веранде в богатом белом бадахшанском халате, вышитом розовым шелком, и в шелковой белой чалме. Ходжамард поклонился ему почти до самой земли, прижав к животу ладони, и произнес с десятков высокопарных, льстивых приветствий. Управитель протянул ленивую руку, и Ходжамард подобострастно поцеловал кончики его пальцев.

— Целуй и ты, — шепнул он Марод-Али.

Марод-Али прикоснулся губами к руке управителя, щупавшего его острыми глазками.

— Высокий бог да благословит господина за то, что он открыл свой благородный слух, чтоб выслушать презренную просьбу бедного человека... — начал свое изложение Ходжамард. — Господину известно, что брат мой, живущий в селении Джаган-Мир, отвечая богу за свои прегрешения, заболел лихорадкой и наверно скоро умрет. А я должен, исполняя божью волю, забыть о своей веселой жизни в твоём селении, господин, и продать все и итти хоронить его, а потом молиться о том, чтоб его душа не вошла в презренное тело собаки или, еще хуже, свиньи. Этот человек с русского берега пришел, чтоб купить мои тополя. Не знаю — продать, не знаю — нет, да будет твое повеление...

— Сколько рупий он хочет дать за каждое дерево? — пренебрежительно процедил управитель.

— Самую малость, господин, десять рупий. Он говорит, что он — бедный человек. Десять рупий, господин, де-

сять рупий. И я сам срублю деревья и перевезу их на пузырях к тому берегу.

Управитель задумался. Из резной двери, выходящей на веранду, неслышными шагами, босиком, вышел тонколицый и томный мальчик, в шелковых панталонах, в вафельном кандагарском халате. Он непринужденно скрестил ноги на ковре, рядом с управителем, и, подвинув под бок подушки, взял с медного, украшенного бирюзой и резьбой, блюда вишневые ягоды. Он жевал их, лениво сплевывая под ноги стоявшего под верандой Марод-Али.

— Нет, — сказал управитель. — Ты не можешь продать деревья по десять рупий. Этот человек с берега неверных хочет ограбить нашу благословенную родину. Деревья стоят дороже. Пусть он заплатит по двадцать рупий и деньги принесет мне. Я не хочу, чтоб случился обман. Я сам передам тебе деньги.

Ходжамард опустил голову и молчал.

— Твоя благодарность мешает тебе говорить? — сказал управитель, и губы его были насмешливы, а в глазах появился совсем нехороший блеск.

— О, нет, господин!.. — вскинув голову и мелко, быстро кланяясь, забормотал Ходжамард. — Твоя воля, господин, твоя воля. Твой ум — свет луны, моя голова — мрак ночи, да прославит бог твою справедливость, господин. Только осмелюсь сказать, господин, может быть, этот человек, господин, беден богатством и не сможет дать столько денег?..

— Иди... Не захочет, пусть покупает деревья на своей стороне... А ты иди...

Марод-Али хотел возражать, но Ходжамард потянул его за рукав и, бормоча прощальные благословенья, поспешил из ханского сада.

— Собака... — прикрыв рот ладонью, зашептал он, оказавшись вместе с Марод-Али за каменной оградой. — Он купил место управителя за тысячу пятьсот рупий и теперь десять раз хочет вернуть себе эти деньги. Десять рупий ему, и еще две рупии на жалованье солдатам, мне останется восемь

рупий, а ты будешь платить двадцать или ты не будешь платить ничего...

— Мне нужен лес, — упрямо сказал Марод-Али.

— Значит, тебе не нужны деньги. И ты отдашь по двадцать за дерево...

11

Ниже крепости, на невзрачной базарной улочке, ящикообразной нишей в глинобитной стене зияла лавка афганца-менялы. В ее глубине на ковре, ни единым жестом не оскверняя высокомерного своего величия, восседал афганец-купец. Только черные глаза, между черною бородой и такою же черной копной чалмы, испытующе нащуривались на редких в этот жаркий час дня прохожих. Вокруг него на полу, на сундуках и на полках пестрела жалкая дешевка товаров: анилиновые краски в порошок, в круглых жестяных, с яркими английскими этикетками, банках; складные железные ножницы, гнущиеся при первом нажатии; баварские карандаши; манчестерские корявые пуговицы, нитки, иголки; бритвы с мечом и короной, с крупною надписью: «The Kid Razor» и мелко—«Made in Germany»; шелковые, расплзающиеся от прикосновения платки, и чулки с сингапурскими пломбами, и наконец дамские подвязки, — на что в Кала-и-бар-Пяндже подвязки? Что может заработать купец на всей этой колониальной дряни? Но он сидел важно и щупал, и надкусывал, и протирал большим побуревшим пальцем золото Марод-Али. За рубль он давал две рупии. За обмен он взял себе восемь рупий. Марод-Али стоял, наклонившись вперед и упершись локтями в пол лавки, возвышающейся над улицей. Купец, пересчитав деньги, кивнул на медную чашку безмена:

— Хочешь опия? Я тебе продам дешево: вес опия — вес серебра. Возьмешь?

— Не курю, — сухо ответил Марод-Али.

— Ай, молодец, хозяин! На вашей стороне многие перестали любить этот двухжизненный дым. У нас все любят.

А я нет. Я, как ты, не курю. Я бедный, я немножко торгую, курить — много денег надо... А скажи, пожалуйста, хозяин,—вкрадчиво продолжал купец, — ты что пришел покупать у нас? Деньги большие.

— Деревья... Желоба делать у нас хороших деревьев нет.

— Ай, ай, правильно... А у нас вон сколько кругом! Земли много, бог хорошую долину нам дал... Желоба, значит, для канала наверно? Гляжу я на вашу сторону, трудно у вас — такие скалы — строить канал? А кто его будет строить?

Марод-Али секунду помедлил и ответил уверенно:

— Советская власть!

Он и сам не знал, почему он ожествил себя с советскою властью, но купец рождал в нем необъяснимую злобу. Получив деньги, Марод-Али пошел к Ходжамарду, который пригласил его поесть бобовой похлебки. Они просидели вместе до вечера, беседуя о себе, о скотине, о своих государствах, об урожае бобов и пшеницы и о земле, которой много в Кала-и-бар-Пяндже и которая наполовину пустует, потому что за землю надо платить. Когда солнце упало за гору, они опять пошли к управителю, чтоб Марод-Али передал ему деньги. Управитель, допустив их к себе, сказал кратко и жестко, что денег он не возьмет, потому что лес Ходжамарда уже куплен другим человеком.

— Кем, осмелюсь спросить, господин? — побледнел Ходжамард.

— Базарным купцом, — пренебрежительно снизошел управитель. — Он дал за деревья больше, и, соблюдая твои выгоды и выгоды нашей Высокой Родины, я отдал твой лес ему... Он — честный человек и завтра принесет деньги...

— Но это уже не его, это — мои деревья! — взбесился Марод-Али. — Как смеешь ты?..

— Молчи, человек, — потемнел от ярости управитель, — собак, которые лают, у нас учат плетьюми... Убирайся, и если ты сунешься ко мне еще раз, ты узнаешь, коротка ли дорога до Файзабада!..

Вприпрыжку сбежал взволнованный Марод-Али на базар, и Ходжамард едва успевал за ним.

— Ты что, хочешь остаться без породы? — накинулся Марод-Али на купца. — Зачем ты... ты...

— Зачем ты говоришь, хозяин, словами безумных? — сладко ответил купец. — Светлые глаза, высокий рост, такие хорошие руки, высокий ум я вижу в тебе, хозяин. Пожалуйста, не сердись, не порги свою печенку... Мне тоже нужны деревья... Ну, я хочу себе строить новый дом. Мне тоже нужно немножко хорошо жить, ну, я купил, ну, что скажешь?

— Такие деревья для дома? Ты лжешь!

— Зачем такое слово, хозяин, ну где еще взять такие деревья? Никто не продаст. Из Файзабада везти — деньги большие надо, я — бедный человек, я не хотел обидеть тебя. Но, я вижу, ты очень сердитый, я всегда забываю себя, чтобы помочь другим. Я подожду строить себе новый дом, и да падет убыток на мою голову. Для такого хорошего человека, как ты... Пусть. Я могу уступить тебе лес... Каждое дерево — тридцать рупий.

— Ты смеешься?

— Ай, хозяин. Одна перевозка такого дерева из Файзабада обойдется пятнадцать рупий, только на верблюдах можно сюда привезти, а кто захочет губить своих верблюдов, гнать по таким тропам и перевалам сюда?

Спор мог бы продолжаться бесконечно, но он продлился до ночи. Марод-Али согласился, потому что больше нигде не мог бы добыть деревьев. Ходжамард не участвовал в споре, как будто никогда не имел никакого отношения к этому лесу. И Марод-Али напрасно хотел всучить деньги ему. Ходжамард отказался взять деньги:

— Я получу их от управителя. Он даст мне столько, сколько я тебе говорил. Ничего другого я не могу сделать, иначе сам бог не спасет меня от его гнева. Плати деньги купцу по его цене.

Тройная бухгалтерия кончилась. Деревья принадлежали Марод-Али. Ночь распустила по небу отару зыбких и

зыбких звезд. Марод-Али пошел ночевать к Ходжамарду. А перед рассветом, в бледнеющей темноте, когда он спускался с бараньей шкурой к Реке, он увидел осла, жевавшего клевер у лавки купца, и мальчика, сидящего на осле. Марод-Али издали не мог разглядеть его лица, но, подойдя ближе, затрясся от страха, ибо с малых лет верил, что людям иногда являются привиденья. Призрак, глядя на него испуганными глазами, громко заплакал и прохныкал сквозь слезы:

— Марод-Али, ты? Я вижу, ты... Они меня били... Почему ты бежишь?

И Марод-Али понял, что Шамо все же утонул, ибо Шамо, живой и плачущий Шамо, сидел на осле. Но, едва Марод-Али подошел к нему и увидел, что у него связаны руки, и, не успев еще осмыслить всего, дотронулся, чтобы их развязать, ворота в стене распахнулись, и из ворот выехал купец на великолепном каттаганском коне. Конь рванулся и, оттолкнув Марод-Али в сторону, затанцовал между ним и ослом.

— Ты что делаешь? — не здороваясь, со злобой крикнул купец, сжимая в руке плеть.

Марод-Али отступил и крикнул с меньшей злобой:

— Откуда ты взял мальчишку?

— Это твой, да?

— Это наш мальчишка... Из моего селенья... Ты — собака, ты его украл...

Марод-Али тотчас же пожалел о своих словах: вместо плети в руке купца блеснул нож, а конь наперся на него грудью:

— Убирайся, проклятый большевик и свинья!.. Или твоя голова поплывет по реке... Я никогда ничего не крад... А если хочешь знать, я купил его у его отца Бакар-Шо и передал за него триста тулий опия твоему ишану... Такой мягкий мальчишка — неплохая жена для богатых!..

Купец дернул осла за веревку, хватил его плетью по длинным ушам. Осел засеменил вверх по базарной улице, и конь купца, игриво заржав, рванулся с места.

— «Где ступит нога каттаганского коня, там нет ни живому жизни, ни

мертвому покою...» — пробормотал старинную поговорку Марод-Али, растерянно смотря вслед. Он с отвращением выругался и, подняв с земли баранью шкуру, в глубоком раздумьи двинулся вниз, к Реке.

Там он сердито надул пузырь и, войдя до пояса в ледяную воду, пустился вплавь к советскому берегу.

12

Марод-Али работал одним топором. Но этот несовершенный инструмент вырубал в стволах тополей русло, по которому потечет новая жизнь. Щепки летели в стороны, и Марод-Али тщательно их собирал. Когда-нибудь, смешав их с глиной и щебнем, он употребит их для постройки нового дома. Желоба рождались один за другим. Сейчас по ним текли только насмешки и ненависть всего селения. Как и единственный в селении канал, они вытекали из ишанского сада. Кроме Сафо, у Марод-Али помощников не было. Но они были нужны ему, как вода. Вдвоем с Сафо он не мог бы построить канал. И после многих раздумий Марод-Али пошел к Каламфолю.

Все знали, что Каламфоль, сын соседа Сафо, лучше всех в селении умеет лазить по скалам. Когда девятнадцатая весна нашептала на ухо Каламфолю, что он хочет жениться, а та, темноглазая, на которой он вздумал жениться, не шла за него, потому что Каламфоль был беден и не имел ни тутовых деревьев, ни дома, он плакал и принимал курить опиум. Тогда Марод-Али, которому нравился Каламфоль и который сочувствовал его горю, пришел к нему и сказал:

— Не кури опиум. Я выстрою тебе дом. Я хорошо строю дома...

— У меня нет денег тебе заплатить, — равнодушно отвечал Каламфоль.

— А я не хочу твоих денег, — улыбнулся Марод-Али. — Я ничего от тебя не хочу. Я хочу, чтобы ты женился. Я просто так выстрою тебе дом.

И Марод-Али сложил из камней маленький дом Каламфолю. Он долго

складывал его, урывая для этого часы, свободные от всякой другой работы. И темноглазая вышла за Каламфоля, хотя у него и не было ни тутовых деревьев, ни пашни.

А теперь Каламфолю исполнилось двадцать два года, и попрежнему он лучше всех в селении умел лазить по скалам, потому что никакой высоты не боялся. И Марод-Али пришел к нему и сказал при всех стариках:

— Пойдем со мной строить канал. У тебя будут тутовые деревья и пашня для тебя и жены твоей, и твоих сыновей. А нам будет легче строить: ведь ты — как горный козел на скалах!

— Ты — сумасшедший, — сказал, смотря в землю, Каламфоль. — Так все говорят, и так я отвечаю тебе. Ты — сумасшедший, и я не знаю дела с тобой.

Обида резко хлестнула по сердцу Марод-Али, и он ответил злой поговоркой:

— «Когда лошадь куют, и осел поднимает ногу!»

И ушел. Но долго думал об этой обиде, и раз, встретившись с Каламфолем наедине, остановил его и спросил, неужели он такой же, как все?

Каламфоль взглянул ему прямо в глаза и потупился:

— Марод-Али... Ты — большой человек, хоть и бедный человек. Я — тоже бедный человек, но маленький человек... Знаешь, за одной кобылой двое бегут: жеребец и мерин. Жеребец спрашивает мерина: «Зачем ты бежишь? Ведь ты все равно ничего сделать не можешь?» А мерин ему ответил: «А потому, что, если я не буду за кобылой бежать, ты меня самого за кобылу примешь...» Вот так... Разве кто пойдет против ишана, раз он открыл всем, что ты сумасшедший?

И Марод-Али ни о чем не говорил с Каламфолем, и они разошлись, как будто не знали друг друга.

13

Скоро ветер разнес по всему Шугнану слух о затее Марод-Али. И однажды из Шах-Дары пришел седой человек.

Его звали Хакар-Шо, он прожил пятьдесят лет, но, когда у него сдохла лошадь, он остался совсем одинок, и у него нехватало гороха, чтобы есть каждый день. Он пришел в селенье, оставившись около желобов, над которыми Марод-Али стучал топором:

— В моем селении Джараджан — ни земли мне, ни родины нет. Тебя называют безумцем. Давно было, в моем ущельи я строил канал, и он рухнул вместе с моим сыном и с горою камней. Меня тоже так называли. Если и мне найдется клочок земли и место для дома там, где сейчас мир камней, я буду работать с тобой.

Марод-Али отложил топор, выпрямился, отер лоб рукавом, взгляделся в пришельца и сказал:

— Хорошо.

А потом с Верхнего Пастбища спустились два брата Марод-Али — Лютфалли и Абдураим. Они отказались пасти чужой скот. И хотя работать топором они не умели, но руки ихгодились. Желоба рождались один за другим.

А когда последний желоб был сделан и Марод-Али сказал, что завтра начнется другая работа, к нему пришел человек, которого он не знал.

— В Кала-и-бар-Пяндже большие новости, — весело сказал он.

— У тебя веселое лицо. Наверно хорошие новости?

— Очень хорошие. Управитель очень разбогател.

— А разве раньше у него было мало богатств?

— Конечно мало, — засмеялся пришелец. — Сапог Наубогора у него не было? Деревянной чашки Наубогора, у которой сломано дно, тоже не было? Ослиная шкура, которую съели черви, а, как ты думаешь, была у него? И подушки из перепрелой кошмы, и разбитой двуструнки, и блох Наубогора конечно не было. Хороший был у него слуга, и все подарил ему... Я — Наубогор, и вот тебе привет от моего управителя. Он забыл сказать, что я буду с тобой работать, но сегодня он наверно смеется, потому что подумает это. Смотри, Марод-Али, каждую весну у меня делался крепким один палец.

Прошло двадцать весен, у меня двадцать крепких пальцев на ногах и руках... Твое селенье дурное, все смеялись, пока я тебя искал. У них наверно чума в голове, все веселые очень... Ничего, я тоже веселый!..

Так присоединился к помощникам Марод-Али житель Афганистана Наубогор. И на следующий день он легче всех карабкался по скалам и проворней всех таскал дерн, чтоб заложить щели между камней в том месте, где должна была лечь голова канала.

И когда все работники, употев от таскания дерна, расселись у самой воды ледяного потока, он вскарабкался на большой черный камень и пустился танцевать босиком, распевая афганскую военную песню.

— «На голову крепости солнце пришло», — сказал он, — а на голову канала пришел Наубогор. Значит, канал будет, как светлый день...

И работники полезли по колено и по грудь в воду, а другие держали их за плечи, чтоб вода не сбила их с ног. Сворачивая камень за камнем, они нагромождали их один на другой. Вода редела, расшвыривая воздвигаемую плотину, но люди были злей и упорней воды, они связались веревками, и, когда один падал, другие успевали вытащить его прежде, чем он захлебывался, и прежде, чем, протащив его по камням, вода измолочила бы ему руки и ноги. Люди покрывались ссадинами и, не думая о них, снова накидывались на камни. Вода решила обессилить их холодом, вода была ледяная, и кожа людей горела, как в пламени, становясь красной, воспаленной, шероховатой. Но люди относились к своему телу так, словно оно было им чужим и глубоко безразличным и словно боль была постоянным, естественным его состоянием. Они вылезали на берег, только когда судорога сводила их мышцы. Они растирали руками ноги и бедра и опять лезли в воду. Если б вода не была ледяной, они измучились бы гораздо быстрее, но холод воды уносил их усталость и заставлял их ускорять и усиливать движенья. Марод-Али выворачивал самые тяжелые камни, и вода,

несясь через них, обрушивалась на его плечи и голову. Он набирал в легкие воздуха и, закрыв рот, не дышал, как ныряющие пловцы. Раз он поскользнулся, и один из камней едва не переломил ему ногу, но его во-время повернуло течение. Сафо продолжал выискивать в расщелинах скал пучки травы и подносил новые куски дерна. И вода наконец сдалась. Поток расщепился на две струи, из которых одна была слабой и узкой, но наполнила голову канала. Она сразу, но чуть ниже, устремлялась обратно в поток, потому что ниже еще не существовало канала, но она уже отдала свое будущее воле людей. К вечеру голова канала была готова. Первая, самая легкая, часть работы строителям удалась.

Но дальше ни о какой работе без инструмента не могло быть и речи. Топор Марод-Али не мог заменить всего.

Марод-Али пошел к председателю сельсовета.

— Мне нужны лопата и кайла. Мне нужны две кувалды и лом. У нас организовалась артель.

— Артель сумасшедших... — про бурчал себе под нос председатель и очень громко произнес: — Не знаю такой артели. Где разрешенье? Почему приходишь ко мне? У меня нет инструмента.

— А где тот инструмент, который привез Госторг для распределения между поселянами?

— У них и спрашивай.

— Сафо и я не получали. Пусть. Тебя не спрошу. А где запасной, для общественных работ?

— Не видал такого. Раздать нехватило.

Тогда Марод-Али побрел в Хорог, потому что знал: инструмент, розданный поселянам, пошел за опий в Афганистан, а запасной оказался в кладовой у ишана. Он пришел в исполком, и люди в исполкоме спросили его: «Ты все-таки хочешь строить канал?» И расспросили его обо всем, и удивились, и постановили выдать инструмент из кладовой Кустпромсоюза. И Марод-Али, зарегистрировав артель, получил инструмент, а председатель союза дру-

желюбно хлопнул Марод-Али по плечу и сказал:

— Не верится мне, что можно сделать такое дело. А если сделаешь, будешь героем труда.

14

От головы канала, там, где позволяла скала, надо было провести лоток без желобов — из камней, земли и пучков травы, залепляющих щели. На это ушло несколько следующих дней. Край канала осыпался, с'езжал, но его подпирала щепнем, связывали камни витою берестой, подравнивали щепками и лозою кустарника, собранной на берегу реки.

Люди из селенья не пришли смотреть, как складывали голову канала работники и как—кайлами и руками—сооружали верховья канала. Но, когда работники потащили вверх по осыпи первый желоб, соглядатаи появились, ибо никакая враждебность не бывает в шугнанцах сильнее любопытства. Соглядатаи делали вид, что любят благополучным голубым небом, потому что у них много свободного времени и им безразлично, где отдыхать.

И среди них сидел Каламфоль, которому когда-то Марод-Али выстроил дом.

— Смотри,—сказал Каламфоль бездельный сосед, — они хотят туда... Там птица не сядет, и козел, когда захочет воды, кругом обойдет это место... Они, дураки, упадут... Мы хорошо будем смеяться!

Но Каламфоль изучал отвесную стену беспокойным взглядом:

— Если б я пошел туда, я не упал бы... А они могут упасть. Они очень могут упасть. Я не буду смеяться, когда они упадут. У них сердце, как пуля, ничего не бонтся.

— У них сердце без головы... — сердито проворчал сосед. — У них ослиное сердце. Пускай упадут. Я спасибо скажу пророку, когда он пустит их души в ослы.

Соглядатаи лениво переговаривались друг с другом. А работники обвивали желоб веревками, сами связывались

веревками и, как муравьи с огромной соломинкой, полезли на скалы. Халаты и обувь лежали грудой на плоском камне, потому что работники остались бо-сиком и в одних рубашках. Но и рубашки мешали их равновесию и, цепляясь за скалы, рвались. Наубогор снял разорванную рубашку и бросил ее вниз, чтоб подобрать после работы. Рубашка распростерлась по ветру и, кружась подобием белого коршуна, падала вниз, и легла на дне ущелья, у самой воды потока. А Наубогор, голый, как ящерица, полз вверх и укрепил веревку за выступ скалы; держа рукою конец, а другой уцепившись на весу за маленькую расщелину, взглянул вниз и крикнул прилепившемуся ниже, на заплечике отвесной стены, Марод-Али:

— Пускай желоб... Я удержу!

И желоб метнулся, как маятник, вдоль скалистой стены. Он качнулся раз и другой. Длинным шестом его качанье остановили другие работники. Марод-Али, как муха, полез по стене к нему с деревянным колом в зубах и с кувалдой за поясом, стянувшим голый живот. Его брат полез вверх, к Наубогору, и скинул Марод-Али другую веревку. Марод-Али подвязал ее под плечи и к поясу и повис в воздухе, упираясь ногами в скалу, чтоб не вертеться. Здесь виднелась отмеченная углем расщелина в камне, и Марод-Али, воткнув в нее кол, принялся бить по нему кувалдой. Размахнуться, вися в воздухе, было трудно, и после каждого удара Марод-Али вертелся волчком на веревке. Сафо смотрел снизу на сына и вытирал пот, проступавший на его морщинистом лбу, хотя обычно пот проступал у него только в разгаре работы. Соглядатаи на окрестных скалах хоть и были полны злорадства, но все-таки волновались от такого азартного зрелища. Впрочем работники, висящие высоко на стене, казались соглядатаям маленькими кузнечиками, потому что высота усугубляла действительное расстояние. Марод-Али вбил кол и укрепил на нем конец желоба. Другой конец уместился в выбоинке скалы. Первый желоб повис над потоком. Марод-Али

спустился вниз. За ним спустились и другие. Наубогор присел у воды и опустил в нее руку. И пятно крови мгновенно растворилось в быстрой воде. По всей руке потемнели и выпучились надутые жилы.

— Ты слишком долго держал веревку, — сказал, внимательно склонившись к нему, Марод-Али. — Надо делать иначе: обматывать руку тряпкой и сначала наматывать веревку на деревянный кол.

— Да, правильно. Веревка — тоже сволочь, как управитель, — усмехнулся Наубогор.

15

Невероятно, но желоб за желобом нависали на отвесной стене ущелья. Лицо и руки, все тело Марод-Али украшали садины, синяки и кровоподтеки. Он хромал, потому что камень разорвал ему ногу от щиколотки до колена. Он до такой степени исхудал, что в провалы его щек уместилось бы яблоко. Но его мускулы были тверже, чем мускулы яка, а воодушевление делало его совершенно неутомимым. И, чем больше желобов нависало над пропастью, тем большей гордостью наполняла его насмешки селенья, которые день ото дня звучали все неувереннее. Председатель сельсовета почему-то перестал с ним здороваться, а ишан однажды при встрече в ответ на приветствие громко крикнул, так, что все слышали:

— Это — не человек, это — сын свиньи, потому что отец его был хуг—свинья!

Но однажды враги его забесновались от радости. Жители в селенье злорадно сообщали друг другу, что бес, сидящий в Марод-Али, насмеялся над ним, и канал не будет построен. Это случилось, когда четырнадцатый желоб уперся в глыбу, острым мысом нависшую над отвесом, гладкую, как стена, и совершенно неодолимую. Пятнадцатый желоб некуда было привесить. Глыбу можно было бы обойти только метров на восемь выше или настолько же ниже уровня канала, и тогда вода бы не пошла. Работники бились три дня, еже-

минутно рискуя жизнью, перепробовали все средства, но ничего не могли придумать. Глыбу нужно было обрушить вниз. Но никакая человеческая сила не могла б ее оторвать от стены. Марод-Али понял, что глыбу можно только взорвать. Только динамит мог предупредить позорную неудачу. И Марод-Али, прекратив работы, ушел в Хорог, а Сафо, Наубогор и другие засели в ущельи, как загнанные волки, голодая и цепеная от холода по ночам, только потому, что не хотели подвергаться невероятным издевательствам приближенных ишана.

Марод-Али пришел в исполком. Люди в исполкоме знали, что он строит канал, знали, что работа невероятно трудна, но совершенно не представляли себе всей обстановки, в которой она протекала. Трудно догадаться, почему Марод-Али не хотел сообщить исполкому всего, что знал об ишане, о настроениях, которые создал ишан среди жителей, о председателе сельсовета, чья жена была родственницей ишана, словом обо всем, что уже знает читатель. Когда Наубогор однажды посоветовал ему все рассказать в Хороге, он ответил: «Пока таиб (лекарь) придет из Хорассана, больной умрет», и потому, надо думать, просто опасался ишана и полагал, что председатель сельсовета, если вступить с ним в открытую борьбу, сумеет так навредить ему до назначения всяких исполкомских комиссий, что никакое решение исполкома не принесет ему уже никакой пользы. Марод-Али очень хорошо помнил тот случай, когда труп одного из комсомольцев был выброшен Гунтом на прибрежные камни и никто не мог оспаривать, что рана, зияющая на шее, не ножевая. И уж конечно, кроме Марод-Али, некому было б обо всем уведомить исполком. Три четверти жителей селенья так или иначе до сих пор зависели от ишана, а остающаяся четверть находилась с ним в родственных взаимоотношениях, и все селение целиком состояло из исмаилитов, а исмаилизм, — как известно, одна из самых скрытых, упорных и трудно преодолимых религий. Если даже сам Марод-Али откры-

то признавал, что он верит в бога, хотя и ненавидит ишанов, то что же говорить о других, для которых всю жизнь ишан был непрекаемым авторитетом? Кто бывал на Памире, тот знает, что здесь даже некоторые коммунисты на проверку (были такие, к счастью, редкие случаи) оказывались убежденными исмаилитами. Но, позволив себе на миг оторваться от рассказа, я сейчас же возвращаюсь к нему.

Марод-Али пришел в исполком и сказал, что «буран зашумел на тропе труда, по которой его артель поднимается к светлой вершине удачи» и что только исполком может выручить ее из несчастья. Все знали, что Марод-Али редко прибегает к высокому стилю речи, а потому поняли, что дело серьезно. И в селенье был командирован в ту пору в Хороге единственный подрывник — дорожный десятник Ступницкий.

Марод-Али торжественно повел его вверх по осыпи. Ступницкий по пути объяснил Марод-Али, что подорвать одну глыбу — пустое дело. Но когда, радостно встреченный всей артелью, он глянул вдоль стены, он покачал головой и сказал, что по таким отвесам лазить не может. И ему можно было поверить, ибо все знают — Ступницкого обычно не пугали никакие скалы. Но этот отвес...

Марод-Али в отчаянии предложил подвесить Ступницкого на веревке: «Ведь я же работаю так, товарищ Ступницкий, и вот они тоже...» Но Ступницкий, сам весьма огорченный, прочел им целую лекцию о коротких бикфордовых шнурах, о неустойчивости нависшей сверху породы, о невозможности заложить запал и во-время удалиться от места взрыва... «Даже если птица унесет меня на веревке» — досадливо улыбнулся он.

И Ступницкий ушел и понес в исполком все то же безнадежное слово: «невозможно».

А Марод-Али остался сидеть среди скал, охватив руками свою безрассудную голову. И отец его, и братья, и веселый афганистанец, и седой старик из Шах-Дары, и еще один бедняк, не-

давно принявший участие в их работе, сидели вокруг, на тех же скалах, в очень печальном молчании. И подняли головы только тогда, когда Марод-Али внезапно схватил большой камень и швырнул его вниз с такой яростью, словно этот камень был во всем виноват.

— Не сделаем канал, я жить не буду, — крикнул он, сморщив от бешенства нос. — Все равно не жить... Завоняет меня падаль—ишан...—И, скрючив пальцы, приблизив к лицу раскрытые ладони, он почти с ненавистью потряс ими.

— Вот. Пусть рук не будет. Руками порву глыбу, зубы сломаю... Хга. Будем работать. Я знаю, как!..

16

И он, действительно, знал, как надо работать, потому что на следующий день на верхнем выступе глыбы с утра задымился костер и половина артели, прилепившись к скале, протяжно и непрерывно дула на угли костра. А другая половина артели таскала снизу колючий кустарник и щепки, которые когда-то Марод-Али предназначал совсем для другого, и сухую траву, и все, что могло гореть. И так, изнемогая от жара, работники дули на угли часа четыре. А затем вылили на раскаленный камень ледяную воду из упругих бараньих шкур. И, когда рассеялся пар, в глыбе открылась малая трещинка, слишком малая, чтобы в нее мог войти конец железного лома. И люди опять таскали кустарник и дули на огонь, и лили холодную воду, и делали так несколько раз до вечера. А утром снова вскарабкались на глыбу, и за весь день ни разу не взглянули на ясное, узкое небо, и ничего не ели до вечера. То же было и на третий день. Трещина расширялась и углублялась убийственно медленно. А затем, связавшись веревками, работники вбивали кувалдами в трещину деревянные клинья, и столько дерева ушло на эту работу, что из него можно было бы выстроить дом. Огонь, вода, железо и человеческое упорство шли против камня, голого, мертвого камня, и камень постепенно

сдавался. И однажды, через много дней, Марод-Али удалил с глыбы всех и повис на веревке, которую высоко над ним укрепил Наубогор. Марод-Али работал кувалдой один, потому что глыба от любого удара могла сорваться. Размахнувшись, Марод-Али дернулся на веревке, а кувалда рванулась из его рук и, раз, один только раз, метров на сто ниже, ударившись о выступ скалы, сделала гигантский скачок по дуге, вниз, в пену потока. И сразу, скрежеща, загудев, глыба рухнула вниз и, мелко скрипнув о тот же выступ, грохнулась на дно ущелья. Удар дрожью прошел по скалам, Марод-Али показалось, что зазвенел воздух. Но воздух звенел только в его ушах, потому что он потерял сознание.

Ему дали воды, он засмеялся и, смеясь, туго растер ладонями грудь.

— Вот хитрая какая... А мы тоже хитрые, — и с веселой улыбкой обернулся к приятелям.

И все вместе отправились смотреть на глыбу, покорно лежащую у края потока, который сердито облизывал ее ребристую грань. И до вечера лазили в воду, разыскивая кувалду, но к большой досаде своей нигде ее не нашли.

17

Вечером у выхода из ущелья к Марод-Али подошел Каламфоль, который весь день просидел на другой стороне ущелья, как ящерица, греющаяся на солнце.

— Марод-Али... Не поворачивай лицо в сторону, пока я тебе не скажу. Я от сердца тебе скажу... Ты — сумасшедший человек... Нет, подожди, не сердись. Это правда. Искандер Двурогий тоже был сумасшедшим, а весь мир был в его руке, и мы — все потомки его... Ты — большой потомок, и ты, и твои товарищи... Пусть умрет в твоём сердце обида на мой ослиный язык. Пусть ишан надо мной посмеется тоже... Я не могу дома работать, ты сам видишь — я не могу. Вот сижу, как дурак, как пустая лягушка, смотрю на твой желоба. Половина желобов висит, половину ты еще должен привесить. Пусти

меня работать с вами. Я хорошо умею лазить по скалам... Если место для пашни останется, я возьму. Если не останется, пусть, ничего. Я просто так очую помогать тебе. Пятьдесят лет пройдет, все посмотрят на канал, скажут: «Вот Каламфоль тоже здесь был, все-таки работал, ничего себе работал, не ленивый был».

Марод-Али слушал, и лицо его осталось суровым, но глаза удовлетворенно заискрились. Марод-Али никогда не был злопамятным. Он повернулся к Сафо:

— Что скажешь, отец? Пускай идет к нам?

— Мне ничего, можно, — ответил Сафо. — Пусть, во славу пророка Али, идет.

— А ты, Наубогор, что скажешь?

— Девушка видит сильного мужчину, идет к нему от отца и становится женщиной. Каламфолью ишан — как отец; пускай теперь ишан кричит, как медведь. Каламфоль от нашей работы родит ишану злобу, а себе — пашню...

Артель приняла Каламфолья, и работникам невдомек было, что это — их первая, настоящая, большая победа.

Пятнадцатый желоб повис на месте сорвавшейся глыбы. И с каждым днем канал проползал все дальше по скалам, медленно, но наверняка приближаясь к вершине осыпи. И уже не насмешками, а злобным молчанием провожали работников при встречах угрюмые поселяне.

18

Марод-Али верил, что знак на плоском камне в Хороге — от меча самого Тимура. Он не знал, что Великий Хромец — Тимур-ланг — в Шугнани никогда не был, ибо вместо самого Тимура орду завоевателей привел в Шугнан Ислам-хан, один из его военачальников. И шугнанцам было решительно все равно, кто именно завоюет их край. Всякого завоевателя они ждали с радостною надеждой. И это было так потому, что владычество Китая давно уже стало невыносимым. Китайцы только выкачивали из Шугнана все, что в нем еще оставалось: само-

цветные камни, золото, пушнину, красивые — безусловно красивых — шугнанских женщин. И, без боя заняв своими полчищами Памир, Ислам-хан сразу взялся за благоустройство Шугнана. И первое дело его был сучанский канал на Гунте. А в устье Гунта в те времена никакого селения не существовало. Широкая, большая долина была покрыта густыми, непролазными зарослями колючки, которая по-шугнански называется «хор». Ничто другое не могло б здесь родиться, потому что только такая колючка не знает воды. Ислам-хан повелел оросить долину, но шугнанский народ не был приучен к такому труду. Тогда Ислам-хан, удаляясь в другие области, оставил на Гунте часть своих воинов, больных, искалеченных, боязливых, и они взялись за реку Гунт. Началась работа трудная, безмерно тяжелая. В скале нужно было бурить отверстия, а воины буров не имели. Воины рубили колючку, жгли ее на скале, раскаляли камень, обливали его водой, выковыривали мелкое крошево. Четыре года вели канал от головы до того места, где ныне ютится селение Верхний Хорог. И — говорят старики — Тамерлановых войск никто отсюда не прогнал, просто они рассосались между шугнанцами, переженелись на тонколицых, стройных шугнанках и остались здесь жить. И до сих пор есть селение, повыше Хорога, на Гунте — селенье Бидур, в котором живут люди, не похожие на шугнанцев, ибо у шугнанцев совсем не раскосые глаза, совсем не монгольские скулы. А когда растворились среди шугнанцев Тимуровы воины, власть взяли в руки первые шугнанские ханы. Одним из первых был Шо-Аванджи-хон, захотевший продвинуть канал подальше. И он согнал весь народ с Шах-Дары, с Гунта, из Поршинива, в котором стоял его дом, и из Дарморахта и у самого начала высек надпись на камне:

«По повелению бога и великого Шо-Аванджи-хона начата работа в таком-то году с тем, чтобы уничтожить эту колючку и озеленить это место».

И сотни людей умерли по повелению бога во время прокладки канала. И сам

Шо-Аванджи-хон умер, доведя канал до подножия склона. И новый хан, Шо-Исмаил-хон, собрал новых людей, довел канал до конца и здесь, рядом с кладбищем, высек на камне:

«Шо-Аванджи-хон начал, умер, а Шо-Исмаил-хон кончил».

И, кончив, не разрешил жечь колючку, а велел ее корчевать, чтобы она не выросла снова. И сотни людей из сословия райят, которое было низшим сословием, носили эту колючку к его дому, в Поршинив. И несколько лет под ряд жили в тепле люди из сословия кобыр, благородней которого нет в Шугнани, и военачальники — мины — и потомки Магомета — саиды.

И хан подарил долину брату своей любовницы, и в долине вместо колючки вырос Хорог, а шугнанцы хорошо научились строить каналы, и все следующие ханы превосходно знали, как использовать это умение, и, когда теперь шугнанец чем-нибудь недоволен, он хмурится и, растягивая слова, говорит:

— Да, тебе хорошо разговаривать, а у меня до сих пор колючка в спине!

И всякий поймет, что теперь, когда ханов нет, только безумный по своей воле может таскать колючку и жечь ее так, чтобы она разрывала камни.

Еще раз — в последний раз — я соглашусь, что Марод-Али был безумным.

19

Однажды вечером работники уложили последний желоб. Но это еще не был час торжества, потому что перед пуском воды должна была опуститься, продлиться и уйти ночь. Все селенье шепталось, обсуждая это событие до ночи. Но никто не хотел ни о чем говорить с работниками. Были разные толки. Многие признавались друг другу, что сумасшедшие победили. Но другие (и в числе их оказался председатель сельсовета) утверждали, что вода не пойдет, потому что уровень желобов недостаточно выверен. Ишан молчал и никому не показывался. А когда все жители легли спать и заснули также работники, Марод-Али и Наубогор тихонько, чтобы не будить остальных,

встали с глинобитной площадки и отправились вверх по осыпи. Оба они спать не могли. Оба они волновались. Светила луна, и при луне они полезли на скалы. Они почти не разговаривали друг с другом. Их ночное путешествие было бесконечно опасно, но они хотели еще раз проверить весь канал, от его головы до конца. В первый раз сомненья одолевали Марод-Али. А вдруг вода не пойдет? Не может быть, чтоб все было сделано правильно... Если хоть один желоб не так наклонен, вода не пойдет. Она плеснет через край, если наклон к нижнему краю желоба хоть немного круче, чем нужно. Она застынет и, словно став на дыбы, полетится назад, если желоб наклонен меньше, чем нужно. Каждую щель в стыке желобов, заложенную травой, каждую точку опоры — щебень, берестовый прут, деревянный кол или просто задорину гладкой скалы — все до последней мелочи, все Марод-Али и Наубогор обшупывали, оглаживали, теребили руками...

... Ночь уступает свои владения расцвету; зажигая снега вершин, выпрямляется солнце; люди в селении собираются говорливыми кучками, идут по дну ущелья и по осыпи и рассаживаются на обломках и на глыбах камней, среди скал, по которым, забивая уши, односторонне гудит немолчное эхо потока. А работники, как приговоренные к казни рабы, как циркачи, выходящие на арену, готовят небывалое зрелище. Их жены остались в селенье, — они варят обильнейший плов, потому что работники решили забыть все, что было до этого дня, и всех зрителей, тайно сочувствующих, безразличных, враждебных, всех, сделать гостями... если пойдет вода. Для этого не жаль ни последних денег, ни последних баранов, ни своих желудков, которые в следующие дни будут пусты.

Марод-Али переложил камни в голове канала, и вода повернула в канал. Она нехотя замедлила бег и, словно в раздумьи, перестала бурлить. Она тихо лизнула сухую кучку земли, лежавшую на ее пути, и кучка земли, чуть содрогнувшись, набухла и почерне-

ла. Она плавно, испытующе надавила, и кучка стала худеть, отдавая кусочки земли с двух сторон ее охватившим струям. Вода навалилась решительней, проглотила препятствие и, загрязнившись, вступила в раструб канала и сразу, легко и плавно, рванулась вперед. Канал еще был канавкой, но, мутнея все больше, вода уже шла к желобам. А Марод-Али стоял на дне ущелья, под первым желобом, и, задрав голову вверх, неотрывно смотрел на него. Вода катилась неслышно, и он не видел воды, потому что глядел на желобы снизу. Он стоял, задрав голову и сжав за спиной кулаки. И вдруг, блеснув, сверху упала капля. За нею, дальше, — другая: мелкие капли западали с желобов. «Хорошо» — про себя хрипло шепнул Марод-Али и почувствовал сухость в горле... Сорвался с места и, прыгая с камня на камень, глядя не под ноги, а наверх, погнался за линией капель. Хотел проследить взглядом падение каждой, но не успевал, потому что впереди уже падали новые капли. Ущелье вело его вниз, а желоба уходили все выше в небо, и он уже не мог в высоте различить возникающих на дне желобов, отрывающихся от их стыков, капель. Он бежал вниз, по хаосу сухих валунов и камней, и на их плоскостях и ребрах то здесь, то там, словно только для того, чтоб указывать ему оголтелый путь, возникали мягкие, темные пятнышки влаги. Иногда он слышал их тоненький звон: тцинг... тцинг... Работники бежали за ним, а остальные люди, здесь и там, вверху и внизу, виднелись на скалах. Задыхаясь, Марод-Али выбежал в ворота ущелья и полез вверх, выкарабкиваясь на осыпь, чтоб добежать до конца канала раньше воды и здесь встретить ее. И, едва добрался до последнего желоба и лег, и обнял его руками, — вверху показалась пожирающая пространство вода. Она неслась, шатая, заставляя вздрагивать желоб. Марод-Али, смеясь, вытянул руки вдоль желоба и положил ладони на его дно. Вода весело домчалась, ударила по ладоням и, взбежав по рукам, обдала ему все лицо и помчалась дальше под его грудью. А он

глядел в бегущую под его лицом воду и болтал руками, и оплескивал себе волосы, и грудь, и лицо, и смеялся тем прозрачным и радостным смехом, какой люди теряют вместе со своим детством, и не верил, не верил себе и воде не верил, которая наконец — наяву — пошла...

Старый Сафо заплакал и очень смешно утирал грязным кулаком слезы, а другие смеялись над ним, говоря, что у него по другому каналу пошла вода... А настоящая вода, сбежав вниз по осыпи, торжественно шла по заранее притопленной для нее канавке и проходила селение, где вдоль нее шумливой цепочкой стояли женщины и прыгали дети. И, словно салютуя старому, большому, помнящему ханских рабов каналу, эта узенькая вода, дойдя до него, горделиво повернула и пошла рядом с ним, обгоняя его одряхлевшие воды. А жители селения бродили повсюду, не зная, что же им теперь предпринять? Марод-Али подошел к толпе, с лукавой усмешкой пригласил зрителей к себе на плов. Но тут жители селенья увидели показавшегося из-за высокой ограды ишана. Он медленно и важно шел, приближаясь к ним и поглаживая белую, почтенную бороду. Люди незаметно разбрелись в разные стороны.

20

В тот день плов остался несъеденным: враги не захотели признать своего поражения, а самим работникам было совсем не до плова от радости.

В следующие дни началась другая работа. Канал был выстроен, но весь пустырь над ишанским садом попрежнему загромождали груды камней. Работники целый месяц таскали камни, очищая площадки для посева, складывая ограды и плетя паутину канавок, по которым должен был рассосаться канал.

Однажды ночью вода вдруг перестала идти, и, когда утром работники оправились доискиваться причины, они нашли один из желобов разбитым вдребезги на дне ущелья. Конечно желоб мог оборваться сам. Они поставили новый, и вода бежала попрежнему. Через несколько дней однако на дне

ущелья оказался еще один расщепленный желоб. Они опять заменили его другим, но более запасных желобов у них не было, и они решили, что больше ни один желоб не должен упасть. Проверили весь канал и, убедившись, что все крепленья в порядке, условились поочередно ночевать среди скал, над ущельем, но так, чтоб об этом никто не знал. И на четвертую ночь Наубогор, дежуривший со старым самопалом, услышал легкий треск падающих камней. Наубогор знал рассказы о душе первой жены Марод-Али, но больше верил в другое. Он прокрался по тому направлению, откуда, как казалось ему, падали камни. В свете звезд он заметил гень человека. Тогда он поставил самопал на ножки и уже чиркнул огнивом о кремень, но человек побежал. Наубогор схватил самопал и пустился в преследование. Человек убежал очень ловко, то совсем пропадая, то опять выдавая себя негромким похрустыванием камней. Тогда Наубогор переменял тактику и, громко шумя, пошел обратно. И, когда убедился, что человек перестал его опасаться, повидимому, решив, что погоня за ним прекращена, Наубогор вовсе бесшумно поспешил за ним. Человек теперь брел спокойно. Он уходил все дальше от селенья в горы, и Наубогор не мог себе объяснить, что нужно этому человеку в бесплодных, пустынных горах. Ущелье осталось далеко внизу, а вокруг разрослись скалистые вершины хребта. Человек уходил все дальше, и Наубогор решил преследовать его до конца. Наубогор считался превосходным охотником, и никогда ни один козел не уходил от него. Ночной мрак поредел, и Наубогор встретил рассвет над маленькой долиной, усеянной громадными глыбами камня. Выход из долины запирала серая отвесная стена. Человек прошел долину и исчез за огромным камнем, под самой стеной. Сообразив, что дальше добыча от него никуда не уйдет, Наубогор неторопливо спустился в долину. Но здесь он удивился необычайно. Он даже остановился, озираясь вокруг. Долина была засеяна. О, Наубогор не мог ошибиться, он очень хорошо знал, что это такое!

Это был посев мака. Это была плантация опиума. Это был тот единственный вид посева, который строжайше запрещался законами советской страны. Никто в Шугнани и думать бы не решился посеять мак, потому что такое преступление каралось очень сурово. Но Наубогор отложил до времени размышления и побежал к камню, держа в левой руке самопал, а в правой — хороший афганский нож. За камнем оказалась грубо сложенная хибарка. Застигнутый здесь Наубогором человек вскрикнул, забился в нее, но не решился сопротивляться. Наубогор совсем не собирался сдерживать бешенства, но все-таки сдержал его, узнав в жалком существе в углу старике отца Шамо, Бакар-Шо. Схватив его за плечи, Наубогор долго и яростно тряс его за жидкую бороду, а тот стонал, вопил и вертелся у его ног.

21

К вечеру Наубогор довел измученного старика до ущелья. Здесь встретил их Марод-Али и обеспокоенные работники, проискавшие Наубогора весь день. Здесь же они обсудили все, и Марод-Али, очень разумно решив сохранить все происшествие в тайне, предложил сейчас же отправить старика в Хорог и сдать областной милиции. Ночью, когда все селенье заснуло, старика вывели из ущелья, посадили на осла и отправились в путь. Через три часа Марод-Али, его брат Лютфалли и Наубогор сдали старика удивленному начальнику хорогской милиции, которого не постеснялись даже для такого случая разбудить. Долгие объяснения и составление протокола растянулись на всю половину ночи.

22

Если бы председатель сельсовета вовремя узнал это, он наверное отменил бы собрание поселян, назначенное им на тот самый день. Но он ничего не знал и начал пространную речь об инструкциях, полученных из исполкома, о том, что в селении надо выявить кулаков и что, учтя все признаки состоя-

ния, он обнаружил только одно байское хозяйство.

— Чье? — заволновалось собрание.

— А? Вы как скажете, чье? Я так скажу: Сафо и Марод-Али...

И к общему удовлетворению председатель сельсовета перечислил следующие признаки байства Марод-Али:

— Первое — у отца мельница есть. Второе — денег много: в Афганистане лес себе покупал, триста рублей золотой монетой платил? Да. Теперь новый дом себе строит на самой горе? Да. Всю семью — двадцать два человека — туда поместит? Да. Всю воду хочет себе взять? Да. Еще — в бога верит. Еще — политические разговоры ведет, против сельсовета, словом, идет. Еще — всякие жалобы придумывать любит. Все население наше считает его волком. Да. Еще — женщин обижает. Одна жена умерла, другую прогнал. Много еще плохого он сделал. Вот бай. Конечно бай, сволочь он!

Собрание слушало молча. Собрание постановило одобрить такое решение. В числе собравшихся присутствовал даже ишан, и, впервые вспомнив, что он не имеет голоса, он сказал:

— Советские дела — ваши дела. Мое дело — возносить смиренные моления богу. Бог видит все и вам помогает решать, а мне помогает хранить молчание...

23

Мой рассказ окончен. Но я должен добавить, что четыре года спустя я познакомился в Хороге с Марод-Али. Я узнал все, что уже знает читатель. Я ездил вместе с Марод-Али в его селение и два дня провел в нем, лазая по ущелью и осматривая канал. И в местном сельсовете я лишней раз услышал рассказ о том председателе сельсо-

вета, который был снят с работы и выслан четыре года назад за контрбандный посев опиума в пустынных горах и за многое другое.

И в Хороге я снял копию того документа, которым сейчас справедливо гордится инструктор столярной мастерской Кустпромсоюза Марод-Али. Вот она:

«Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

Почетная грамота.

Дорогой товарищ

Марод-Али Сафаев!

Областной исполнительный комитет Автономной Горно-Бадахшанской области в день одиннадцатой годовщины великого Октября, вспоминая ваши заслуги в деле насаждения и укрепления советской власти в Горном Бадахшане, решил отметить вашу стойкость в борьбе за великое дело освобождения пролетариата и угнетенных народов Востока.

Преподнося эту грамоту, мы выражаем уверенность в том, что в повседневной работе, укрепляющей хозяйственную мощь Союза, и в тех трудностях, неизбежных на пути победного шествия к социализму, вы так же стойко будете работать и бороться, как в прежние годы героической борьбы за Октябрь.

По поручению президиума оик:

Председатель оик (подпись).

Ответ. секретарь (подпись).

7 ноября 1928 года».

Эта почетная грамота, написанная в два столбца, на двух языках — таджикском и русском, — хранилась в маленьком шкафчике у третьей жены Марод-Али, которая обучена ликбезом обыкновенной, простейшей грамоте и хорошо умеет ценить почет.

Март, 1933 г

Наука и жизнь

1. Г. Гамов — О происхождении элементов. 2. В. Е. Львов — Загадка космических лучей

1. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ

Г. Гамов

Посвящается акад. А. Е. Ферсману.

Современная наука строит окружающую нас материю из девятости двух различных химических элементов, начиная от наиболее легкого элемента водорода и кончая тяжелым неустойчивым элементом ураном. Эти элементы входят в состав веществ, образующих нашу земную кору, в состав метеоритов, падающих на землю из глубин мирового пространства, они же согласно данным спектроскопических исследований образуют вещество солнца и неподвижных звезд.

Различные элементы встречаются в природе в весьма различных количествах: так например кислород, кремний и железо составляют вместе большую часть земной коры, тогда как многие другие элементы являются большой редкостью.

Чрезвычайно интересно заметить, что относительная встречаемость различных элементов на земле не является чем-то специфическим для нашей планеты, а носит характер мирового закона. В самом деле между кривыми встречаемости различных элементов в земной коре, в метеоритах и в веществе солнца и звезд может быть замечена глубокая аналогия. Конечно специфические местные условия накладывают некоторые особенности на относительные количества элементов в различных частях

космоса, но общий ход кривых остается при этом в общих чертах тем же. За счет таких специфических условий должно быть например отнесено весьма малое количество на земле так называемых благородных газов, не могущих образовывать химических соединений и поэтому улетучившихся в ранние геологические эпохи из земной атмосферы в мировое пространство. Сюда же относится объяснение того факта, что вещество метеоритов более богато элементами, обладающими большим удельным весом и, повидимому, происшедшими из более глубоких слоев расколовшихся мировых тел: нужно думать, что если бы нам удалось добыть кусочек вещества из середины земного шара, то количественный химический анализ дал бы кривую, более близкую к кривой метеоритов, нежели анализ земной коры.

Отвлекаясь от этих специфических местных отклонений, мы приходим к заключению, что встречаемость различных элементов во всем доступном нашему исследованию мире примерно постоянна. Современная физика говорит нам, что почти каждый химический элемент представляет собой по существу смесь нескольких так называемых изотопов, совершенно идентичных по химическим свойствам, но имеющих различный атомный вес; так например

хлор состоит из двух изотопов с весами 35 и 37, в процентном отношении 59 проц. и 41 проц., а олово представляет собой смесь из одиннадцати различных изотопов. Некоторые изотопы встречаются в весьма малых количествах; так недавно открытые изотопы азота и кислорода (с атомными весами 15 и 18) представляют лишь незначительную примесь, около 0,1 проц., к основному элементу. Поскольку атомный вес данного элемента, определенный химическим способом, представляет собой некоторую среднюю величину, то он должен очевидно зависеть от относительного количества различных изотопов в данном элементе. Постоянство химического атомного веса различных элементов, полученных из самых разнообразных мест, говорит нам, таким образом, о чрезвычайном постоянстве относительного количества изотопов данного химического элемента. Таким образом, не только относительные количества различных элементов, но и относительные количества составляющих их изотопов являются вполне универсальными величинами.

Чем же обусловлен тот факт, что одних сортов атомов во вселенной чрезвычайно много, а другие составляют лишь редкое исключение?

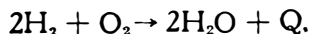
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что атомы различных элементов и их изотопов вовсе не представляют собой вечных и неделимых частиц, как следовало бы из русского перевода их названия, а могут, наоборот, распадаться и преобразовываться в атомы других элементов. Впервые этот факт был доказан в 1896 году открытием так называемого явления радиоактивности, то-есть свойства атомов некоторых тяжелых элементов самопроизвольно распадаться, преобразуясь в атомы элементов более легких. Оказывается, что элементы, помещающиеся в конце периодической системы Менделеева, неустойчивы и каждый их атом в течение более или менее долгого периода времени должен обязательно распасться, выкинув с громадной скоростью из своей структуры так называемую

α -частицу, или электрон. Периоды жизни различных радиоактивных веществ варьируют весьма широко — от ничтожной доли секунды до нескольких тысяч миллионов лет. Радиоактивный распад идет, таким образом, давая начало все более и более легким, распадающимся в свою очередь атомам, пока не останавливается, дойдя до свинца, атомы которого являются уже вполне устойчивыми. В 1919 году Резерфордом было показано, что подобные же превращения могут быть искусственно вызваны и у атомов легких и обычно устойчивых элементов под влиянием интенсивных внешних воздействий, каковыми являются например мощные столкновения между последними. Бомбардируя атомы различных легких элементов быстро несущимися частицами, испускаемыми радиоактивными веществами (α -частицами), Резерфорд наблюдал их расщепление и выкидывание под влиянием удара составных частей. Пострадавший атом превращался при этом в атом другого элемента. Чем же объясняются химические свойства атома, заставляющие поместить его в той или иной клетке периодической системы Менделеева, и в чем заключается процесс преобразования элементов? Согласно модели Бора всякий атом состоит из ядра, заключающего в себе почти всю массу атома и несущего положительный заряд, и отрицательных электронов, вращающихся вокруг него под влиянием сил кулоновского притяжения. Числом этих электронов (порядковый номер элемента в периодической системе) задается их конфигурация и характер движения, а этим и обуславливаются силы сцепления между атомами и, следовательно, все химические его свойства. Число же электронов в данном атоме задается зарядом ядра; атомы с ядрами, имеющими одинаковые заряды, но разные массы, образуют одинаковыми химическими свойствами и представляют собой изотопы одного и того же химического элемента. Для того, чтобы превратить атом одного химического элемента в другой, нужно преобразовать его ядро; при

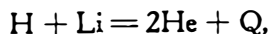
перемене заряда ядра число окружающих его атомных электронов автоматически изменится (сохраняя нейтральность атома), и мы получим атом с другими химическими свойствами, то-есть атом другого элемента.

Ядро атома представляет собой весьма сложную систему частиц, связанных между собой мощными силами притяжения, в миллионы раз превышающими соответствующие силы, удерживающие атомные электроны. Если для извлечения электрона из атома (ионизация атома) достаточно электрического напряжения в несколько десятков вольт, то для извлечения ядерной частицы нужны будут десятки миллионов вольт. Этим-то и объясняется та чрезвычайная устойчивость и неподверженность обычным внешним воздействиям, которая характеризует атомное ядро. И только бомбардируя ядра чрезвычайно богатыми энергией частицами, испускаемыми радиоактивными ядрами же или же получаемыми, как научились делать в последние годы, искусственно в электрических полях в несколько миллионов вольт, мы можем надеяться повлиять на движение внутриядерных частиц и вызвать процесс искусственного преобразования ядра атома. О величине энергии связи различных атомных ядер мы получаем сведения из измерений так называемого дефекта массы. Чрезвычайно точные измерения, произведенные Астоном, показали, что масса атомных ядер не равняется сумме масс отдельных составляющих ядро элементарных частиц, а всегда меньше на некоторую определенную величину. Этот дефект массы относится согласно основным положениям теории относительности за счет энергии, выделившейся при образовании ядра из составных частей, и, будучи умножен на квадрат постоянной скорости света, дает нам непосредственно величину этой энергии связи. Подобно химическим реакциям между молекулами, ядерные преобразования могут идти с выделением или поглощением энергии, и смесь нескольких элементов, будучи предоставлена сама себе, будет стремиться прореагировать так,

чтобы дать наибольшее выделение энергии и привести к наиболее устойчивым продуктам (с наибольшим значением дефекта массы). Так например, подобно тому, как смесь молекул водорода и кислорода будет стремиться к образованию воды по формуле:



где Q — выделяющаяся энергия, так и смесь ядер водорода и лития будет стремиться к образованию ядер гелия:



где выделяющаяся при ядерной реакции энергия Q равна 14 миллионам электрон-вольт на одно ядро.

В виду того однако, что для вызывания ядерных реакций необходимы воздействия, гораздо более мощные, нежели для реакций молекулярных, наблюдать подобную реакцию преобразования лития и водорода в гелий в обычных условиях нечего и надеяться. Известно, что при комнатной температуре реакция в гремучем газе (кислород + водород) идет чрезвычайно медленно и лишь при значительном повышении температуры (поджигание спичкой) соударения молекул делают настолько энергичными, что процесс протекает быстро и значительное выделение энергии производит эффект взрыва. Для того, чтобы пошла ядерная реакция литий — водород, также необходимо повышение температуры, но повышение, значительно более солидное. Подсчет, основанный на предложенной Гамовым теории радиоактивных превращений, показывает, что даже при температуре в миллион градусов реакция эта будет идти так медленно, что за тысячу миллионов лет прореагирует лишь половина вещества. И только при температуре около сорока миллионов градусов реакция будет проходить в течение нескольких часов, давая фантастическое выделение энергии. Если у нас в земных условиях нельзя и надеяться получить такие температуры (печка, нагретая до сорока миллионов градусов, сожгла бы все живое на расстоянии полутора тысяч километ-

ров!), то в природе такие температуры, вообще говоря, существуют, — они имеют место во внутренних областях звезд и в частности нашего солнца.

В этих горнилах вселенной легко идут также реакции между другими легкими элементами, приводя к своего рода статистическому равновесию относительного количества различных легких атомов. Но дело все же ограничивается лишь легкими атомами, — для вызывания ядерных реакций между тяжелыми элементами даже умеренно высокие внутризвездные температуры оказываются недействительными.

Для ядер железа и свинца температуры в десятки миллионов градусов представляются «крещенскими морозами». А между тем является несомненным фактом, что и в настоящее время внутри звезд производится генерация тяжелых элементов. Это доказывается наличием на земле радиоактивных элементов. Астрономические данные о возрасте нашего солнца показывают, что если бы родоначальник радиоактивного семейства — элемент уран — не генерировался постоянно в недрах солнца, то к моменту, когда от солнца оторвался бы раскаленный кусок материи, образовавший наш земной шар, урана на солнце уже не могло бы быть. Если бы даже все солнце сначала состояло из урана, то за невероятно долгий период времени, протекший между образованием солнца и рождением земли, все атомы урана полностью бы распались. Значит, внутри солнца все время происходят процессы, непрерывно поставляющие новые и новые порции различных тяжелых, в том числе и радиоактивных, элементов.

Для того, чтобы составить представление о характере этих процессов, нам нужно обратиться к современным теориям строения звезд. Как будет себя вести шарообразная масса вещества, брошенная в мировое пространство и подверженная лишь силам взаимного тяготения? Под влиянием тяжести внешних слоев такая масса начнет сжиматься, при чем выделяющаяся при сжатии теплота подымет температуру внутренних областей до весьма высоких

значений. Под действием этих громадных температур и давлений, царящих внутри нашей звезды, атомы составляющего ее вещества начинают постепенно терять свои электроны — в результате частых и мощных столкновений друг с другом. Наконец ядра полностью оголятся, так как ни один электрон не будет в силах удержаться на своей орбите, и мы получим смесь из отдельных ядер и большого числа свободных электронов. В этих условиях характер дальнейшего процесса сжатия будет всецело определяться этими электронами. В самом деле, ведь порционное давление газовой смеси определяется относительным количеством различных частиц, а в нашем случае свободных электронов будет во много раз больше, так как из каждого атома получается при полной ионизации одно ядро и много электронов.

Исследование процесса дальнейшего сжатия звезды произведено Ландау. Оно приводит к следующим результатам. Пока плотность внутри звезды еще не очень велика, давление электронного газа растет согласно закону Бойля-Мариотта пропорционально его плотности. При больших плотностях начинают сказываться закономерности теории квантов и сжатие становится более затруднительным (давление растет быстрее, нежели плотность). Если мы пойдем еще дальше, то наконец дойдем до критической плотности, при которой скорости отдельных частиц электронного газа начнут приближаться к скорости света. Здесь возрастание давления опять замедлится и будет уже так итти до каких угодно больших плотностей. Когда же остановится процесс сжатия нашей звезды? Очевидно тогда, когда сила внутреннего давления сжатого электронного газа уравнивает давление внешних слоев звезды. И вот тут-то и оказывается, что такое уравнивание может произойти лишь в средней части описанной выше кривой увеличения давления. Если масса звезды превосходит некоторый предел и под влиянием громадного веса внешних слоев звезды электронный газ во внутренних областях сожмется до

критической плотности, то дальнейшему его сжатию не будет поставлено никаких пределов. И такая звезда должна была бы, теоретически говоря, сжаться в точку, если бы этому не был положен предел наличием атомных ядер. Приблизившись друг к другу на расстояние ядерного радиуса (одна миллион миллионная доля сантиметра), ядра различных элементов слипнутся в одно целое, образуя одно громадное ядро, или, вернее говоря, тело, состоящее из вещества, находящегося в особом ядерном состоянии. Процесс образования такого звездного ядра аналогичен выпадению капли жидкости при сжатии насыщенных паров воды, и подобно тому, как капля воды может существовать, не испаряясь, лишь в атмосфере насыщенной парами воды, так и звездное ядро может существовать лишь при условии непомерно высоких давлений, господствующих внутри звезды. Отметим, что плотность такого ядра относительно воды будет выражаться единицей с двенадцатью нулями и один кубический сантиметр его будет весить миллион тонн!

Мы видели, что звездное ядро может и должно образоваться лишь в небесных телах с массой, превышающей некоторую предельную. Подсчет показывает, что эта предельная масса равна примерно половине массы солнца, а так как наше солнце — одна из самых легких звезд, то мы должны заключить, что такие ядра существуют во всех звездах и в частности в нашем солнце.

Мало того, тот давно известный в астрономии факт, что масса звезд никогда не бывает меньше некоторого предела, указывает на то, что звездное ядро является необходимым условием

существования звезды — его источником энергии. Космические тела с массой, меньшей этого предела, будут обречены на быстрое охлаждение. Звездное ядро представляет собой конечно лишь небольшую часть звезды и окружено толстой оболочкой, находящейся в обычном, газообразном, состоянии. Лишь в некоторых случаях эта оболочка, повидимому, сравнительно тонка, что и сказывается на повышении средней плотности звезды; это вероятно имеет место для спутника Сириуса, плотность которого, на основании последних измерений, достигает десяти тысяч относительно воды. Это-то звездное ядро, отличающееся от ядер атомов радиоактивных элементов по существу лишь размерами (порядка нескольких километров), и является постоянным производителем различных тяжелых атомов. Отрывающиеся от его поверхности небольшие кусочки ядерного вещества распадаются, попадая в газообразную оболочку звезды, на миллиарды отдельных атомных ядер — радиоактивных и устойчивых. Постоянное динамическое равновесие между ядром и окружающим его остальным веществом звезды поддерживает пропорцию различных элементов, при чем относительное количество тех или других атомов обуславливается устойчивостью их ядер в условиях, господствующих во внутренних областях.

Задача будущего: подробно оценив относительные устойчивости различных ядер и физические условия, имеющие место в центре их образования, сделать теоретические заключения относительно встречаемости различных элементов и их изотопов во вселенной. Пока в этом направлении могут быть сделаны лишь первые робкие шаги.

2. ЗАГАДКА КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

(К полету советских физиков в стратосферу)

В. Е. ЛЬВОВ

Начало 1933 года ознаменовалось в материалистической физике — науке, штурмующей глубокую подпочву вещества, — новыми событиями, оттесняющими на второй план даже те крупнейшей важности факты (открытие нейтрона и проч.)¹⁾, которыми был отмечен в этой области 1932 год.

Усилиями целого ряда исследователей и, среди них на одном из первых мест, работами молодой советской физики удалось в основном распутать тяжелый клубок противоречий, скопившихся вокруг вопроса о так называемых «космических лучах». Над их упорной загадкой физика бьется в течение вот уже 30 с лишним лет.

Происходивший 30 сентября сего года подъем советского стратостата «СССР» в стратосферу (в верхние слои атмосферы) должен внести еще один решающей важности вклад в эти события. К полету советских ученых привлечено сейчас внимание всего мира. Каждый читающий газеты знает, что этот полет связан в какой-то степени с исследованием космических лучей. Выяснить суть этой связи, изложить историю и новейший поворот величайшей проблемы, несущей новую революцию в современное учение о строении вещества, — этим вопросам и посвящена предлагаемая статья.

I

Еще в конце XIX столетия внимание физиков-экспериментаторов было привлечено к тому хорошо известному факту, что всякий заряженный электроскоп²⁾, как бы ни была совершенна его

¹⁾ Об этих последних событиях см. подробно в нашей статье: «В недрах атомного ядра». «Новый мир», книга 5-я. 1933 г.

²⁾ Электроскоп, в простейшей своей основе, состоит из двух подвижных полосок, находящихся рядом на изолированной от земли подставке. При сообщении им электрического

изоляция, довольно быстро разряжается сам собой. Чем объяснить это на первый взгляд вполне обыденное наблюдение? Так как заряд не может уйти с листочков через надежно изолированную подставку, то единственный путь для него остается: через воздух — в землю. Но каким образом, спрашивается, может это случиться, как может электрический ток просочиться (хотя бы и очень медленно, и слабо) сквозь воздух?

Что нужно для того, чтобы по какому-нибудь предмету вообще мог идти ток? Для этого надо во всяком случае, чтобы внутри предмета было в наличии «то, что течет». Текут же в процессе электрического тока, то-есть несутся лавиной в одном направлении, мельчайшие заряженные частицы. Откуда они берутся? Внутри металлов например всегда блуждают в беспорядке — в пустотах между атомами — свободные электроны¹⁾.

Стоит приложить к концу металлического провода то, что называется напряжением, стоит, другими словами, «подуть» как бы «ветром» на беспорядочно снующую толпу свободных электронов, чтобы погнать весь этот рой в одном направлении вдоль по проводу («ток»). Так ветер гонит по улице пыль.

Несколько иначе обстоит дело внутри соляных растворов. Там нет — в пустотах между частицами (молекулами) — никакого беспорядочного электронного роя, но зато часть самих молекул растворенной соли расколота — ударами налетающих на них ча-

заряда, например при прикосновении натертым сургучом, полоски электризуются одноименно и отталкиваются, вследствие этого расходясь в разные стороны.

¹⁾ Электронами называются мельчайшие материальные частицы (в 1.840 раз более легкие, чем самый легкий водородный атом), входящие в состав атомов и молекул либо же, как сказано, блуждающие в свободном состоянии в межмолекулярных пустотах металлов.

стиц жидкости — на заряженные электричеством куски. Дело в том, что каждая молекула состоит из положительно заряженных атомных ядер и из несущих отрицательный заряд электронов. Пока все они сцеплены вместе, их заряды погашают друг друга, и молекула в целом остается нейтральной. Достаточно же отбить от молекулы хотя бы один электрон, чтобы сразу образовалось два заряженных куска: во-первых, сам отбитый электрон и, во-вторых, положительный зарядившийся (после откола электрона) остаток молекулы. Куски, получившиеся после дробления молекулы на части, называются ионами. Сам же процесс раздробления — ионизацией.

Присутствие внутри соляных растворов свободных ионов опять-таки объясняет нам, почему сквозь эти растворы может течь электрический ток.

Но как быть в таком случае с воздухом, представляющим смесь нескольких газов, заведомо построенных (в нормальных условиях) из нейтральных молекул. Некоторое количество ионов (то-есть осколков молекул) может впрочем самопроизвольно образоваться и здесь, в результате отдельных способов сильных столкновений между газовыми молекулами. Соответствующий подсчет показывает однако, что получившееся таким путем число воздушных ионов должно быть крайне ничтожно. Для того, чтобы обеспечить тот дефект разряда электроскопов, который наблюдается фактически, необходимо присутствие ионов в воздухе, в количестве, превосходящем в тысячи и десятки тысяч раз все расчеты теории.

Откуда же эти ионы взялись?

Ответ на этот вопрос на первых порах казался не представляющим никаких затруднений. Только-что (в 1902 г.) был открыт радий, еще несколько раньше — радиоактивность тория и урана. Атомы всех этих трех веществ напоминают собою слишком туго завязанные мешки, из которых высыпается наружу содержимое. Вырываются с огромной скоростью, во-первых, электроны (участвующие тут под названием «бета-частиц»). Затем частицы

«альфа» (они же атомные ядра гелия). Наконец частицы («кванты» света¹⁾, еще в сто раз более коротковолнового, чем рентген, и получившего название «гамма-лучей»²⁾.

Ударяясь о встречные воздушные молекулы и разнося их вдребезги, частицы эти и среди них в особенности мчащиеся с гигантской скоростью света массивные гамма-кванты не должны ли создавать добавочную ионизацию воздуха? Подобная ионизация в действительности всегда и наблюдается вблизи пробирок с радиоактивными солями.

Радиоактивные вещества рассеяны повсеместно в земной коре. Таким образом, наличие постоянного эффекта повышенной проводимости атмосферного воздуха, повидимому, могло найти себе объяснение в ионизации в первую очередь гамма-лучами, излучаемыми с поверхности земли.

Поразительное открытие, начавшее собою цепь загадок, растянувшуюся почти на треть столетия, опрокинуло это объяснение!

В 1902 — 1903 гг. впервые рядом исследователей и среди них Мак-Леннаном и Резерфордом были сделаны попытки отгородить электроскопы от земной поверхности экранами, не пропускаемыми ни для каких известных лучей. В некоторых из этих опытов регистрирующие приборы помещались например в свинцовый ящик с толщиной стенок свыше 10 сантиметров. Самые проникающие из гамма-лучей це-

¹⁾ То, что мы привыкли называть «светом» (видимым или невидимым, включая сюда например рентгеновы, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи), представляет собою комбинацию особого рода волн с быстро летящими (со скоростью 300 тысяч километров в секунду) частицами, называемыми «световыми квантами», или «фотонами». Чем короче длина световой волны, тем больше масса (и тем сильнее удар) соответствующего кванта. Из разных видов света глубже всего пронизывают нассквозь материю (или — как принято говорить — «жестче» всего), следовательно, те, чья длина волны короче.

²⁾ Аналогичное явление, но в более слабой степени создается квантами рентгеновых, а также ультрафиолетовых лучей.

ликом поглощаются слоем свинца в 7 сантиметров толщиной. Гамма-лучи, испускаемые земной корой, тем самым полностью отрезались здесь от электроскопа. Возможность присутствия радиоактивных примесей в самом материале стенок ящика также тщательно исследовалась и устранялась с большой точностью. Никакие лучи не проникали внутрь ящика. Но электроскопы, находившиеся там, внутри, продолжали разряжаться, хотя и в меньшем, чем на открытом воздухе, но в непонятно быстром темпе. К ионизационному эффекту, производимому радиоактивными лучами земной коры (и отчасти ультрафиолетовыми солнечными лучами) явственно примешивался эффект, производимый агентом неизвестного происхождения. На его долю — как следовало из многочисленных наблюдений — приходится в среднем около 1,5 пар ионов, образующихся в каждом кубическом сантиметре воздуха (на уровне моря) в одну секунду.

Откуда же он исходит?

В 1910 — 1911 гг. швейцарский физик Гоккель в Цюрихе и, вслед за ним, В. Гесс в Вене поднимаются на воздушном шаре, беря с собой чувствительный электроскоп и измеряя ионизацию воздуха через каждые сто метров. Почти накануне войны В. Кольхерстер в Германии осуществляет подобное же предприятие, доведя подъем аэростата до высоты 9,4 километра, где, полусадокшийся, он продолжает наблюдения, пока не иссякает последний кубический сантиметр кислорода, взятого для дыхания.

Бельгиец О. Пиккар, в двукратных рейдах аэростата с герметически закрывающейся кабиной, летом 1930 и 1932 гг. поднимается вместе с электроскопами на высоту 15,6 и 16,2 километра над уровнем моря, однако эти последние полеты с пассажирами не прибавляют ничего существенно нового. Еще за 7 лет до экспедиции Пиккара, в 1925 году, Милликэн в Америке запускает на высоту 15 километров шарзонд, снабженный устройством, автоматически регистрирующим показания

электрометра и автоматически же раскрывающим парашют для спуска.

1 декабря 1932 года д-р Э. Регенер на пладу Высшей технической школы в Штутгарте выпускает аналогичный баллон, поднявший приборы до рекордной высоты 26,2 километра и опустивший их затем в полной сохранности в районе Швабских Альп.

Результаты всех этих вылазок говорят об одном. Постепенно уменьшаясь, вплоть до высоты около 2.000 метров, число пар ионов в воздухе выше этого уровня начинает бурно расти. На высоте 6 километров добавочная ионизация уже в 13 раз больше, чем на поверхности земли, на уровне 10 километров — в 90 раз, на 20-километровой высоте — в 200 раз и т. д.

Картина была ясна. До высоты в 2 километра над уровнем моря еще играет первенствующую роль, постепенно затухая, ионизирующее действие земных радиоактивных лучей. Выше указанной границы уже почти не доносится гамма-бомбардировка, исходящая снизу, от атомных ядер земной коры. Выше этой границы, нарастая и усиливаясь с каждым километром, вступает в свои права другая загадочная бомбардировка, исходящая сверху, «с неба», из мирового пространства, но во всяком случае не от солнца, так как высота последнего над горизонтом (время суток) не оказывает никакого ощутимого влияния на разряд электроскопов.

Это необыкновенное открытие, с ясностью обрисовавшееся уже в дни ранних аэростатных полетов 1911 — 12 гг., впервые с полной четкостью и определенностью формулируется В. Гессом в Вене, и с этого именно момента проблема «космических лучей» и начинает свою увлекательную историю.

В качестве центрального пункта открытия следовало квалифицировать прежде всего не столько внезапное происхождение пронизывающего атмосферу неизвестного объекта (на землю падает из мирового пространства многообразный «дождь» частиц: кванты света от звезд и туманностей, электроны, извергаемые солнечными пятнами, и т. д.,

и т. п.), сколько его ни с чем несравнимую проникающую силу.

Напомним, что видимые лучи солнечного света задерживаются уже экраном из черной бумаги в миллиметр толщиной. Более коротковолновая и невидимая глазом ультрафиолетовая радиация, полученная от самого мощного искусственного источника, целиком поглощается в 200-сантиметровом слое воздуха. Для полного поглощения самых жестких рентгеновых лучей, а также радиоактивных электронов («бета-лучей»), несущихся с колоссальной скоростью, достигающей 99,5 проц. скорости света, достаточна свинцовая ширма в 1 сантиметр толщиной. Наконец, наиболее проникающий вид света, гамма-лучи, как указывалось уже, полностью поглощаются в слое свинца 7 — 10 сантиметров.

От обнаруженной Гессом и Кольхерстером «сверхпроникающей радиации», низвергающейся на земную поверхность из неизвестных областей вселенной, укрыться не так легко. Упомянутый уже д-р Регенер (Германия) погружал электроскопы в Боденское озеро, до 230 метров глубины, — неизвестные лучи проникали и туда. Р. А. Милликэн и Ч. Л. Камерон (Америка) закапывали регистрирующие приборы в ледяных расщелинах Анд и Кордильер, — радиация шла за ними. Неумолимый А. Б. Вериго (СССР, Ленинград) взбирался с электроскопами на Эльбрус, опускался с ними ко дну Финского залива в подводной лодке, скрывался в броневой башне линкора, замуровывал электроскопы в канале самого тяжелого судового орудия, — «космические лучи» достигали его по пятам. Лишь в угольной шахте, на глубине 406 метров под поверхностью земли, Ботэ и Кольхерстер в 1929 г. могли признать себя достаточно защищенными: чувствительный электрометр (соответственно экранированный от действия гамма-лучей) не обнаружил здесь следов загадочной радиации.

Тщательным исследованиям хода поглощения неизвестных лучей в трех главных средах — воздухе, во-

де и свинце — и было в основном посвящено пятилетие 1923 — 1928 гг. в истории проблемы.

Каждому из сильно проникающих агентов, известных в физике, — будь то коротковолновые лучи света или потоки электронов и протонов¹⁾ большой скорости, — каждому из этих потоков присущи свои особенности поглощения при прохождении сквозь тела. Таким образом, подробный анализ кривой рассеяния и поглощения загадочной радиации в разных средах обещал помочь выяснению состава новых лучей, их природы, а может быть, и механизма их возникновения в мировом пространстве.

На ряду с работами двух основных исследовательских групп: Р. А. Милликэна и Ч. Л. Камерона в Пасаде (Калифорния, САСШ) и Кольхерстера — Регенера в Германии (а также России в Италии), решающую роль на этом этапе сыграл один из отрядов советской физики — возглавляемая Л. В. Мысовским исследовательская бригада (Л. В. Тудим, А. Б. Вериго и др.) Радиевого института в Ленинграде, бригада, начавшая свою работу в парке «Сосновка» в 1925 году, перенесшая ее затем на Онежское озеро (за месяц до первой экспедиции Милликэна на озеро Муир), а также на Эльбрус и Финский залив (А. Б. Вериго), как упоминалось выше.

Итог всем этим исследованиям может быть кратко подведен в следующем, достаточно неясном и неопределенном виде.

Неизвестное «нечто», низвергающееся на землю из мирового пространства, излучаясь равномерно по всем направлениям (то-есть под любым углом к горизонту), падает на земную поверх-

¹⁾ Протонами называется вторая (после электронов) составная часть атомов. Если электроны образуют внешнюю оболочку атомов, то протоны, соединяясь по несколько штук вместе, формируют атомное ядро. В отличие от электронов протоны заряжены положительно. Протон в 1.840 раз тяжелее электрона.

ность не однородным потоком, а сразу несколькими — по меньшей мере четырьмя — струями различной проникающей силы.

Слабейшая из них, на 99 проц. задерживаясь уже в атмосфере, окончательно поглощается слоем воды 6-метровой толщины. Вторая и третья, более «жесткие», струи, потеряв лишь около 25 проц. своей энергии в воздухе, пронизывают воду озер, целиком застревая на глубине 30 и 100 метров. Четвертая и самая проникающая часть излучения, открытая на Боденском озере доктором Эрихом Регенером в 1929 году, проходя почти без ощутительного поглощения сквозь атмосферный воздух, оказывается еще заметной на глубине 236 метров.

236 метров глубины под водой и 26,2 километра высоты над землей, — таковы, следовательно, крайние пределы прохождения космических лучей, прослеженные на опыте. На высоте 26 километров они проявляют себя в 100.000 раз сильнее, чем на 230-метровой глубине.

Ход поглощения космических лучей в наименее прозрачной среде — свинце — был впервые исследован Л. В. Мысовским и его сотрудниками в Ленинграде. Оказалось, что самая жестокая из струй неизвестного «нечто» может быть окончательно задержана лишь свинцовой плитой, толщиной в 20 — 25 метров. Для наглядного представления этой чудовищной цифры следует еще раз припомнить, что, наиболее жесткие из всех известных лучей, гамма-кванты радия, задерживаются 10-сантиметровым слоем свинца, а рентгеновы лучи целиком поглощаются 1-сантиметровым свинцовым экраном.

Важным открытием Л. В. Мысовского и его товарищей явилась также находка колебаний интенсивности космических лучей в зависимости от атмосферного давления, — это можно было предсказать заранее. Чем сильнее атмосферное давление, то-есть чем плотнее столб воздуха в данном районе наблюдения, тем больше радиации должно поглотиться по пути к земной поверхности. Колебания эти практически доста-

точно малы (0,7 проц. на каждый миллиметр изменения давления), и их открытие представляет собою триумф точности и тонкости эксперимента, достигнутой в труднейшей области космических лучей советской физикой.

Какие же предварительные гипотезы об их природе можно было наметить в итоге этой фазы исследования?

Неоднородность потока загадочной радиации (то-есть тот факт, что поток этот состоит из нескольких струй разной проникающей силы) можно было прежде всего пытаться объяснить тем предположением, что «космические лучи» являются новым видом света.

Действительно, как мы уже говорили, свет разной длины волны обладает разной (большей или меньшей) способностью проходить сквозь материю. Четыре, обладающие различной степенью поглощения, «струи» в космическом потоке казались тогда возможным истолковать как четыре световых «луча», или, еще иначе говоря, как четыре «линии» в спектре¹⁾ разной длины волны.

Являясь с этой точки зрения не чем иным, как световыми квантами определенной массы, распространяющимися в единстве с волнами соответственной длины, космическая радиация должна была бы в этом случае далеко расширить известный спектр лучистой энергии в коротковолновую его сторону.

Чем короче световая волна (и чем массивнее связанные с нею кванты), тем, как мы знаем, больше их «пробивная» сила. Применение формул теоретической физики, дающих точную ко-

¹⁾ Всякая смесь световых лучей различной длины волны, будучи разложена на свои составные части, образует то, что называется «спектром». Простейшим прибором для разложения белого видимого света является, как известно, призма. Входя в призму в виде белой «смеси», солнечный свет выходит из нее раздробленным на несколько разно окрашенных полос и линий, называемых «спектральными» полосами и линиями. Аналогичная операция может быть осуществлена и для многих невидимых сортов света (спектр запечатлевается в этом случае в виде черных линий в полос на фотопластинке. Чем больше разнится длина волны, тем дальше друг от друга располагаются линии).

личественную связь между степенью поглощения световых квантов и длиной их волны, позволило бы автоматически подсчитать эту длину и для «космических лучей» (в том предположении, что это — лучи света).

И раз их «пробивная сила» чудовищно велика, то столь же коротки должны быть здесь соответственные волны.

Результат вычисления показал, что эти длины заключены в пределах от 4,5 до 0,1 триллионных сантиметра, что образует спектр, еще в тысячу с лишним раз более коротковолновый по сравнению с гамма-лучами.

Этот чисто формальный подсчет, нимало не претендовавший по своей сути на доказательство световой природы новой радиации, был произведен впервые Р. А. Милликэном и его постоянным сотрудником Ч. Л. Камероном в Америке и сразу же был положен в основу чрезвычайно широковетельных и эффектных спекуляций, много нашумевших в 1928 — 1929 гг., в настоящий же момент находящихся уже в архиве физики.

Простой подсчет энергии, несомой световыми квантами, пронизывающими 70-метровый слой воды (существование еще более жесткой, проникающей до 230 метров глубины радиации не было известно Милликэну в 1928 году), неожиданно показал, что получаемые таким путем числа находятся в достаточно близком совпадении с той энергией, которая выделяется в процессе сцепления известных уже нам частиц — протонов — в более сложные атомные ядра.

Напомним, что при переходе от элемента к элементу в периодической системе Менделеева, то-есть при прибавлении к атомным ядрам одного или нескольких штук протонов¹⁾, масса атомных ядер (иначе говоря, атомный вес элементов) увеличивается на вели-

чину, не в точности равную сумме масс прибавленных протонов, но всегда на несколько меньшее число. Обнаруживающаяся здесь «пропажа» массы обязана выделению соответственного количества энергии по ходу реакции сцепления протонов в новое ядро¹⁾. Естественнее всего считать, что энергия эта излучается в пространство в виде световых квантов.

В частности соединение четырех штук протонов²⁾ в атомное ядро второго элемента системы — гелия — должно было бы сопровождаться испусканием света с длиной волны в 5,3 триллионных см. Сцепление четырех штук гелиевых ядер в атомное ядро кислорода сопутствовалось бы излучением светового кванта, соответствующего длине волны 4,1. Наконец образование атомных ядер кремния (из 28 протонов) и железа (из 56 протонов) должно было бы привести к излучению волн с длиной 3,7 и $3,5 \cdot 10^{-12}$ см.

Все эти числа заключаются как-раз в диапазоне длин волн, чисто формально приписанных Милликэном и Камероном неизвестной радиации. Больше того, числа эти могли быть более или менее удовлетворительно подогаданы к тем трем основным «струям», на которые разбивается общий поток космических лучей в тех его пределах, которые были прослежены Милликэном ко времени создания излагаемой гипотезы.

Первая из этих струй, трактующаяся как свеговой луч соответственной длины волны, могла быть коротко названа в таком случае «гелиевым» лучом (то-есть лучом, испущенным по ходу образования атомного ядра гелия), второй луч — лучом «кислородным»; что же касается до третьей, наиболее жесткой из известных Милликэну струй, то в виду размытости и неясности ее краев намечалась возможность вместить в нее оба последних: «кремниевый» и «железный» лучи.

Гелий, кремний, кислород и железо являются вместе с водородом наиболее

¹⁾ А также, как выяснилось в 1932 году, еще и других простых частиц, входящих в состав ядер, нейтронов, чья масса почти равна массе протона, электрический же заряд равен нулю. См. нашу статью «В недрах атомного ядра». «Новый мир», книга 5-я, 1933 г.

¹⁾ См. нашу статью «В недрах атомного ядра». «Новый мир», книга 5-я, 1933 г.

²⁾ По современным представлениям: 2 протонов и 2 нейтронов. См. там же.

распространенными элементами мировой материи. На долю кислорода приходится в общей сложности около 55 проц., на долю кремния—26 проц., железа—7 проц. и водорода—11 проц. всей массы метеоритов, звезд и туманностей. С другой однако стороны, местом рождения атомов выше перечисленных веществ не могут быть, повидимому, ни звезды-солнца, ни первозданная их материя: газовые туманности, поскольку ряд данных астро-физики противоречит подобному предположению.

Отталкиваясь от этих опорных пунктов, и складывалась сама собою примечательная гипотеза, с полным остроумием развитая Милликэном и Камероном в конце 1928 года и обладавшая бесспорно всеми чертами научного гения, кроме... одной и наиболее существенной: проверки ее оружием фактов.

Эта увлекательная концепция в памяти у многих, и общие контуры ее можно набросать в следующих выражениях.

В пустынях межзвездного пространства блуждающие там одинокие электроны и протоны собираются в ядра гелия, кислорода, кремния и железа. Доносящимся до земной поверхности «первым криком рождающихся атомов» (по выражению Милликэна и Камерона) являются световые кванты космических лучей. Атомные ядра цепляются, далее, в туманности, затем консолидируются в звезды-солнца. Под прессом чудовищных давлений и при соответственных температурах, господствующих внутри звезд, атомные ядра начинают постепенно опять разлагаться до протонов и электронов. Эти же последние частицы, сталкиваясь между собою и взаимно погашая свои заряды, нацело «перегорают», превращаясь в свет и поддерживая излучение звезд в течение тысяч миллиардов лет. В холодном межзвездном пространстве материя световых квантов опять сгущается в протоны и электроны, последние опять сцепляются в сложные атомы, и так без конца...

Весьма грандиозный, хотя и неясный во многих существенных пунктах, кру-

гооборот. Увлечшись им, трудно было заметить те глухие и многозначительные для теории подземные удары, которые раздались уже в начале 1929 г. и угрожали крушением всей постройки.

Эти удары шли сразу из нескольких мест. Недостаточность гипотезы «криков рождающихся атомов» Р. А. Милликэна и Ч. Л. Камерона стала вполне ясной уже в тот момент, когда поглощение космической радиации в воде оказалось проследжено Регенером вплоть до глубины 200 — 230 метров, что уже никак не может быть увязано с реакциями синтеза атомных ядер из протонов. Энергия соответственных световых квантов оказывается совершенно недостаточной для того, чтобы пробить 230-метровый слой воды. Более или менее подходящим источником для этой четвертой и самой жесткой космической «струи» мог бы еще явиться упоминавшийся выше процесс превращения одного протона путем слияния его с одним электроном нацело в световой квант. Энергия такого кванта оказалась бы, как показывает подсчет, как-раз достаточной для того, чтобы протаранить 230-метровую водяную толщу, застряв на 231-м метре...

Насколько возможен однако в реальности указанный процесс (так называемой «аннигиляции протона»), есть большой вопрос, далеко не получивший еще ни теоретического, ни экспериментального решения.

Что же касается до рассказанной выше первоначальной теории Р. А. Милликэна (трактующей космические лучи как «первый крик рождающихся атомных ядер»), то, за неимением лучших аргументов в ее пользу, сам Р. А. Милликэн выдвигал то немаловажное, по его мнению, обстоятельство, что синтез атомов из протонов «подтверждает давнишнее умозрительное предположение, что создатель неустанно находится за работой». («The creator is continually on his job». Журнал «Nature», 1928 г.). В противовес этой, повидимому, ернической точке зрения проф. математической физики Брюссельского университета, он же священник местного собора, П. А. Леметр, мог выдвинуть лишь то

неотразимое соображение, что конструктивная деятельность господ бога в области космических лучей безусловно ограничилась днями творения. Согласно конкретным исследованиям проф. Леметра, печатавшимся в «Physical Review» и, еще раньше, в «Докладах» Бельгийской академии наук, единовременным актом божественного творения («да будет свет») был создан один световой квант, обладавший массой, равной массе всей мировой материи, и имевший объем, заполняющий все мировое пространство. Короче говоря, этот первоизданный квант охватывал собою всю вселенную или, еще иначе, совпадал с нею. По некоторым указаниям г. Леметра можно даже заключить, что упоминаемый квант представлял собою не что иное, как вездесущее тело самого бога, так сказать, отображение его невестественной сути на вещественном экране мира. Дробясь постепенно на куски, означенный квант и дал начало современным частицам лучистой энергии, самыми массивными из которых являются, по Леметру, космические лучи. Легко понять, что ассортимент «масс» и «длин волн», этих божественных осколков, являет собою богатейший выбор, с помощью которого можно заведомо объяснить все открытые, открываемые и имеющие когда-либо быть открытыми эффекты ионизации и поглощения на любой высоте и на любой глубине над и под поверхностью земли.

За вычетом этой блестящей «теории», представляющей собою рядовой пример интенсивной работы церковного агитпропа фашистской буржуазии на развалинах западноевропейского материалистического естествознания, за вычетом этой, говорим мы, «теории», положение запутывалось окончательно, когда после тщательного математического анализа проблемы стало ясно, что при тех гигантских скоростях и энергиях, какие имеют место в явлении космических лучей, различие (в отношении «пробивной силы») между частицами разного качества должно скрадываться и в пределах точности эксперимента схо-

дить на-нет. Не имеется, другими словами, никакой практической возможности, следя лишь за общим потоком космической радиации, установить — по суммарному действию этого потока — качественное строение радиации из тех или иных частиц.

Выход из тупика был бы найден лишь в том случае, если бы удалось изыскать способ выделить из общего невидимого потока отдельные дискретные частицы. Ключ к решению задачи был бы получен, если бы удалось низвергающийся на земную поверхность космический «ливень» разложить на отдельные «капли», проявив следы этих капель на некотором экране, подобно тому, как капли обыкновенного дождя становятся видимыми на окне железнодорожного вагона.

Первым человеком, достигшим этой цели, первым ученым, сфотографировавшим путь одной космической частицы в воздухе, был вышедший из советской школы молодой ленинградский физик.

Его открытие начало новый этап в истории великой проблемы, подведя науку вплотную к загадке одной из крупнейших загадок, когда-либо загаданных природою материалистической физике.

II

В 1929 году сотрудник Ленинградского физико-технического института Д. В. Скобельцын работал на открытом воздухе с «вильсоновой камерой» — замечательным прибором, специально предназначенным для ловли блуждающих в воздухе радиоактивных альфа- и бета-частиц.

Вильсонова камера, о которой идет речь, представляет собой, в своей основе, ящик, наполняемый перед началом опыта пересыщенными водяными парами и освещаемый изнутри ярким источником света. Попадая внутрь камеры, любая быстро движущаяся частица обычной материи (протон, электрон или альфа-частица) дробит, как мы знаем, на своем пути встречные газовые молекулы, раскалывая их на ионы. Водя-

ные пары, притягиваясь к ионам, сгущаются (конденсируются) и осаждаются на соответственном месте в виде малой водяной капельки. Цепочки этих капель, заснимаемые на фотопластинке, и дают точные очертания пути попавших в камеру частиц.

Что же касается до отдельных квантов света (речь идет о массивных квантах гамма и рентгена), то они не оставляют на вильсоновских фотографиях отпечатков своего отдельного пути.

Происходит это отчасти потому, что световые кванты никогда не летят «в одиночку», но всегда густыми роями, и запечатлеваемый ими на фотографиях Вильсона след представляет более или менее широкую полосу, испещренную множеством беспорядочно-зигзагообразных путей, путей ионов, выбитых из воздуха по пути прохождения квантового пучка.

Таким образом, можно всегда отличить попадание внутрь вильсоновой камеры гамма- и рентгеновых квантов от заряженных электричеством частиц обычной материи. Больше того: по внешнему виду вильсоновских цепочек, по их толщине и длине можно судить о роде заряженной частицы, уловленной в камере. Для более точного анализа заряда и скорости этой частицы достаточно приложить к вильсоновой установке поле мощного электромагнита. Под действием магнитного поля прямолинейная траектория заряженной корпускулы¹⁾ изгибается по дуге окружности. Капельные цепочки на вильсоновских фотографиях соответственно искривляются в ту или другую сторону. Измерив радиус кривизны этого отклонения и зная напряжение магнитного поля (а также массу и заряд частицы), можно вычислить ее скорость. Направление отклонения вправо или влево указывает на знак (положительный или отрицательный) заряда частицы.

Летом 1928 года в первом этаже лаборатории Политехнического института под Ленинградом, в Лесном,

Д. В. Скобельцын и натолкнулся на необычайное открытие.

Было сделано 613 вильсоновских снимков, и среди них на тридцати двух фотографиях обнаружались резкие и четкие следы прямолинейно движущихся электронов, проносившихся сквозь камеру — сверху вниз.

Эти электроны явно шли «с неба», и их чудовищная энергия и скорость становились ясными уже при первой попытке воздействовать на них с помощью магнитного поля. Применение самых мощных, имевшихся в распоряжении Д. В. Скобельцына электромагнитов не оказало никакого ощутительного влияния на путь загадочных частиц. Окончательное представление об их скорости было получено в марте 1929 года, вскоре после того, как — под впечатлением замечательного известия, пришедшего из СССР, — В. Ботэ и В. Кольхерстер в Германии впервые применили к изучению космических лучей так называемый «счетчик Гейгера—Мюллера». Сверхчувствительный этот прибор, представляющий собою последнее слово экспериментально-физической техники, отзывается на появление одного электрона или одного протона, автоматически регистрируя производимый ими разряд электроскопа на движущейся фотографической ленте.

Расположив два таких счетчика один под другим, Ботэ и Кольхерстер ограждали это сооружение, снизу и с боков, 11-сантиметровыми (5 см. железа + 6 см. свинца) металлическими ширмами, не допускавшими в исследуемое пространство земных радиоактивных лучей. Доступ пространства внутри и между счетчиками был дан лишь для тех прямолинейно движущихся сверху вниз («с неба») заряженных ультра-корпускул, существование которых доказало открытие Д. В. Скобельцына.

Каждое проникновение одной такой частицы внутрь установки должно было очевидно регистрироваться одновременно обоими (верхним и нижним) счетчиками. Сосчитывая в многочисленных опытах числа этих одновременных разрядов, Ботэ и Кольхерстер и могли прежде всего установить густоту па-

¹⁾ «Корпускула» — по-латински «частица».

дающего сверху космического «дождя»: около двух частиц на каждый см.³ в 1 секунду. Но, может быть, все-таки это были не какие-нибудь «особенные» частицы, а все те же альфа- или бета-корпускулы земных радиоактивных веществ, как-нибудь случайно (после столкновений с частицами воздуха) загнувшие свой путь и залетевшие внутрь счетчика Гейгера — Мюллера по отвесному — сверху вниз — направлению?

Следующий, и решающий, этап опыта заключался в горизонтальной прокладке металлических (золотых и свинцовых) пластин между верхним и нижним счетчиком.

Начало поглощения космических частиц в толще металла должно было бы сказаться немедленно уменьшением числа одновременных разрядов счетчиков в одну секунду. Толщина прокладки была доведена Ботэ и Кольхерстером до величины, эквивалентной пяти метрам свинца, но никакого ожидаемого уменьшения и при этом поглощающем слое замечено не было. Отвесно движущиеся корпускулы пробивали пять метров свинца так же легко, как солнечный луч стеклянную ширму!

Существование потока заряженных материальных частиц (но не квантов света), потока, падающего на земную поверхность по близкому к вертикали направлению, ионизирующего атмосферный воздух и обладающего проникающей способностью, совпадающей со всеми данными, установленными ранее для «космических лучей», оказывалось, таким образом, экспериментально доказанным фактом.

Какие именно заряженные частицы имеются тут налицо, этого из опытов со счетчиком Гейгера и Мюллера нельзя было установить. Указанный счетчик одинаково реагирует на проникновение частицы любого заряда: будь то положительного или отрицательного. О том, что часть потока во всяком случае состоит из элект-

тронов, — об этом бесспорно свидетельствовали фотографии, заснятые в камере Вильсона Д. В. Скобельцыным.

Скорость движения этих электронов, пронизывающих без осязательного поглощения 5-метровую толщу свинца, должна, как показывает расчет, достигать величины, соответствующей электрическому напряжению в один миллиард вольт. По сравнению с этой цифрой самая интенсивная бомбардировка, даваемая альфа-частицами, испускаемыми «радием С» (предельная их энергия: 15 — 20 миллионов вольт), кажется примерно настолько же ничтожно слабой, как энергия движения пешехода рядом с такой же энергией аэроплана.

Откуда же берутся электроны столь необычайного вольтажа, и какую роль играют они в мировой материи?

И первый, наиважнейший вопрос: где гарантия того, что ультра-электроны эти (или другие, уловленные в счетчике Гейгера частицы) действительно идут прямо из мирового пространства?

Где гарантия того, что эти электроны, прежде чем быть уловленными в счетчике или в камере, действительно пересекли всю толщу атмосферы, а не были выбиты из молекул воздуха непосредственно вблизи от камеры Вильсона или от счетчика Гейгера в результате удара некоторой первичной космической частицы, например светового кванта.

Тот факт, что частицы эти движутся по направлению сверху вниз («с неба»), еще ровно ничего не доказывает.

Как известно, световые кванты при своих столкновениях с атомами либо частично, либо даже полностью отдают свою энергию и массу, уничтожаясь при этом и прекращая свое индивидуальное существование.

И если такой космический квант, налетев и застопорившись о встречный воздушный атом, выбьет из него электрон, то этот последний, восприняв (целиком или частью) всю гигантскую энергию кванта, будет лететь сверху

вниз, как бы неся с собой переданную ему эстафету.

Возможен, с таким же правом, и другой вариант вторичного происхождения электронов, найденных Д. В. Скобельцыным, а именно: удар первичного, еще более быстрого, космического электрона (или протона) по газовому атому воздуха. Для того, чтобы выбитый в результате подобного удара земной электрон приобрел скорость порядка 10^9 (то-есть миллиарда) вольт, необходимо лишь, чтобы сама произведшая удар первичная частица обладала энергией движения, в среднем еще в 10 раз большей, то-есть 10 миллиардов вольт.

В общем итоге для решающей разгадки строения первичного потока космических лучей необходимо так или иначе выйти в самые верхние слои земной атмосферы (в стратосферу).

Ключ к основному и центральному вопросу — что такое космические лучи: свет или заряженные частицы — скрывается в стратосфере.

Пробным камнем является опять ионизация. Если бы удалось продолжить точную кривую ионизации воздуха вплоть до высоты по меньшей мере 30 — 35 километров над уровнем моря, задача была бы в основном решена.

Действительно: кривая эта должна вести себя по-разному в зависимости от того, состоят ли первичные частицы из световых квантов, или же из корпускул типа электронов и протонов.

Будь первичные космические лучи — световые кванты, тогда на самой крайней границе атмосферы, где воздух практически сходит на-нет, ионизация, вызываемая космическими лучами, также должна равняться нулю (раз здесь отсутствует само «сырье» для производства ионов: воздушные молекулы). По мере же продвижения потока квантов вниз, к земле, ионизация будет расти... но только до определенного предела, потому что с вступлением космических квантов в более плотные слои атмосферы кванты

начнут застревать в толще воздуха, и число образуемых ими ионов опять пойдет на убыль. В общем итоге: кривая ионизации от высоты будет иметь на какой-то высоте резко выраженный максимум. Это в том случае, если первичный космический поток в основной своей массе — поток световых квантов.

Наоборот, совсем другую картину нужно ждать, если «космические лучи» — электроны или протоны...

В этом случае никакого максимума ионизации быть не может, а может наблюдаться лишь неуклонный спад кривой начиная от верхней границы атмосферы вплоть до поверхности земли. Действительно, поток космических лучей, если он состоит из электронов или протонов, не нуждается для своего воздействия на счетчик ионов в присутствии в нем воздушных молекул. Каждая заряженная частица — электрон или протон — «сама себе ион». И именно поэтому эффект разряда электроскопов на границе атмосферы, атакуемой тучей заряженных частиц, должен быть наибольшим. По мере же застревания их потока в толще воздуха этот эффект будет спадать и достигнет наименьшего значения на уровне моря¹⁾.

Вычисление показывает, что максимум числа ионов в воздухе (в случае световых квантов) должен находиться на высоте 28—30 км.

Вот первый факт, заставляющий физику во что бы то ни стало прорваться в стратосферу, прорваться на высоту, еще в $1\frac{1}{2}$ —2 раза большую той, на которой побывали уже Пиккар и шары-зонды Регенера. Прорваться с помощью шара с герметически закрытой кабиной, оборудованной регистрирующими приборами снаружи и всем необходимым для дыхания наблюдателей внутри.

И вот путь второй к решению той же самой загадки, путь, ведущий — в конечном итоге — опять в стратосферу, опять в тот край, где небо всегда

¹⁾ Вопрос о ходе кривой числа ионов осложняется на самом деле еще рядом других побочных обстоятельств, но мы рассуждаем здесь нарочно в упрощенном виде.

черно и звезды всегда видны рядом с негреющим солнцем.

Земля представляет собою, как известно, вращающийся шаровой магнит, и, попав в поле такого магнита, поток космических лучей (если только он состоит из заряженных, притягиваемых магнитом, частиц) должен сосредоточиться преимущественно в полярных зонах. Так пучок железных опилок, брошенных вблизи от магнитной стальной полосы, отклоняется и прилипает главным образом у полюсов и меньше всего у средней (нейтральной) линии.

Это значит, что «дождь» космических частиц, если они — протоны или электроны, будет падать гуще всего на крайнем севере и юге (где расположены магнитные полюса¹⁾ земли) и будет убывать по мере приближения к экватору. Число ионов в воздухе, другими словами, на крайних широтах будет больше, чем на экваторе.

Будучи же составлен из световых квантов (не отклоняемых магнитным полем), космический поток был бы одинаково плотен на всех широтах.

Попытки Милликэна и других прощупать на опыте эту дилемму не увенчались в свое время никаким успехом. Лишь летом 1932 года ряд экспедиций, планомерно организованных для этой цели проф. А. Х. Комптоном (САСШ), — от крайнего севера Аляски до Боливии и республики Эквадор, — принесли предварительное решение проблемы.

Число ионов, создаваемых космическими лучами, действительно, оказалось зависящим от географической широты. И ход этого изменения в общих чертах именно таков, каким он должен быть согласно теоретическому анализу (сделанному К. Стёрмером в Норвегии и Валларта в САСШ).

На экваторе ионизационный эффект, по данным Комптона, на 12 проц. мень-

ше, чем на широте 50° . Севернее 50° с. ш. и южнее 50° ю. ш. подметить требуемое теорией дальнейшее увеличение интенсивности космических лучей не удалось. Почему? Потому, что в наиболее резкой степени это колебание густоты космического потока в разных широтах может проявиться лишь на большой высоте над земной поверхностью, — там, где дождь частиц не успел еще разредиться, поглотившись в более плотных слоях воздуха, — в стратосфере.

Дальше: в зависимости от знака заряда летящих из мирового пространства частиц (то-есть в зависимости от того: летят ли положительно заряженные протоны, или отрицательные электроны) поток первичной космической радиации должен захиреться в магнитном поле земли либо в одну, либо в другую сторону. В зависимости от этого знака он будет падать на земную поверхность «косым дождем», направленным на соответственных меридианах или с востока на запад, или с запада на восток. Подметить это более тонкое, требующее повышенной точности эксперимента колебание интенсивности космического излучения в зависимости от угла наклона приборов к горизонту долгое время не удавалось. Вопрос о том, состоит ли первичный поток радиации главным образом из отрицательно заряженных электронов, или же из несущих положительный заряд протонов, оставался тем самым открытым¹⁾.

Лишь в июне 1933 года сотрудники проф. Комптона д-р Т. Х. Джонсон и Е. С. Стивенсон, работавшие в городе Мексико, сообщили, что им уда-

¹⁾ Магнитные полюса земного шара, как известно, не совпадают с географическими, хотя и находятся близко от них. В связи с этим и магнитный экватор, и меридианы земли несколько смещены по отношению к географическим.

¹⁾ Все это не исключает впрочем той возможности, что определенная часть первичного космического потока все-таки может состоять из электронов или из световых квантов ультракороткой длины волны. Распутать весь этот запутанный клубок можно будет, повторим, лишь после того, как приборы будут вынесены высоко в стратосферу. Тем не менее после работ Джонсона остается в силе крупнейшей важности факт: основная часть первичного потока космических лучей состоит из положительно заряженных частиц.

лось добиться давно ожидавшегося с нетерпением результата. Установка Джонсона и Стивенсона состояла из трех счетчиков известной уже нам системы Гейгера. Благодаря такому расположению можно было выделить из общего потока космических частиц (протонов или электронов) те из них, которые движутся по направлению вдоль оси, на которую нанизаны счетчики. В самом деле, только такие частицы проходят насквозь все три счетчика и только их попадания одновременно регистрируются всеми тремя счетчиками.

Поворачивая ось прибора под разными углами к горизонту и сосчитывая только числа одновременных попаданий в минуту, и можно следить за изменением густоты космического «дождя». После свыше чем 1.000 наблюдений у Джонсона и Стивенсона получился следующий результат: направление падения с востока на запад преобладает по сравнению с направлением с запада на восток. Максимальная разница составляет 25 проц., если взять угол наклона 65° к отвесу, — это соответствует положительному знаку.

Что касается до их результатов, то для того, чтобы дать тот эффект отклонения от вертикального направления, который был наблюден Джонсоном и Стивенсоном на магнитной широте Мексико — Сити, для этого падающий из мирового пространства протонный поток должен, как показывает теория, нести со скоростью, пропорциональной десяткам миллиардов вольт. Результат, вполне совпадающий с тем предсказанием, которое уже было сделано раньше из оценки скорости вторичных частиц, пойманных в вильсоновой камере Д. В. Скобельцыным.

Джонсон и Стивенсон считают далее, что им удалось подметить в общем потоке космических протонов все те четыре струи разной энергии, существование которых гораздо раньше было выяснено доктором Эрихом Регенером. Самая проникающая из этих струй состоит, по Джонсону, из протонов, ле-

тящих со скоростью в 30 миллиардов ($3 \cdot 10^{10}$) вольт.

30 миллиардов вольт. Этот результат является ошеломляющим даже для физиков наших дней, искушенных теми энергиями, которые содержит мир атома.

Где, в каких районах вселенной находится та чудовищная артиллерия, которая стреляет снарядами, несущими энергию в 30 миллиардов вольт, и что это за артиллерия, — вот вопросы, неизбежно расширяющие поле зрения великой проблемы, история которой началась, как мы помним, с простого наблюдения за бумажными листочками электрооскопа...

Коротко говоря, ни один атом, ни одно атомное ядро в тех пределах, в каких они исследованы современной физикой, не способны дать из своих недр количества энергии, соизмеримые с теми, какие наблюдаются в явлениях космических лучей.

Что это значит? Это значит, что перед физикой внезапно раскрываются новые глубины материи, о существовании которых не подозревал никто...

Краешек завесы приподнят в последние месяцы и недели.

Этот момент наступил вскоре после того, как на путь проторенный советской физикой, на путь, начатый экспериментами Д. В. Скобельцына, встали три крупнейшие центра международной экспериментальной физики, продолжавшие еще самоотверженно работать в обстановке общего кризисного развала, охватившего европейское и американское естествознание.

III

Мы оставили Д. В. Скобельцына охотящимся за «небесными» частицами, попадающими время от времени в составленный для них капкан: вильсонову камеру, наполненную водяным туманом. По оставляемым этими частицами капельным следам еще нельзя было — напомним — составить точное представление об их скорости, массе и заряде. Чтобы достигнуть всего этого, нужно

было — повторим еще раз — загнуть путь пойманной частицы в магнитном поле.

Впервые эту операцию выполнил осенью 1932 года д-р Рихард Кунце в лаборатории Технологического института в Ростоке (Пруссия).

Кунце пристроил к вильсоновой камере сверхмощный электромагнит, дававший напряжение магнитного поля, равное 18.000 гауссов¹⁾. О величине этого напряжения дают представление следующие бытовые штрихи: железный ключ, лежавший однажды на столе во время опыта, был сорван оттуда магнитной силой и, пролетев со свистом через всю комнату, притянулся к электромагниту.

Заметный изгиб путей ультра-частиц, уловленных во время работы этого электромагнита, был достигнут д-ром Кунце почти для всех частиц, оказавшихся электронами и — в ряде случаев — протонами, несущимися со скоростями от 100 миллионов до 2½ миллиардов вольт.

Следовало опять (как и в опытах Д. В. Скобельцына) предположить, что электроны и протоны эти в большинстве своем имеют чисто вторичное происхождение, то-есть выбиты из молекул воздуха уже в пределах земной атмосферы.

Впрочем две частицы (из нескольких сот наблюдаемых Кунце) не обнаружили никакого магнитного отклонения, видимо, по причине своей из ряда выходящей скорости.

Подсчет показал, что энергия этих частиц не меньше 3.500 (для одной из них) и 9.200 (для другой) миллионов вольт.

Последняя «девятимиллиардная» частица (нельзя было установить точно: электрон это или протон) и является по всей вероятности впервые уловленным и сфотографированным в вильсоновой камере участником загадочного первичного потока.

¹⁾ Гаусс — единица магнитного напряжения. В качестве сравнения: напряжение, даваемое маленьким подковообразным магнитом, не превышает ½ гаусса.

В калифорнийской лаборатории университета, в городе Пасадена, аналогичные исследования велись доктором Карлом Д. Андерсоном и привели к не менее значительным и вызывающим на размышления результатам.

Применив электромагнит одинакового с опытами Кунце напряжения и рассматривая кривизну отклоненных путей «летающих с неба» (вторичных) космических частиц, д-р Андерсон мог опять различить здесь отчетливые пути электронов, затем протонов, а также и каких-то других частиц, поставивших американского ученого в тупик и заставивших его произнести лишь несколько недостаточно смелых и прошедших почти незамеченными слов изумления на страницах сентябрьского (1932 г.) номера журнала «Science».

Об этих словах вспомнили и по-настоящему оценили их лишь пятью месяцами позже, 3 марта 1933 года, когда в историческом отныне томе английского академического журнала «Proceedings of the Royal Society» («Отчеты» Британской академии наук) появилось исследование сотрудника Э. Резерфорда д-ра П. М. Блэкетта и помогавшего ему в работе молодого итальянца А. Н. Оччаллини. Исследование это, в неразрывной связи с идейно предшествовавшей работой Д. В. Скобельцына, отныне входит в историю величайших открытий физики на ряду с такими документами, как первая статья Вильгельма Рентгена (в «Известиях» Вюрцбургского физико-медицинского общества 8 ноября 1895 г.) или как публикация (в конце 1897 г.) Анри Беккерелем своих опытов над радиоактивностью урана и других элементов.

Англичане не потеряли времени даром.

На протяжении всей осени и зимы 1932 — 1933 гг. они в перегонку с Андерсоном и Кунце ловили космические лучи в вильсонову камеру, забронированную от всех посторонних влияний толстыми плитами меди и усовершенствованную так, что включение све-

та и щелчок затвора фотоаппарата происходили автоматически в тот момент, когда внутрь камеры попадала ответно движущаяся ультра-частица. Силовые линии магнитного поля (около 2.000 гауссов) пронизывали камеру насквозь, отклоняя положительно заряженные частицы влево, а отрицательные — вправо от вертикальной оси прибора. Сравнительно незначительное напряжение магнитного поля оказывалось здесь в большинстве случаев достаточным для отклонения самых быстрых ультра-частиц, и именно потому, что прежде, чем проникнуть внутрь «забронированной» камеры, частицы эти растрачивали значительную часть своей гигантской скорости при прохождении сквозь преграду.

Всего было заснято таким способом около 500 траекторий частиц. Рассматривая их, Блэккет и Оччиалини могли с изумлением констатировать ясную картину одного из самых необыкновенных явлений, когда-либо представлявшихся взору физиков.

Проникая внутрь камеры и сталкиваясь с отдельными атомами ее металлических стенок, космические частицы разносили вдребезги атомные ядра, образуя веер разлетающихся во все стороны, невообразимо быстрых (с энергией — двух миллиардов вольт) осколков. На большинстве фотографий, приложенных к статье Блэккета, отчетливо видны эти «ливни» («showers») атомно-ядерных частиц, брызнувших во все стороны и исходящих из одного центра¹⁾. На некоторых фото число частиц в одном ливне достигает 12 — 15 и даже 20.

Это можно было предвидеть. Если уже «какие-нибудь» альфа-частицы, испускаемые радием со скоростями «всего только» 10 — 20 миллионов вольт, разрушают на своем пути атомные ядра, то что следовало ожидать тогда от первичных космических частиц, несущихся из мирового пространства с энергиями

10—20—30 миллиардов вольт. По сравнению с ударом этих частиц эффект, производимый альфа-бомбардировкой, должен быть столь же примерно слабосилен, как удар пущенного из рогатки камня рядом с бризантным действием артиллерийского снаряда.

И действительно: удар альфа-частицы разбрасывает из недр пораженного ею атомного ядра «осколки» с энергией порядка миллионов, вольтаж же «ливней», извергнутых из тех же атомных ядер космическими частицами, исчисляется, как сказано, миллиардами вольт.

Секрет происхождения «небесных» частиц, попадающих время от времени (около двух штук на каждый кубический см. в секунду) в вильсоновы камеры, в счетчики Гейгера и прочие регистрирующие приборы, после всего этого может считаться в основном разгаданным. Может считаться установленным, что почти все эти частицы, что весь основной эффект непонятно повышенной ионизации земной атмосферы на уровне моря производится теми самыми «ливнями» атомно-ядерных осколков, теми чудовищными взрывами, которые происходят уже на месте, в самом воздухе и вблизи самой поверхности земли, под ударами первичных корпускул, несущихся из мирового пространства¹⁾. Этот твердо установленный опытами Блэккета и Оччиалини факт, подведший первый итог 30-летним работам физики над проблемой загадочных лу-

¹⁾ Особенно ясно это видно при рассмотрении снимков Блэккета (заснятых сразу двумя фотокамерами с двух точек зрения) в стереоскопе.

¹⁾ Нет сомнения, что подобные взрывы происходят время от времени и внутри человеческого тела, также пронизываемого космическими лучами ежеминутно и ежесекундно. Навряд ли взрывы эти проходят бесследно для физиологических отклонений организма. Интереснейший вопрос о биологическом действии космических лучей целиком не затронут еще исследованием. Отбрасывая шарлатанскую сторону астрологии, следует тем не менее констатировать, что возможность причинной связи между положением на небосводе тех или иных космических объектов (звезд, туманностей), являющихся источником мощных потоков космических частиц, и физиологией человеческого организма — в свете изложенных выше открытий — неожиданным образом оказывается не исключенной.

чей, сам по себе мог бы надолго привлечь к себе внимание науки. Непредвиденным образом факт этот отступил однако далеко на второй план перед другим волнующим открытием, полученным как «отходный продукт» излагаемых опытов, но сразу же оказавшимся в центре напряженного внимания международной физики.

В ряде «ливней» среди искривленных магнитным полем путей протонов и электронов, выброшенных из недр взорванных космическими лучами атомных ядер, Блэккет и Оччаллини обнаружили ясные траектории необыкновенных частиц, никогда еще до сих пор не наблюдавшихся физикой, частиц, заряженных положительно, как протон, но в 1.840 раз более легких, чем последний. Их масса в точности равна массе обыкновенного (отрицательно заряженного) электрона.

Итак, неожиданный на Западе почти никем, найден «положительный электрон», или «позитрон», или — как еще иначе предлагает его окрестить Н. Бор — «антиэлектрон»: новая мельчайшая единица мировой материи.

Что нового вносит это поразительное открытие в современное учение о строении вещества?

IV

Усилиями ряда экспериментаторов и теоретиков на протяжении первой трети текущего столетия было выяснено, как известно, строение атомов всех без исключения веществ. Атомы и молекулы (то-есть комки из нескольких атомов, сцепленных вместе) оказались составленными из частиц, еще в триллион раз более мелких по объему, чем сами атомы. Напомним еще раз, что частицы эти трех родов:

1. Электроны (частицы с отрицательным зарядом). Они — в количестве от одной до 92 штук — входят в состав внешней оболочки атомов. Кроме того, некоторое количество экземпляров электронов «рождается» время от вре-

мени¹⁾ (а именно в моменты самопроизвольных разрядов внутриядерной энергии) из недр атомных ядер, формируясь там «из общего котла» ядерной материи и разлетаясь затем во все стороны, подобно брызгам пены при ударе волны о мол.

2. Протоны (частицы с положительным зарядом и с массой, в 1.840 раз большей электронной) и

3. Нейтроны (частицы безо всякого заряда и с массой, на 0,1 проц. меньшей, чем масса протона).

Из протонов и нейтронов построены атомные ядра, при чем протонов туда входит ровно столько, сколько единиц в порядковом номере соответствующего химического элемента в таблице Менделеева. Комплект же нейтронов равен разности между атомным весом и порядковым номером элемента.

Итак, молекулы, атом, его оболочка и ядро — в 1933 году — оказались пройденными физикой в основном «до дна», и спрашивается: что надо было здесь ожидать дальше?..

Почти узаконенной в последние годы в руководящих кругах европейской и американской буржуазной физики была твердая уверенность в том, что познание внутреннего (микроскопического) строения материи следует в общих чертах считать уже исчерпанным и что протон и электрон являются «последними» бесструктурными индивидами вещества, не подлежащими уже дальнейшему раздроблению.

Эти настроения яснее и отчетливее всего были высказаны в конце 1931 года в программной статье П. А. Дирака, предпосланной его исследованию об элементарных магнитных полюсах²⁾. В указанной статье вождь современной физической теории во всеулышание констатировал, что с предстоящим окончательным выяснением деталей строения атомного ядра атомная физика, как таковая, по существу должна считаться «закончившейся»: «все» узна-

¹⁾ См. подробнее об этом замечательном открытии в нашей статье в «Недрах атомного ядра». «Новый мир», книга 5-я, 1933 год.

²⁾ См. «Proceedings of the Royal Society», декабрь 1931 г.

но «до конца», «дальше делать нечего», остающимся же «безработными» атомным теоретикам и экспериментаторам предлагается перебросить свои силы на... помощь биологам на предмет окончательной физико-химической разгадки жизни (sic!).

По отношению к этой развернутой программе механицизма (теснейшим образом переплетающегося с идеализмом) в современной буржуазной физике, — программе, держащей курс на исчерпываемую и якобы уже исчерпанную материю, программе сведения всех и всяческих явлений к «последним» единицам: электрону и протону, — по отношению к этой, говорим мы, программе диалектико-материалистическая наука о природе не могла иметь двух мнений.

Уже открытие в феврале 1932 года нейтрона как новой материальной частицы особого качества, не сводимой ни к протону, ни к электрону, оказалось ложкой дегтя, испортившей самодовольное настроение механо-идеализма в современной физике. Заранее методологически ясно было однако, что этим последним фактом дело ограничиться не может, что вслед за завершением основных работ материалистической физики внутри атомного ядра наступление этой физики должно будет неминуемо двинуться дальше: в глубь самого протона, в глубь электрона, в глубь нейтрона. «Природа, — говорит Ленин, — бесконечна, как бесконечна и мельчайшая частица ее (и электрон в том числе)». (Ленин, избр. произв., т. VI, стр. 199). Материя неисчерпаема как вширь, так и вглубь, и в триллион раз меньший атома протон (а также электрон и нейтрон) должен иметь свое собственное внутреннее и сложное строение, должен быть разложен на еще более мелкие составные части, и так без конца.

Это предсказание диалектико-материалистического метода в естествознании и исполняется с точностью в настоящий исторический момент. Открытый Андерсоном — Блэккетом «положи-

тельный электрон», почти в 2.000 раз меньший протона, бесспорно является, впервые попавшим в поле физического эксперимента, вестником из глубочайших, до сего времени еще не затронутых, недр мировой материи, лежащих по ту сторону протона, внутри протона.

Из сравнения масс и зарядов нейтрона, протона и новооткрытого позитрона уже можно с большой долей уверенности предположить, что то, что мы называем «протон», представляет собою постройку, сложенную из одного нейтрона и позитрона. Силы сцепления, удерживающие эту постройку в равновесии, должны быть весьма велики. быть может, еще больше сил, сцепляющих сами протоны внутри атомных ядер. Этим обстоятельством мог бы объясниться тот факт, что — в обычных условиях эксперимента — позитроны не наблюдаются в отличие от электронов в свободном виде и отдельные протоны выступают всегда как неразрушимые частицы. Нужны лишь грандиозные удары космических частиц, чтобы разбить протон на части, выбив из его недр положительный электрон (что и было наблюдено Блэккетом).

С другой стороны, предположение об исключительной громадности энергии сцепления нейтрона и позитрона внутри протона могло бы внести луч света и в вопрос о возникновении космических лучей с их непостижимыми скоростями частиц, исчисляемыми десятками миллиардов вольт. Не являются ли эти лучи результатом своего рода «сверхрадиоактивного» взрыва протонов, происходящего где-либо в отдаленных уголках вселенной?

Осколками такого взрыва должны быть очевидно позитроны и нейтроны. На присутствие первых прямо указывают изложенные выше опыты Джонсона и Стивенсона, доказавшие, — как мы помним, — что основной поток первичных космических лучей состоит из положительно заряженных частиц. Мы, предположительно условно, считали в соответствующем месте данной статьи эти последние ча-

стицы протонами, но ровно столько же шансов имеется за то, что они — позитроны (и те, и другие имеют ведь положительный заряд). С состоявшимся подъемом приборов в стратосферу опять и опять связывается решение этого кардинальнейшего, лежащего у самого сердца загадки космических лучей, ее глубочайшего вопроса.

Если высказанные нами выше предположения подтвердятся, это будет означать, что материалистическая физика, миновав уже эпоху «строения атома», а также «строения атомного ядра», вступает в 1933 — 1934 гг. в исторически следующую эпоху строения тех частиц, из которых построено само атомное ядро (то есть протонов и нейтронов).

И если предыдущая и далеко еще впрочем практически (в смысле использования ее техникой) не закончившаяся эпоха — «эпоха атомного ядра» — оперировала с энергиями порядка де-

сятков и сотен миллионов вольт, то предстоящий прорыв физики в глубь протона, в глубь нейтрона и в глубь электрона потребует уже десятков и сотен миллиардов вольт. Откуда их взять? Только через посредство космических «лучей», подобно тому, как разрушение атомных ядер стало возможным с помощью «лучей» радиоактивных.

Так или иначе, но каждый новый шаг физики в глубь вещества означает очередной триумф диалектико-материалистического метода познания мира, означает новый удар по мракобесию, по религии и воинствующему идеализму, имеющим свою агентуру внутри наук о природе. «Современная физика, — как писал еще 20 лет тому назад в гениальных строках «Материализма и эмпириокритицизма» Ленин, — лежит в родах». «Она рождает диалектический материализм».

Литература и искусство

1. Г. Лукач — Гергард Гауптман остался членом фашистской Литературной академии.
2. Б. Гроссман — Писатель и окрнина

1. ГЕРГАРД ГАУПТМАН ОСТАЛСЯ ЧЛЕНОМ ФАШИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АКАДЕМИИ

Г. Лукач

При «унификации» Прусской литературной академии, при проведении правительством Гитлера основательной чистки, жертвами которой оказались даже члены академии с минимальнейшей долей прогрессивного мышления, были пощажены Гергард Гауптман, а также Ина Зайдель, Герман Бар, Вильгельм Шмидт-Бон и Макс Хальбе.

На первый взгляд эта мера фашистского правительства кажется неожиданной. Она кажется сугубо неприятной и неожиданной для тех, кто все еще считает Гауптмана автором «Ткачей», революционным писателем.

Эти круги во всяком случае должны бы были вспомнить о том, как «развивался» Гауптман и как он стал официальным классиком республики Эберта. Конечно, от этого состояния до официального звания академика гитлеровской академии еще далеко, и официальная теория литературы фашизма боролась также и с Гауптманом как представителем ненавистного и презираемого ею веймарского «периода». Так в своей работе «Миф двадцатого столетия» Альфред Розенберг отделяется от Гауптмана презрительным замечанием о том, что творчество Гауптмана питается «трухлявыми корнями буржуазии XIX столетия».

Адольф Бартельс, другой крупный авторитет фашистов, критиковал Гаупт-

мана еще в самом начале его литературной деятельности, в девяностых годах XIX столетия, характеризуя его как эклектика, признавая однако за ним большое художественное дарование.

Это различие оценок, даваемых Гауптману в лагере фашистов, не удивительно. Бартельс является представителем «здоровой», «национальной» линии фашизма. Он ориентируется на поздний неоромантизм, граничащий с реализмом, и видит свой идеал в «национальном» искусстве, то-есть идеологически он представляет мелкий буржуазии, которые при всем своем национализме и ненависти к евреям в глубине своей души, собственно, тяготеют больше к партии «действительного национале». Только послевоенный кризис заставил их встрепенуться и искать «революционные формы» реставрации страны. Розенберг же, напротив, представляет собою тип эклектика, взбесившегося обывателя военного и послевоенного времени, черпающего свои идеалы у Ницше и Достоевского, «перерабатывающего в себе теории Шпенглера и экспрессионизма и присоединяющегося к идеологии «национального единения».

То обстоятельство, что в случае с Гауптманом направление Бартельса взяло верх над направлением Розенберга, несомненно не останется без влияния на дальнейшее «культурно-политическое

развитие» германского фашизма. Этот факт следует рассматривать как симптом того, что начинается привлечение «созидающих сил» также и из тех слоев буржуазии, которые ранее не были фашистскими, что стремление либеральной германской буржуазии к постройке золотого моста, позволяющего с достоинством капитулировать перед Гитлером, будет осуществлено хотя бы частично, хотя бы для определенных слоев буржуазии. (Это стремление очень явственно выражено Бернардом Дибольд в его статье «А культура?», помещенной во «Франкфуртер цейтунг» от 15 апреля 1933 г.).

Конечно, «амнистия» представляется этим слоям буржуазии не без критических оговорок. «Фелькишер беобахтер», официальный орган партии Гитлера, дает следующую характеристику Гауптмана в большом комментарии к реорганизации Литературной академии: «Его идеология, к счастью отступающая в его лучших произведениях на второй план по сравнению сего художественным творчеством, соприкасается лишь крайне отдаленно с нашим мировоззрением. Мы, как Ганс Йост, полагаем, что путь его как драматурга ошибочен. Вместе с тем мы не отрицаем и не отрицаем его тонкого понимания человеческих инстинктов, его в своем роде «настоящего социального чутья» и его огромной способности изображать окружающую среду, то-есть мы не отрицаем его бесспорно существующей, хотя и не очень значительной, «художественной субстанции». («Фелькишер беобахтер» от 9 мая 1933 г.)

Статья определенно подчеркивает, что политические «экскурсы» Гауптмана не имеют решающего значения для оценки его художественного творчества (то-есть его прославление Эберта, его признание Веймарской конституции).

Гауптмана следует привлечь к работе. По мнению автора статьи, это — единственный путь, посредством которого можно освободить писателя от тисков текущей политики, от печати, наложенной на него событиями последних десятилетий, единственный путь, ведущий

его к национальному единению и позволяющий ему, напротив того, поднять свое творчество над политической повседневностью. (Все подчеркивания сделаны мною. — Г. Л.)

Основная тенденция этих заявлений та же, что и в отдельных культурно-политических речах Геббельса и Геринга: необходимо всесторонне повысить качество фашистской пропаганды посредством концентрации «готовых к созиданию» творческих сил. Привлечение Гауптмана, хотя и со многими оговорками, в фашистские круги представляет собою другую сторону той же тенденции, побуждающей Геббельса выступить с законодательными мерами против «национального китча», то-есть против опошления национальных эмблем.

Эта тенденция конечно выпукло показывает те внутренние противоречия, которые кроются в германском фашизме, противоречия, которые, естественно, еще более резко выявляются после захвата власти, чем в период борьбы за власть, а именно: разнородный классовый состав Н. С. Д. А. П. и неизбежность беспрерывно растущих, беспрерывно возникающих противоречий между пропагандистскими лозунгами и их превращением на практике.

В области культуры и в частности в области литературы эти противоречия проявляются в том, что, с одной стороны, продолжается обостренная идеологическая и организационная борьба против «либерализма» с целью удержания масс при помощи «антикапиталистической» социальной демагогии. С другой стороны, одновременно производится попытка концентрации всеми возможными средствами всех сил буржуазии под гегемонией Гитлера. Случай с Гауптманом является лишь отдельным моментом той же общей стратегии германского фашизма. Конечно, это очень характерный случай: он раскрывает то живое, чисто демагогическое начало, которое заложено в борьбе «национальной революции» против старого, подкупного и упаднического духа предшествовавшей капиталистической культуры. Этот случай явственно показывает, как фашизм входит в права

наследства той ненавистной «системы», в борьбе против которой он привлек на свою сторону мелкобуржуазные массы.

Неизбежно однако возникает вопрос: почему именно Гауптман стал предметом того маневра? Критика официальной фашистской прессы о постановке «Флориана Гейера» в Берлине 20 апреля 1933 г. дает достаточно ясный ответ на вопрос о том, что германские фашисты находят притягательным или, по меньшей мере, допустимым в творчестве Гауптмана.

Театральный критик газеты «Фелькишер беобахтер» следующим образом характеризует пьесу: героем пьесы является не вдохновенный борец «за протестантскую свободу», сын народа, победоносно ведущий борьбу против знати и духовенства, а погибающий Флориан Гейер, полный горечи и без надежд идущий на смерть за проигранное дело. Перед зрителями разворачивается мрачная, кровавая картина смерти искреннего германского человека, картина смерти многих германских крестьян, которые доверчиво рискуют своей жизнью за правое дело и гибнут из-за отсутствия единства, с одной стороны, и предательства — с другой; картина глубокой безнадежности, но вместе с тем трагедия, оставляющая большое художественное впечатление.

Исключительно потрясающая картина гибели всех этих преданных крестьянскому вождю людей, в то время как вождь стоит один, с черным знаменем в руках, до тех пор, пока его не пристреляют, как «зверя».

До известной степени критика, таким образом, оказывается благоприятной для Гауптмана, в ней даже меньше эстетических оговорок, чем в ранее упомянутом критическом комментарии к реорганизации Литературной академии. Однако эта критика главным образом касается эстетического признания. Между тем оставление Гауптмана в Литературной академии отнюдь не является чисто литературным делом, хотя конечно повышение качества пропаганды и увеличение радиуса ее влияния также имели значение

при решении вопроса об оставлении Гауптмана в академии. Но заключительная часть упомянутой критической статьи о «Флориане Гейере» уже дает нам более ясные указания относительно того, что правящие национал-социалисты считают положительным в Гауптмане, почему они стремятся уложить Гауптмана в то наследие, которое они согласны перенять от прежней «системы». Статья кончается следующими строками:

«Горькие слова Флориана Гейера: «От германца не следует ждать благодарности» — направляют наши мысли к другому человеку, вера которого в Германию и в его миссию воспламенила отчаявшийся народ и вдохновила его на сверхчеловеческие достижения, дала ему силы к победе и горячей благодарности. Нам будет ближе тот писатель, который сумеет художественно изобразить процесс оздоровления народа и признания им своей страны, своих вождей». («Фелькишер беобахтер» от 21 апреля 1933 г.).

Вытекает ли этот вывод или по крайней мере вышеприведенная интерпретация его из пьесы Гауптмана? Или же национал-социалисты насильственно притянули этот вывод, искажив и исковеркав первоначальное содержание пьесы, как они это сделали с произведениями Гете, Шиллера, Фихте и Гегеля? Этот вопрос далеко не простой. На него нельзя ответить ни прямым «да», ни решительным «нет».

Не может быть сомнения в том, что Гауптман, или, еще конкретнее, автор «Флориана Гейера», которого национал-социалисты присваивают себе, отнюдь не является фашистским писателем. Он не может и не должен также рассматриваться как идеологический предшественник фашистов. Гауптман являлся, как мы это попытаемся доказать в дальнейшем, литературным представителем либеральной германской буржуазии довоенного времени. Его приближение в позднейшем к социал-демократии эбертовского толка, на чем мы еще также остановимся, является только последовательным этапом его идеологического развития.

Тем не менее вышеприведенная интерпретация «Флориана Гейера» ни в коем случае не может быть сравниваема с теми искажениями, которые фашисты učinили в отношении писателей и мыслителей классического периода.

Ибо, как ни мало сам Гауптман в этот период своего развития был фашистом или предшественником фашистов, все же самые разнообразные идеологические нити, конечно противоречивые, сложные и неравноценные, связывают германский либерализм довоенного времени, а также и его послевоенный период с идеологией гитлеровского фашизма. Тут не место подробно останавливаться на этом вопросе. (Автор сделал это в своих других статьях.)

Мы должны однако кратко, поскольку это позволяет тема, указать на то, что господствующая тенденция германского либерализма в эпоху, предшествовавшую войне, сводилась к поддержке, к стимулированию германского империализма. Либеральная критика «вильгельмовского» режима довоенного времени исходила более или менее сознательно из того, что правовой и государственный строй Германии представляет собою препятствие для усиления мощи германского империализма и что очень осторожная, очень постепенная демократизация той внутриполитической основы сделает германскую внешнюю политику и германский империализм более действенным и более боеспособным (реформа прусского избирательного права, ответственность министров, отмена или смягчение «персонального режима» кайзера и т. д.).

В соответствии с этой точкой зрения целью этой демократизации является лучший, более «современный» (то-есть более действенный в империалистическом смысле) отбор вождей. В настоящее время в Германии очень мало или вовсе не упоминают о том, что идеология вождей, выставляемая национал-социалистами, восходит в очень существенных чертах к этой либеральной идеологии. Так же мало вспоминают о том, что мифическое начало как основной момент фашистской идеологии как раз в Германии объясняется половинча-

тостью либеральной критики христианства (Д. Ф. Штраус). Каково бы ни было влияние более поздних, иначе мыслящих умов, как Ницше, на дальнейшее развитие и разработку этой теории, все же именно агностическая либеральная философия довоенного времени, ориентировавшаяся на «жизненную философию», на борьбу или критику «рационализма» (Зиммель, школа Дильтея, феноменология и т. д.), остается тем звеном в цепи, за которое ухватились, — большей частью бессознательно, — почти всегда замалчивая первоисточник, идеологи национал-социализма для создания своего специфического учения о мифическом начале и т. д.

Это внутреннее противоречие, эта глубокая лживость в идеологической борьбе против либерализма со стороны национал-социалистов самым разнообразным образом проявляется в их теории и практике.

В случае с Гауптманом связующие нити довольно ясны. Гауптман не является либеральным политиком, он даже не является литературным предшественником либеральной идеологии. Его вращение в либеральную буржуазию выражается, как мы это увидим ниже, стихийно, в форме и содержании его литературного творчества. Это творчество отражает открыто, ясно, без комментариев, описательно все слабости и половинчатость, все колебания и сомнения того общественного слоя, который он представляет. Поэтому у него в некоторых случаях более пластично выступает проблема общности либерализма и фашизма, чем это имеет место у теоретически более ясных защитников либерализма. Таково отчаяние по поводу покинутого и предательски обманутого «вождя» во «Флориане Гейере», такова «тоска» по вожде, который восстанавливает «единство» раздираемой противоречивыми интересами нации. То обстоятельство, что эта сторона проблемы «Флориана Гейера» лишь теперь, лишь для национал-социалистической публики получает первостепенное значение, ничего не меняет в самом факте.

Очень часто бывает, что в истории воздействия художественного произведе-

ния на публику выступают на первый план в различные периоды различные стороны, различные моменты того или иного художественного произведения, в зависимости от эпохи и от потребностей публики, обусловленных ее классовой принадлежностью. Конечно, при этом возможно, что первоначальное, истинное содержание художественного произведения будет изменено, перетолковано до неузнаваемости. Однако в случае с Гауптманом это не имеет места. Его произведение перетолковано по-новому, но эта новая интерпретация не переходит в искажение или извращение. «Тоска по вожде» автора «Флориана Гейера» несомненно и не бессознательно обращена на Гитлера.

Однако между этой «тоской по вожде» и мифологией вождя у гитлеризма имеется объективная, историческая, классовая связанность. Гауптман отнюдь не является Иоанном-крестителем Гитлера. Вместе с тем однако та ступень развития класса, бытие и сознание которой в художественной форме изобразил Гауптман, представляет собой исторически тот этап, к которому восходит национал-социализм. Он возник в действительности эволюционным путем, не изменив объективно классовых основ — этих социальных основ общества.

Половинчатость, нерешительность, ничтожество всего этого периода развития германской буржуазии, — таковы объективные предшественники гитлеризма.

Эта связанность остается, несмотря на то, что большинство идеологов на этой либеральной ступени развития, их, так сказать, либеральная фракция, преследуется социалистами, несмотря на то, что они гласно или в тиши своих кабинетов мнят себя резкими оппозиционерами в отношении национал-социалистов. Ибо, поскольку они раньше или позже не найдут пути к оппозиционному рабочему классу, их оппозиция останется лишь мнимой оппозицией, которая объективно лишь содействует укреплению гитлеровского режима, оппозицией, которую фашизм раньше или позже, различными путями включит в систему «консолидации»

своей власти. (Отдельные попытки в этом направлении уже осуществляются.)

Чрезвычайно характерно для Гауптмана, что он даже не притрагивается к такого рода оппозиции, что он, несмотря на удаление из Литературной академии других представителей «Веймарской республики» (Томас Манн и др.), все же остался в ней. Мы не говорим уже о тех, которые, как например Рихард Гух, ушли из академии «добровольно», еще до чистки.

Хотя мы и отмечаем этот момент как весьма характерный для Гауптмана, мы тем не менее не стремимся упростить вопроса и объявить его фашистом.

Нет, пришел момент взаимной терпимости. Как долго он продолжится для Гауптмана и куда он его приведет, это будет зависеть от объективного развития классовой борьбы в Германии.

Стал ли тем самым Гауптман ренегатом? И да, и нет.

Творец «Ткачей» в роли члена фашистской Литературной академии, это — довольно печальное зрелище. Объективно этот факт является потрясающим падением, которому нет равного. Однако он не представляет собой случая личного «отпада». Гергард Гауптман последовательно проделал путь своего класса. Последовательно постольку, поскольку он является участником всех колебаний, всех унижений, всей половинчатости и ничтожности буржуазии и в своих произведениях изображает все эти моменты. Обозначать как ренегатство путь от довоенного либерализма через Эберта к приятию Гитлера было бы равносильно безмерной переоценке революционного значения прежних этапов. Гергард Гауптман в настоящее время является таким же представителем либеральной буржуазии Германии, как и ко времени появления «Флориана Гейера», как и в период Эберта.

Как однако случилось, что, несмотря на все это, Гауптман не сделался жалким писакой, а возрос до драматурга в европейском масштабе? (Конечно в масштабе современной ступени развития буржуазии.)

Задачей последующего изложения и будет выявление этого обстоятельства.

Автор придерживается того мнения, что данный уже им однажды образ Гауптмана не нуждается в пересмотре.

Личность Гауптмана

В своей статье «Легенда о Викторе Гюго» Поль Лафарг дает следующую характеристику Гюго: «Этот подсолнечник, в силу своих естественных свойств, был осужден на то, чтобы всегда тянуться к солнцу...» Этими словами Лафарг описывает определенный тип писателей, к которому как нельзя лучше подходит и Гауптман. Такого свойства писатели не являются непосредственно служителями того класса, к которому они принадлежат — ни в смысле сознательной борьбы за классовые интересы, ни в смысле делового обслуживания господствующих в данное время течений этого класса. Такие писатели скорее высказывают наивно, стихийно, доверчиво, будучи сами в этом субъективно убеждены, то, что у них лежит на душе. Они даже готовы к тому, — и отчасти уже осуществляют это, — чтобы смело ринуться в оппозицию против политических властителей или против литературных модных течений.

Однако по содержанию и по форме эти добросовестные высказывания представляют собой не что иное, как то, что переживает, думает, к чему стремится средний человек данного класса.

Гергард Гауптман как бы представляет собой чистую культуру этого класса. Он является самым настоящим писателем в традиционном смысле этого слова. Он как бы Эолова арфа: ветер касается струн, и струны звучат в соответствии с направлением и силой ветра. Однако этот ветер, пробегающий по струнам, представляет собой лишь дыхание либеральной буржуазии Германии или ее интеллигенции. Гауптман без разбора воспроизводит все противоречия общественного положения этого слоя и ее длинной, но не очень славной истории развития — с 1890 года до настоящего времени. Он делает это очень наивно, не признавая этих противоречий противоречиями, даже не чувствуя их как таковые. Вместе с тем

он передает их художественно, образно. Это значит, что то или иное его произведение не является непосредственно прямо выражением идеологии либеральной буржуазии. Вместе с тем эта идеология непосредственно наивно отражается в его произведениях, однако как результат, не как путь, не как процесс.

Ключ к продолжающемуся, хотя и уменьшающемуся, влиянию Гауптмана надо искать в том обстоятельстве, что Гауптман в своих произведениях выявляет самую непосредственную, самую тривиальную сущность либерального буржуа, при чем делает это в такой форме, которая, повидимому, высоко подымается над этим пошлым бытием, которая является, повидимому, высоко индивидуальной и оригинальной, которая несет в себе глубокие следы истинных переживаний, истинно творческой борьбы с этими переживаниями. Именно это противоречие между содержанием и формой, диалектическое единство которых — классовое единство между этой формой и этим содержанием — чувствуют и не понимают читатель и зритель, и есть ключ к пониманию Гауптмана.

Сколько молодых поколений этой буржуазии и ее интеллигенции «отпали» от Гауптмана и пожертвовали им для «новых богов», начиная от Метерлинка и кончая представителями течений «нейе захлихкайт»! Тем не менее Гауптман пробился сквозь все эти «бури» и остался литературным представителем современной буржуазии Германии.

Значительная часть его противников, по мере вступления «в зрелость», все более осознавала именно это значение Гауптмана. Такого рода влияние писателя и его произведений весьма схоже с влиянием Виктора Гюго. Эта схожесть основывается на однородном соотношении между литературными представителями и классом, ими представляемым. Однако в этом пункте кончается их сходство.

Ибо Гюго и Гауптман представляют столь различные стадии развития буржуазии, при этом еще в различных странах, что естественно, что у них со-

держание и форма должны быть резко различны.

Тем не менее остается еще некоторая аналогия между Гюго и Гауптманом: подобно тому, как каждое слово старого Гюго, как бы оно ни было плоско и реакционно, получало особое значение вследствие лишь того, что исходило от «великого противника» Наполеона III, точно так же самое пошлое примиренчество с существующей действительностью у Гергарда Гауптмана возводятся на пьедестал лишь потому, что примиренчество исходит от автора «Ткачей». Революционное прошлое писателей придает их консервативному настоящему особую прелесть и повышенную притягательную силу: если такие «столпы», такие «герои революционной оппозиции» призывают к примиренчеству, то можно со спокойной совестью следовать за ними.

Оппозиция в юности

Если мы, таким образом, включим «Ткачей» из прошлого Гауптмана как необходимый элемент в сферу его актуального влияния, то необходимо прежде всего проследить зависимость между Гауптманом сегодняшнего дня и автором «Ткачей».

Остался ли он «все тем же», как говорят многие из его почитателей, или он отошел от революционной линии своей молодости, стал ренегатом?

Мы полагаем, что оба эти воззрения неправильны. Гауптман развивался органически, хотя и прямолинейно, начав с «Восхода солнца» и кончая «Закатом».

Но принципы его развития кроются не в его личности, а в том общественном слое, наивным выразителем которого он был и остался. Тот тупик, в который все более упирался бисмарковский режим в течение 90-х годов, укрепление рабочего движения, несмотря на закон о социалистах, и начавшийся одновременно расцвет германского империализма (стадия перехода «насыщенной» Германии к борьбе за «место под солнцем») вызвали к жизни сильную, идеологически чрезвычайно неясную,

оппозицию на левом крыле буржуазной интеллигенции. Толстой и Ибсен, Ницше и социализм перемешались в этой оппозиционной идеологии, которая в литературе приняла форму борьбы за естественную правдивость против цветистой пустоты или бессодержательности господствующей литературы. Вместе с тем эта оппозиция не понимала, что она и здесь боролась лишь с поверхностными явлениями, что многое из того, что она признавала, самым тесным образом было связано с течениями, против которых она боролась. Вполне понятно поэтому, что такого рода оппозиция прежде всего искала сближения и даже смычки с рабочим движением. В то время молодые интеллигенты, начиная с Пауля Эрнста до Германа Бара, массами примыкали на короткое время к рабочему движению. О том, какая неразбериха творилась при этом в головах этих интеллигентов, свидетельствует тот факт, что человек такого формата, как Франц Меринг, примкнувший в тот же период времени, хотя и по другим причинам, к социал-демократам, еще в 1892 году мог видеть в Ницше «переходный пункт» к социализму. («Нейе дейтунг.») Возникший на такой почве «социализм» представлял собой отчасти «поэзию большого города», воспринимавшуюся с повышенной чувствительностью, отчасти мелкобуржуазную жалость к «обездоленным», отчасти опозитизированную утопию приближающейся «большой катастрофы». Тем самым был с самого начала обеспечен быстрый возврат этой интеллигенции к чистой буржуазной идеологии, что и случилось, как только произошел переход к открытой империалистической эре и как только был изжит переходный кризис.

Гергард Гауптман выделяется из рядов этой клики благодаря определенной, весьма плодотворной для этого периода, трезвости. Он никогда не сделался социал-демократом. Вместе с тем он не проделал также прыжка от романтического социализма к романтическому превозношению вильгельмовской эры.

Он был и остался в либеральной оппозиции к вильгельмовской эре. Эта

оппозиция особенно сильно и художественно проявляется в его произведении «Бобровая шуба» (1893). В нем Гауптман нашел в борьбе с вильгельмовской Германией такие острые, такие резкие слова, каких он уже не находил в дальнейшем. Эта энергичная оппозиционная позиция, занятая им, способствует созданию столь исключительно счастливого построения отдельных сцен, столь удачного подчеркнута сатирического диалога, какие ему уже больше не удаются в течение всего дальнейшего развития его творчества.

Если однако внимательнее приглядеться к этой комедии, рисующей удачную партизанскую войну lumpen-пролетариев против имущих, партизанскую войну, облегчаемую слепым преследованием либеральных элементов со стороны кайзеровской Германии, то станет ясно, что комедия эта направлена против «германской» формы капиталистического господства, а не против него как такового.

Это раскрывает также предельный пункт творчества Гауптмана.

Мы должны точно определить этот предел не потому, что мы ставим в упрек Гауптману то обстоятельство, что он был пролетарским писателем. Совсем наоборот. В этом его лучшем произведении так явственно проступают его достоинства и его недостатки, что оно как-раз очень пригодно для того, чтобы служить масштабом для его позднейшего развития.

По этому произведению мы можем убедиться в том, что его сильные и слабые стороны не являются «индивидуальными» свойствами Гауптмана, а, наоборот, они отражают лишь свойства его класса. Как-раз потому, что Гауптман, как мы уже указали, подобен Эоловой арфе, звучащей лишь от ветра, для него все зависит от того, какой ветер дует в либеральной буржуазии.

Индивидуальнейшие способности Гауптмана — его исключительная способность наблюдения внешних форм жизни, его способность выявления типического в этой жизни, его не менее необыкновенная способность живого изложения наблюдаемого, — все эти его свойства

теряют в своем значении постольку, поскольку содержанием наблюдаемой и изображаемой им жизни является классовая идеология идущего к быстрому закату класса и даже идеология лишь той части этого класса которая вынуждена боязливо остерегаться выяснения причин событий и продумывания до конца встающих перед нею собственных проблем. Вот какой ветер заставляет звучать Эолову арфу гауптмановского литературного таланта! Поэтому и резкость его самой лучшей комедии очень поверхностна, она более остра, чем бичующая. Поэтому с дальнейшим развитием буржуазии как класса эта острота силою вещей обращается в случайную колкость. Стоит сравнить лишь его «Бобровый воротник» с другой являющейся продолжением первой пьесой «Красный петух» (1901). Общественный политический фон партизанской войны в этой последней пьесе совершенно исчез. Уже знакомый по первой комедии представитель кайзеровской власти фон-Верхан так же глупо ведет себя на сцене, как семь лет тому назад, и так же препятствует «раскрытию преступлений». Однако он не внес ничего существенно нового в самое действие. В то время, как все действие в «Бобровом воротнике» сосредоточено на сатирических выпадах против него, против системы, представляемой им, во второй пьесе в ту же партизанскую войну выдвигается частная проблема «человеческой морали».

С исчезновением общественно-политического момента в действии представитель государства становится излишней эпизодической фигурой. Вместо острой сатиры выступает случайная колкость.

Этот возврат к частным проблемам, проблемам человеческой морали, Гауптман проделал не совсем прямым путем. Однако каждая его попытка вновь вернуться к общественным проблемам общего характера все резче и резче обнаруживала, что Гауптману не осталось больше ничего сказать, что ветер все более и более робко колеблет струны его арфы. «Ткачи» являются единственной и неповторимой удачей его жизни. Это его произведение, вызван-

ное к жизни под влиянием того переходного кризиса, во время которого растущая мощь пролетариата привела к позорному поражению попытку разрешения Бисмарком «рабочего вопроса» при помощи кровавой бани и абсолютизма, носит в себе — по выбору материала и по композиции — все выдающиеся свойства творчества Гауптмана. И удачный выбор темы почти скрывает пределы этого творчества.

Изображение страданий и взрывчатой силы пролетариата само собой напрашивалось в той исторической ситуации, в которой находилась, как мы уже указали, Германия (другие писатели, в том числе Хальбе, тоже делали аналогичные попытки). Гауптману, с одной стороны, удалось благодаря тому, что он укрылся в прошлое, избежать изображения современных форм эксплуатации, как и изображения актуальной борьбы. Но именно благодаря этому обстоятельству он сумел, с другой стороны, представить истинную, бескомпромиссную картину этой эксплуатации и этого стихийного восстания. (И даже старый ткач Хильзе в 5-м акте, в котором мы уже отчетливо видим Гауптмана позднейшего времени, остается в пределах этого исторического обрамления на своем месте.) Там, где Гауптман мог передавать только факты, сценически оживлять на сцене их естественное сочетание, там, где он не принужден был представлять изображаемое в общественно-исторической связанности, там оказалось возможным смелое и выдержанное изображение действительности: его тонкий талант передает, который и здесь не пытается проникнуть в глубины, выявить движущие силы событий, все же передает здесь частичное движение, кусок из прошлого — цельную картину.

Неудачи общего характера

Исторически до известной степени верно, что восстание ткачей было направлено лишь против способа и бесчеловечной степени эксплуатации, но, по крайней мере сознательно, не против эксплуатации как таковой.

Конечно, общая буржуазная оценка чрезмерно преувеличивает это сравнительно незрелое восстание ткачей. Даже Меринг — в полемике против правильного анализа Маркса — слишком считается с этой оценкой. Но эти исторические рамки тогдашнего лишь вспышками пробуждавшегося рабочего движения в Германии ни на одно мгновение не воспринимались Гауптманом как исторические рамки или вообще как рамки. Наоборот. Эта его художественная идентификация с рамками, указанными ему историей, сделала для него возможным создание этой драмы, сделала ее также приемлемой для первоначально сопротивлявшегося ее признанию читателя. С этого момента для Гауптмана стало возможным лишь движение назад. Мы уже указали при разборе его еще очень оппозиционной пьесы «Бобровый воротник», в которой особенно конкретно и актуально выступает общественное содержание пьесы, на возможные границы этой оппозиции.

Драма о крестьянской войне «Флориан Гейер» (1895) систематизирует в духовном и художественном отношении все эти границы и противоречия. Поскольку Гауптман изображает в ней не отдельный эпизод, не местное, частичное движение, а борьбу в национальном масштабе, его восставшие крестьяне уже обращаются в грубую и кровавадную «чернь», их плебейские вожди — в бессовестных и трусливых «демагогов». При этом в самых темных красках изображаются и государство, и «реакция».

И среди двух «бестий» бессильно погибает «либеральная», светлая личность, Флориан Гейер. Замечательна уже самая композиция пьесы. Флориан Гейер появляется на сцене всегда в середине акта, когда несчастье, которое он предвидел, но и против которого он никогда серьезно не боролся, уже наступило или когда о нем оповещает особый посланец. И его роль состоит в том, чтобы в «глубокомысленном» настроении комментировать это несчастье. При этом художественная честность Гауптмана заставляет его чистосердечно и искрен-

но изображать эту печальную и, помимо его воли, меткую сатиру на либерального политика, он сам при этом даже ни на одну минуту не чувствует комической стороны ее.

Пауль Шленгер с истинным классовым чутьем узрел во Флориане Гейере Гауптмана короля Фридриха либеральной исторической легенды. Хотя действительность далеко превзошла голую фразеологию творения Гауптмана, буржуазия, может быть, поэтому и отклонила сначала «Флориана Гейера». Необходимо было произвести еще дальнейшее вылушивание ее идеологии, необходимо было еще более решительное приспособление к специфическим формам германского империализма (как например бюлловский блок между консерваторами и либералами) для того, чтобы ничтожный Флориан Гейер Гауптмана вдруг стал для либеральной буржуазии «светлым образом» прошлого. (Мы уже видели, как этот светлый образ влияет на его современных фашистских критиков.)

Эта линия прививается, последовательно и быстро.

Эта жалкая беспомощность проявляется еще более резко, чем во «Флориане Гейере», в произведении «Юбилейная пьеса в немецких стихах»¹⁾ (1913). В ней изображается французская революция, этот основной исходный пункт для германской крестьянской освободительной войны, при чем изображение это ведется в мещанском стиле испуганного обывателя, стиле, который впервые ввел в литературу Шиллер. («Женщины да станут гиенами...» У Гауптмана: «Внутренности будут выпотрошены из животов...» То обстоятельство, что Людовик XVI является мучеником à la Христос, разумеется само собой.)

Наполеон — это театральное пугало. О роли его для революции, о роли его как исполнителя буржуазных заветов революции Гауптман не имеет никакого представления. Поэтому он не имеет также и представления об основных внутренних противоречиях, о неразрывной сплетенности прогрессивных и реак-

ционных тенденций этого освободительного движения.

Мы повторяем вновь: мы вовсе не требуем от Гауптмана марксистского признания того, «что все имевшие место освободительные войны против Франции носят на себе один и тот же штемпель возрождения, сочетающегося с реакцией».

Но он не заметил, совсем даже не заметил тех разногласий, которые привели Гете и Гегеля к тайной оппозиции против освободительных войн и которые едва не превратили Гейнриха фон-Клейста в ограниченного юнкера-реакционера.

Он заставляет все крупные фигуры эпохи произносить выдержки из их известных — частью непонятных, частью безнадежно опошленных — произведений. В своем произведении «Athene Deutschland» он в заключение без разбора произносит как-раз такие слова, которые особенно ясно выявляют все противоречия:

«Освободите Германию от господства чужих!»

«Забойтесь о том, чтобы Германия стала единой!»

«Будьте сами свободны! Будьте сами свободны!»

Все это свидетельствует о том, что Гауптман повторяет в своих произведениях в замаскированной форме все самые плоские либеральные исторические иллюзии: восторженное участие империалистической политики при смиренном провозглашении либеральных «пожеланий». При этом следует еще заметить, что понятие «свобода» у Гауптмана весьма двусмысленно сбивается со своего либерально-политического значения на «внутренне-человеческое». Вышеприведенная цитата свидетельствует о тенденции понимания свободы в неокантианском смысле, при котором эта свобода сочетается со всяким политическим режимом, может быть (внутренне) осуществлена при всяком режиме.

И в этом пункте либеральное понимание истории изображается Гауптманом таким образом, что современные фашистские критики Гауптмана без большого труда в состоянии рассмотреть

¹⁾ Das Festspiel in deutschen Klimea.

его как своего «туманного предшественника». Но и это понимание истории оказалось неприемлемым для официальной вильгельмовской Германии (вспомним выступления кронпринца против бреславльского представления). Это обстоятельство, хотя и говорит за то, что Гауптман в этом пункте не допускал сознательного компромисса, а лишь, не критикуя, «изображал» либеральную идеологию, в то же время характеризует всю политическую ничтожность либеральной оппозиции (а следовательно и ничтожность всего ее мировоззрения).

После того, как Гергард Гауптман воспел впервые в плохих стихах свое патриотическое настроение, он вместе с либеральной буржуазией вновь обретает после войны свое пацифистское сердце. Обе его индийские драмы — «Белый спаситель», «Индиподи» (1920) — отражают в эклектической неразберихе тогдашние модные идеологии, например «Бессилие добрых» («Бессилие духа», Макс Шелер), «Борьба богов», как мифология релятивизма (Макс Вебер), проблему вождя, противоречия между сердцем, совестью (пацифизм до толстовского непротivления злу) и разумом (империализм) и т. д. Мы этим отнюдь не хотим сказать, что Гауптман почерпнул свои идеи у Шелера, Вебера и т. д. Наоборот, чем самостоятельнее и субъективно правдивее сложились его убеждения, чем раньше возникла его эклектическая запутанность, тем отчетливее выявляется совместная классовая основа. Правда, имеется и существенная разница: то, что составляло решительную политическую линию у Макса Вебера — выполнение либеральных требований с целью укрепить германский империализм при помощи либерализма, моментами решительно смахивающего на фашизм (беседа с Людендорфом о «демократии» и президеальной власти), — что, соответственно, с точки зрения общего мировоззрения, отвлеченно охватывается дилеммой «нагорная проповедь» и «реальная политика» (империалистическая), как «Борьба богов», — все это Гауптман преподносит в расплывчато-необработанном, прочувственно-запутанном нагромождении.

Но как-раз в этом, как мы уже видели, и состоит художественная особенность Гергарда Гауптмана, как-раз эти свойства позволяют ему осуществлять для либеральной буржуазии свои функции в качестве ее писателя. Поэтому отнюдь не случайно то, что как-раз эти драмы в такой степени выявляют хаотический элемент в творчестве Гауптмана, что они (как это еще имеет место у «Флориана Гейера») даже в отдельных сценах или отдельных моментах не захватывают читателя и зрителя: и в целом, и в деталях эти драмы являются пустым местом.

Эпическая поэма Гауптмана «Тилль Уленшпигель» (1928) по сравнению с его драмами свидетельствует, по крайней мере формально, о какой-то уравновешенности, которая, само собой разумеется, объясняется лишь политическими моментами: это новое произведение Гауптмана издано или по крайней мере закончено по завершении бурлящего революционного периода 1918—1923 годов, накануне нового всеобщего экономического кризиса. В этом произведении заметна также более ясная политическая линия: ориентация на социал-демократию, в особенности на личность Эберта. (Он, этот седельных дел мастер, является спасителем государства.) Это дает возможность упорядочения мыслей в опутывающем его умственном хаосе. Он вновь воспроизводит весь арсенал современных модных философских течений, в особенности все релятивистские и агностические религиозные новшества, различные формы салонного буддизма, таизма завсегда-таев кафе, религий без бога и т. д. Формально этот хаос несколько уменьшается, и только благодаря тому, что Гауптман посредством «юмора» и «фантастики» вновь низводит к нулю то, что он только-что изобразил. Поскольку однако за этим низведением кроются те же беспомощность и пустота, как и за низводившимся ранее, постольку и этого рода спасение лишь кажущееся. Тилль, этот «юмористический» провозвестник «человечности», кончает самоубийством, седельных дел мастер на политическом горизонте тоже не может

оказать ему помощи в разрешении жизненных проблем. Между прочим также и в этом произведении Гауптман, вовсе этого не желая, самым способом своего изложения раскрывает важные классовые моменты. Так он показывает, что для тогдашнего времени социал-демократия являлась для либеральной буржуазии единственной властью, от которой она ждала сохранения «разумного порядка» и спасения от «крови и хаоса». Но на самом деле эта «власть» обеспечивает только внешнее сохранение своего буржуазного мирового порядка. Остается их содержание жизни, их миропонимание. Социал-демократия не в состоянии решительно воздействовать на миропонимание буржуазии. Напротив того, она потому только является «спасителем» и «хранителем», что она сама на службе у этого миропонимания.

Тот факт, что сам Гауптман не понимает этой связанности, — не говоря уже о классовой основе этого процесса, — только резко выявляет его значение.

Отметим еще один момент этой композиции. То, что является содержанием «Тилля Уленшпигеля», то, что автор изображает так «юмористическо-фантастически», принимает по мере развертывания действия все более и более частный характер. Даже бегству из жизни предшествует уход из общественной жизни в частную.

Это очень существенный момент в творчестве Гауптмана. Он выявлялся уже более или менее отчетливо и у главного героя «Индиподи», печальной карикатуре на Просперо из «Штурма» Шекспира, и даже в более раннем его произведении — в «Шлюк и Яу» (1900). Со времени провала «Флориана Гейера», в котором он пытался изобразить общественно-общечеловеческое, все более резко выявляется тенденция перехода к личным, частным моментам жизни своих героев. За поражением следует бегство. И это бегство резко обнажает — часто в отдельных мелких штрихах — либерально-буржуазный характер его творчества. В его последней, тематически чисто личной драме «Перед закатом солнца» (1932) между прочим вы-

является и значительный контраст между «королевским купцом» прежнего (вильгельмовского) времени и «спекулянтом» послевоенного времени: бывший оппозиционер вильгельмовского периода тоскует по «культуре» прошлого, которая ему действительно обеспечивала «спокойствие и порядок», «ответственность» и «просвещение». Пойдет ли это отступление Гауптмана от изображения «общественного» ускороженным темпом или на горизонте появится «в качестве спасителя» каменщик Гитлер, это будет зависеть от развития классовой борьбы в Германии. В личности Гауптмана заложены обе эти возможности.

По пути этого отступления Гауптман все более и более становится писателем «частно-человеческого», писателем, изображающим единичные судьбы.

Было бы неправильно упрекать его в этом. Изображение преимущественно частных судеб, как непосредственное содержание творчества, вытекает из самого существа буржуазного общества и из общественной роли буржуазии. Это конечно не помещало великим писателям периода расцвета буржуазной литературы обнажать на этих частных судьбах все жизненные проблемы буржуазного общества. Однако по мере того, как ослабевали способности к решительным и логическим выступлениям, по мере того, как выдвигалось мифическое начало, сводившее общественную власть к совершенно иррациональной «душевной» или «биологической» судьбе, частная тематика отрывается от общественной, хотя объективно и по содержанию она остается связанной с первой.

Тематика теперь, действительно, становится исключительно частной. Она сохраняет свое общественное значение, свою возможность влияния только благодаря тому, что именно эта форма уклонения от актуальных современных проблем, эта манера маскирования взаимной связанности является типической для того класса формой защиты, формой «примирения» с действительностью, утаивания противоречий.

Мы отнюдь не утверждаем, что все затронутые Гауптманом проблемы не

имеют значения. Проблемы брака, призвания, любви и т. д., являющиеся темами более поздних драматических произведений Гауптмана, — они важны и как методы обсуждения этих проблем Гауптманом, методы, представляющие собой во всяком случае характерное отлынивание от четкой постановки вопросов и четких решений.

Мировоззрение

Было бы слишком прямолинейно и поэтому неправильно утверждать, что Гауптман готов был бы просто «из'ять» из действительности проблематику современной буржуазии. Помимо всего, эта проблематика имеет за собой большую и богатую буржуазную литературу. Особая функция великого «писателя» современной буржуазной литературы выступает не так явно и прямо. Самые факты буржуазной жизни, как например распад семьи, не должны затухать или отрицаться. Однако этот изображаемый писателем распад преподносится как единичный случай (хотя тематически и формально каждый изображаемый случай является непосредственно единичным случаем). Этот случай не должен быть идейно обобщен, как это делал еще Ибсен. Обобщение — а без обобщения нет и влияния — должно совершаться иррационально, по настроению, то-есть в изображении персонажей должно быть всесторонне и исключительно подчеркиваемо чисто индивидуальное начало, «исключительное», то-есть психологическое, даже психопатологическое начало. «Судьба», в образе которой тайно выступает объективное общественное противоречие, тонет в тумане эмоционального психологизма. Для того, чтобы не лишить художественное произведение всякой нотки общественного начала и тем самым всякого влияния, эта «судьба» все-таки представляет собой — опять-таки эмоционально, опять иррационально — какую-то абстрактную общественность. Она предстает перед нами в форме такой человеческой судьбы, перед которой мы, потрясенные, должны остановиться и задержать на ней свое вни-

манье. Полная неспособность класса осмыслить собственное общественное бытие, жизнеощущение отдельных его членов, которые в вопросах поведения лишены классовой идеологии с ее определенным содержанием, с ее заповедями, запретами, перспективами и т. д., — все это выливается в туманное абстрактное понятие «судьбы». Всеобщий европейский успех нелепых драматических сказок Метерлинка можно об'яснить лишь этим идеологическим состоянием. С другой стороны, совершенно ясно, что такого рода постановка вопроса как-раз оказалась важной для либеральной буржуазии и в особенности для ее интеллигенции: в революционный период буржуазного общества она освободилась от избыточной морали. Эта мораль продолжает еще существовать (при чем ее в каждом отдельном случае лицемерно обходят) среди аграрной буржуазии. Собственная буржуазная мораль оказывается однако совершенно безропотной в отношении фактов империалистической эпохи, которые она также и идейно не в состоянии осилить. Этот идеологический распад сопровождается религиозностью без догм и даже без бога, сохраняющей однако по своему содержанию все «эмоциональные ценности», все последствия, вытекающие из христианства как мировоззрения; релятивизмом, который надеется влиять на действительность субъективно-эмоциональными прикрасами (характерно, что все позднейшие релятивисты от Зиммеля и Макса Вебера до Мангейма с горечью отражают упреки в релятивизме); субъективным идеализмом, который желал бы перескочить через свою собственную тень и вытащить себя, как Мильгаузен вытащил себя за собственную косу, из могилы солипсизма.

«Творческие глубины»

Став, так сказать, «зрелым писателем», Гауптман действительно сделался литературным представителем буржуазии. Он воспроизводит в наивной непосредственности все то, что наиболее ясные и светлые умы его эпохи едва

осмеливались произнести, а произнесся, частью сознательно, частью бессознательно, отрекались от сказанного. «Известно, Геншель» (1893), которым он смело начинает этот период своего творчества, по существу равнозначен Метерлинку. Это — Метерлинок, пропущенный через натуралистическую технику. И эта натуралистическая техника, от которой Гауптман никогда целиком не отделяется, еще резче выявляет основные противоречия. Ибо то выделение общего из «особенного», которое, как мы уже указали, составляет основу мировоззрения его творчества, все усиливается и по мере того, как его образы становятся «правдоподобными» во всех своих деталях, по мере того, как самое действие становится обыденнее, типичнее. Как-раз благодаря этому создаваемые им образы и развертывающееся действие еще более расходятся. Если кому-либо пришлось бы внимательно проанализировать самое действие в произведениях Гауптмана (можно взять наугад: «Роза Верндт», «Крысы» и т. д.), то он был бы бесконечно удивлен по поводу того, из какой грубой ткани немотивированных случайностей составилось оно. Вместе с тем он заметил бы, что Гауптман с наивной честностью нагромождает все эти случаи один на другой, будучи уверен, что он тем самым выявляет свое восприятие судьбы. Однако случай остается случаем, и судьба остается судьбой. Диалектический процесс, при котором необходимость прошибла бы все случайности, уничтожая их на своем пути, не проявляет тут своего действия. Здесь скорее чисто субъективно реалистическая связь. Гауптман изображает то, что ему кажется необходимым, изображает таким образом, что его герои лишь задним числом — пост фактум — переживают события: то, что с ними произошло, случилось потому, что это было необходимо. Вспомним например слова Геншеля: «Ты в этом не виноват» — или заключительные слова в «Михаиле Крамере» (1900), или слова фрау Филиц в «Красном петухе». Она говорит: «Этого нельзя изменить, это — глупость. Но, когда людям хотят открыть глаза, из

этого ничего не выйдет... Глупость правит миром. Что мы представляем собой? Вы, я, мы все вместе? Мы вынуждены пробиваться сквозь жизнь, как один, так и другой. Ну и что ж? Мы хотим знать истину. Кто не идет с нами, тот ленив. Кто идет с нами, тот плох».

Эта выдержка чрезвычайно характерна для той «творческой глубины», наличие которой постоянно восхваляют в Гауптмане. Это и на самом деле так: тут наивно — и благодаря этой наивности действительно — выступает вперед весь хаос неразрешимых противоречий, — он выступает как единство, как «картина мира». В то время, как другие писатели пытаются привести в гармонию эти неподдающиеся для них распутыванию клубки противоречий или, наоборот, цинично издеваются над ними, или превращают непонимание этих противоречий в артистическую игру, у Гауптмана все эти противоречия вырываются наружу непосредственно, просто, с субъективной проникновенностью писателей прошедших эпох, писателей, которые в самом деле жили в простых условиях и наивность которых вполне соответствовала содержанию их жизни.

Если однако Гауптман благодаря этой субъективной цельности и занимает своеобразное место среди современных писателей, то этим еще отнюдь не сказано, что он благодаря этим своим свойствам сделался в действительности значительным писателем, изобразителем целой эпохи. Как-раз наоборот. Эта субъективная искренность приводит лишь к тому, что Гауптман вынужден добросовестно принимать участие во всех модных глупостях буржуазии, во всем идеологическом вздоре ее интеллигенции. Она приводит его далее к тому, что он вынужден был эклектически впитать в себя один за другим — с почти мужицкой простотой и тяжеловесностью — все возможные стили от Шекспира до Метерлинка, от Кальдерона до Клейста.

Его тонкий талант наблюдения и его тонкое чутье языка не в состоянии развиться при этих условиях. В длинном ряде его произведений, созданных им на протяжении 20 лет, нет ни одного,

которое имело бы сколько-нибудь длительную ценность.

Эта формальная сторона является, само собой разумеется, лишь последствием его наивного, без критики мировоззрения, участия во всех идеологических течениях либеральной буржуазии. Так возьмем как особо разительный пример вопрос о религии. Молодой Гауптман еще представляет героя своих «Одиноких людей» (1891) атеистом, приверженцем Геккеля. При этом он однако полон понимания и уважения к религиозности старого поколения. В его «Ганнеле» он использует художественно все реквизиты христианства. Правда с «натуралистической оговоркой», что речь идет о бредовых снах. Он делает это еще более решительно в «Эммануиле Квинте» (1910), повторяя мистически стилизованный эпизод из «Михаила Крамера». Здесь Гауптман, с одной стороны, спасает свою «современную» «натуралистическую» совесть, представляя нового Христа как нищего безумца, с другой стороны, он избегает в то же время резкого сопоставления Христа (примитивный коммунизм) и капиталистической действительности. Между тем он может вписать в рамки этих контрастов все эмоциональные эффекты первобытного христианства, теперь его ни к чему не обязывающие¹⁾.

В индийских драмах Гауптмана христианство выдвигается как естественный результат всякой примитивной культуры. В первой драме Гауптману удается еще сохранить либеральный

¹⁾ Отзыв Розы Люксембург об «Эммануиле Квинте» проходит мимо проблем, затрагиваемых в пьесе. Она считает, что пьеса является кровавейшей сатирой на современное общество за последние сто лет. (Письма к Соле Либкнехт. 18. 2. 17.) Она сопоставляет лишь внешне, опираясь лишь на технические моменты, манеру Голсворси изображать своих героев, слишком юмористическую и ироническую, с серьезностью Гергарда Гауптмана. «Под конец он стоит с дрожащими губами и открытыми глазами, в которых видны слезы». Но это отнюдь не марксистская критика. Этот свой эстетизм Р. Л. формулирует как программу в том же письме: «В романе я ищу не тенденцию, а художественную ценность». Это механическое сопоставление — результат школы Меринга. Но применение этого метода у Р. Л. гораздо менее удачно, чем у Меринга.

принцип «постольку-поскольку»: так ему удастся «трагически» примирить религиозный пацифизм Монтецумы с колониальной реальной политикой Кортеца и представить оба эти течения как законные и справедливые явления.

Для правильного понимания Гауптмана необходимо поставить рядом оба эти свойства его: субъективную честность и жалкие объективные достижения. И этот резкий, неисправимый диссонанс, который, хотя и отражает его классовую подоплеку и характеризует его произведение, выступает с очевидностью в «примиряющей ноте» его мировоззрения, его релятивизме, окрашенном религиозностью: все представляет собой беспримерную пошлость, добросовестно выдаваемую за глубокую и глубоко прочувствованную мудрость.

Так выписываю, опять наугад, пример из пьесы «Заложник императора Карла» (1908).

«КАРЛ. Ну, хорошо. Самый длинный день все же кончается вечером.

АЛКУИН. Так же, как за каждой ночью наступает утро.

КАРЛ. Хорошо. Не остается ничего другого, как терпеливо выждать».



Однако эта «глубина», это «понимание», эта «доверчивость» и прежде всего это «сочувствие всякому созданию» не только объективно плоски и ничего неговорящи, но все эти свойства в соответствии с фактами объективной действительности превращаются в объективную неправдоподобность. В молодости Гауптман смутно чувствовал лицемерный характер этой установки. В «Ткачах» фабрикант Дрейссигер «испытывает человеческую жалость» к мальчику-ткачу, падающему в обморок при получении расчета. Лишь после того, как ребенок заговорил о голоде, он приказывает быстро унести его в соседнюю комнату. Но постепенно эти критические просветы становятся все более редкими. Гауптман все решительнее проповедует бессодержательный субъективный идеализм, «примирение» с действительностью, пропущенное через призму «переживания».

«Колокольный звон больше, чем церковная служба. Зов к трапезе — это больше, чем хлеб» («Михаил Крамер»). В том, что Гауптман проповедует на данный день субъективно честно, в этом убеждает нас его длительное влияние на либеральную буржуазию. Кроме того, — мы подчеркиваем это, — читатель внушает себе: так говорит автор «Ткачей».

Бедный Гейнрих Гауптмана говорит:

Глубины пропастей покоятся под килем
корабля,

На котором мы скользим.

И если водолаз туда опустился

И невредимым вернулся на поверхность,

То его смех, если он вновь смеется,

Стоит горы золота.

2. ПИСАТЕЛЬ И ОКРАИНА

(О творчестве Константина Финна)

Б. Гроссман

Уже первая книга Константина Финна «Мой друг» (повести и рассказы), изданная в начале 1930 года, говорила о том, что в советскую литературу пришел талантливый писатель, который «берет» своей наблюдательностью и неплохо видит и ощущает эпоху. Правда, книга эта была далеко не самостоятельна, она свидетельствовала об идейно-художественных колебаниях автора; в ней заметны были и чуждые влияния. Но она обнаруживала и здоровое творческое начало, близость автора к идеологии пролетариата и позволяла ожидать от Константина Финна значительных вещей, в которых колебания и влияния будут преодолены.

Дальнейшее развитие творчества Финна оправдало многие ожидания. Из этого однако отнюдь не следует, что последние произведения Финна свободны от ошибок.

В одном из последних его произведений — в повести «Большие дни» — поставлена проблема переделки людей. Повесть основана на материале строительства завода тяжелого машиностро-

Мы охотно верим Гауптману, что он смеется не из-за золота. Но объективно этот его смех имеет такое же значение, как если бы он сознательно продал себя. Это объективное значение еще резче выступает благодаря честности Гауптмана. Можно конечно пожалеть его как идеологическую жертву идеологического упадка его класса. Однако он, не оказывая сопротивления, принимал участие во всем, что было связано с этим упадком.

Тем самым он добровольно, честно продался как писатель и погубил себя.

Струны Золотой арфы все более ржавеют от плохой погоды, они не звучат более, они лишь стонут.

Таковы, как нам кажется, итоги случая с Гауптманом.

Финн показывает, как постепенно и органически люди втягиваются в новые для них условия жизни и как эти условия переделывают их. Основная тема «Больших дней» — превращение будней в подлинный праздник человека. Герой повести — старик Тимка. Это один «из тех стариков, которые всегда юродствуют, паясничают, из тех стариков, которые знают много интересных историй и еще больше похабных анекдотов, из тех стариков, которые обычно бывают вертлявыми, юркими, которые никогда ни на кого не обижаются, которые живут вприпрыжку и умирают от перепоя». Тимка — своеобразный люмпен-пролетарий. Он пришел наниматься на строительство завода, но его, привыкшего к странствиям и «легунству», отгугнула организованность и плановость строительства. Он вначале решил уйти, но потом под влиянием секретаря комсомольской ячейки Саши остался. Саша и сыграл решающую для дальнейшего пути Тимки роль. Не буду восстанавливать этапов этого пути: сомнений и подвигов Тимки, скажу лишь, что перерождение

Тимки дано Константином Финном без схемы и фальши. «Большие дни» свидетельствуют о том, что К. Финн начинает улавливать типические черты реконструктивного периода, берет характерные явления. «Большие дни» — правдивое произведение, Тимка — реальный человек. Советская страна знает множество примеров, когда выбитый из колеи трудящийся, превращенный в условиях капитализма в «отброс» человечества, выходит в условиях строительства социализма на широкую дорогу общественно-полезной деятельности и становится участником социалистического строительства, становится ударником.

Перевоспитание людей революцией — не новая для Финна тема. В серии «колхозных портретов», составляющих цикл «Земля», в романе «Третья скорость» и в некоторых других вещах эта тема упорно «преследует» Финна и на каждом последующем его творческом этапе приобретает несколько новое звучание. В лучшем из ранних произведений Финна — цикле «колхозных портретов» — изображены люди, создающие колхозы. Это вчерашние мелкие собственники-крестьяне, это председатель колхоза Голубовский, это даже искалеченный войной человек, бузотер-дезорганизатор Савка, который трогательно заботится о детях, живущих в яслях, и возмущается, когда доктор приезжает в ясли в пьяном виде, хотя сам Савка — пьяница. («Но кто из вас видел, чтобы к дитю пьяный подошел?») В «колхозных портретах» встречаются типичные для революционизирующейся деревни семейные конфликты: история семьи Ивана Грекова, его уход из колхозной деревни, сомнения жены, не выдержавшей длительной разлуки с Иваном, и история мальчика Васи, который остается в колхозе. Уже в этом раннем цикле Финн обнаруживает незаурядное художественное чутье и понимание сложности и ответственности материала. Он не заставляет Васю Грекова произносить «выдержанные» речи, а показывает, как в каждом отдельном (но достаточно типичном) случае в человеке борются различные

тенденции, различные начала. Целеустремленность «колхозных портретов» «Земли» выражается в утверждении политики партии, в утверждении коллективизирующейся деревни. Однако и «Земля» — лучшее в «Моем друге» — не лишена серьезных идейно-художественных изъянов. Далеко не всегда Финн берет типичное, характерное. Он слишком увлекается нехарактерными коллизиями, необычными нормами человеческого поведения. Герои Финна — странные люди, чудачки, и вряд ли случайно, фамилия одного из них — Чудачков. Изображать странных людей — этому своему пристрастию Финн остается верен и в других своих произведениях. Нужно также отметить, что первые вещи Финна отмечены сильным влиянием Бабеля. Язык Финна и его персонажей, облик последних (рассказ «Мой друг»), композиция вещей, самый выбор «материала» и подход к нему нередко выглядели, как «копия с Бабеля». Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить рассказ Финна «Мой друг» с рассказом Бабеля «Гдали».

Итак одна из главных тем Финна — перевоспитание людей революцией в процессе социалистического строительства.

В романе «Третья скорость» (1930 г.) интересен образ Антипа Мозолькова, крестьянина-бедняка, ставшего коммунистом, помощником директора совхоза. Антип Мозольков — колоритный образ, социально убедительный. Однако и здесь колоритность Антипа в значительной мере выражается в чудачествах, в неожиданных поступках и словах. Любопытно, что директор совхоза Мотылев, обыкновенный, лишенный каких-либо чудачеств человек, занимающий к тому же не меньшее, чем Антип, место в романе, выглядит куда бледнее и схематичнее Мозолькова!

Ранние произведения Финна отличаются вместе с тем некоторой статичностью, полусозерцательным, пассивным отношением к событиям. Но уже в «Больших днях» — наиболее зрелой его вещи — материал отобран значительно лучше, повествование ведется дина-

мичнее, в нем много объективной правды, а странности Тимки например все социально обоснованы. Финн срезо подошел к теме «юродивого», теме, поразному варьировавшейся в русской литературе. Юродствует Тимка не по прихоти автора, а по необходимости, — капиталистическая Россия виной тому: «юродивый» в образе Тимки — выбитый из колеи трудящийся, которого революция включает в трудовой коллектив пролетариата.

Большое место в произведениях Финна занимают интеллигенты советской периферии (железнодорожная станция, еврейское местечко, городская окраина, уезд).

В повести «Вторая ступень» (1930 г.) фигурирует отсталый уездный город, куда революция пришла очень поздно. «Ей не было смысла задерживаться надолго в этом захолустьем городке. Революция наспех передела в штатский костюм исправника, снимала гербы, трехцветные ленты и ушла дальше, а Сбищенск остался ничего непонимающим, прозевавшим. Через некоторое время пришла другая революция. Коекому из сбищенцев, по провинциальной наивности, показалось, что это та, первая, революция вернулась. Ошибка скоро обнаружилась. Новая революция говорила другие слова, пела другие песни. Сбищенск покорно, как чересчур опьяневший пьяница, повторял эти слова, пел эти песни.

Потом в городе стали меняться власти. Они менялись так часто, что у жителей пропала охота интересоваться подробно каждой из них.

Но вот как-то раз в город пришла советская власть, а с ней вместе прибыл в Константин Глюк».

Комиссар Глюк слабо проявил себя в Сбищенске: он назвал одну улицу Робеспьеровской, другую Тургеневской, «гремел шпорами, отбирал с шумом имущество у местного богаче Чиликина и производил впечатление» да еще влюбился в дочь священника. Когда уехал Глюк, его место занял Горюшкин. Председатель исполкома Горюшкин, активный участник гражданской войны, раненный на фронте, был одер-

жим самыми благими намерениями. Он решил преобразовать Сбищенск созданием школы второй ступени. Он оказался победителем в борьбе с провинциальной косностью, он преодолел неверие и сопротивление учителя Кобякина, который вскоре сам стал организатором школы. Но недолго пришлось существовать учебному заведению в Сбищенске. Приехал хлестаковоподобный Глюк и закрыл школу. Он нагло разрушил лучшие мечты лучших сбищенских людей. Он заставил некоторых из жителей города (например музыканта Сережу Куркова), едва очнувшись от спячки захолустья, снова погрузиться в болото скучного обывательского быта. Восторжествовали мелкие люди, сплетники (учитель Афонькин), для которых интересы общества ниже их привычек. И снова спит невзрачный Сбищенск, городок с «единственной водочкашкой, единственным кино, единственным евреем», городок; у каждого жителя которого «по единственному желанию».

Правда, Финн изображает Глюка как врага, присосавшегося к советской власти; правда, читатель знает, что в конце концов школа в Сбищенске будет прочно организована, но эта уверенность подсказана читателю не столько автором, сколько объективной действительностью, которой очень мало во «Второй ступени».

Ничего не было бы удивительного, если бы в Сбищенске появился учитель Беликов («Человек в футляре» Чехова) или состоялась печально закончившаяся встреча друзей детства Порфирия и Миши («Толстый и тонкий» Чехова), потому что, право же, мало чем отличается Сбищенск Финна от чеховского городка. Но если у Чехова существование и поведение Беликова закономерны и типичны, то у раннего Финна, который находился под весьма ощутительным влиянием Чехова, заметно искусственное воскрешение убитой провинции и унылых людей. Финн попросту подражает Чехову, не замечая, что он заимствует у него не только манеру письма и подход к персонажам, но и мрачные тона в изображении действительности.

Не увидим мы большой разницы между полустанком Тишь и Сбищенском и в романе «Третья скорость». В «Третьей скорости» действуют (вернее бездействуют) те же дряблые интеллигенты, которые мало и случайно связаны с нашей эпохой. Все эти Колокольниковы, Михеевы, Елены Павловны и Оли опять сильно напоминают чеховских чиновников и «сестер». Маниакальны их движения, безнадежны их слова. В наше время, в эпоху войн и революций, они кажутся выдуманными людьми, говорящими тенями. Здесь самый материал не ощущается как реальность, и если, показывая совхоз в той же «Третьей скорости», Финн сумел дать социальным процессам художественное выражение, то, описывая полустанок Тишь, он не смог уйти дальше бледных зарисовок, — ему не на что было опереться в действительности. Мы имеем в данном случае наглядный пример прямой зависимости художественных качеств произведения от социальной его сущности.

Полустанок Тишь и его обитатели не случайны для Финна. В десятой книжке «Красной нови» за 1932 год напечатан рассказ Финна «Семейная история». Место действия — «обычная станция Среднеазиатской железной дороги». Отношение начальника станции Галкина к жене и его кратковременная связь с девушкой Тоней, равно как и взаимоотношения Галкина с телеграфистом Носоведким, представляют мало интереса и не образуют, собственно говоря, стройной фабулы. Герои «Семейной истории», в которых нет ничего героического, двигаются, разговаривают, волнуются, любят, ревнуют. Но они — неживые люди. Как и на полустанке Тишь, они ограждены от мира подлинных человеческих страстей высоченной стеной, через которую лишь внезапно прорывается революционный вихрь. В «Третьей скорости» это был, собственно, не вихрь, а легкий ветерок, выразившийся в том, что на полустанок вдруг приехали какие-то люди и выгрузили ящики (для стройки совхоза). В «Семейной истории» роль вихря играет узбек Файзулла — стрелочник, потом

помощник начальника станции. Внезапно Галкин замечает, что Файзулла сильно вырос политически, что он фактически «выполняет всю работу по станции». Сразу изменяет Галкин отношение к Файзулле, находит в своем прошлом какие-то маловнятные революционные заслуги и говорит: «Из всего этого вы можете заключить, Файзулла, что я тоже». Сразу все меняется. Галкин и его жена включаются в общественную жизнь, их движения убыстряются, а Файзулла произносит перед «людьми в халатах и тюбетейках» речь об Октябрьской революции. Поражают не самые эти эпизоды, а их внезапность, неподготовленность, разорванность ткани повествования, оторванность людей от социальной среды.

На примере «Семейной истории» мы видим, что писатель, установивший для себя определенную систему расстановки людей, когда он попытался ее разрушить, встретился с большими трудностями и впал в схематизм. Раньше он искусственно воскрешал чеховский мир людей и вещей, теперь он начал улавливать типичное в нашей действительности, но не умеет еще живо показывать переорождение людей.

Но «Семейная история» имеет и свое положительное значение, — в ней Финн освобождается от ложного подхода к интеллигенции, как к замкнутой в себе социальной единице. «Семейной историей» он нащупывает новый для себя путь, но то и дело сбивается с него, уходя на полустанок Тишь или «обычную станцию Среднеазиатской железной дороги», которые конечно же в нашей стране необычны и которые многим отличаются от «вокзала Николаевской железной дороги», где «встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий».

Интеллигенты Финна аморфны и бескровны потому, что они изолированы им от «прочего» мира. Когда же он ломает перегородку, отделяющую интеллигента от рабочего, и пристально всматривается в жизнь, персонажи его освежаются.

В повести «Большие дни», о которой говорилось уже выше, писатель и читатель радостно ощущают жизнь. Произ-

ведение это отличается в частности тем, что в нем образы интеллигентов ярки и правдивы. У них еще сохранилось сходство с другими интеллигентами Финна, но как по-разному подходит писатель к их изображению! Голубков, сын мелкого чиновника, служивший в советском учреждении в качестве делопроизводителя, затем перебравшийся на производство, — тоже мелкий человек, родственник Галкину из «Семейной истории», Колокольникову из «Третьей скорости». Голубков показан как чуждый пролетариату человек, как карьерист, стремящийся пролезть в партию; Голубков, подобно Галкину, тоже копается в себе, но он действует, как активная сила, как враг. Очень интересно столкнул автор Голубкова с другим интеллигентом — инженером Воробьевым, который работает формально честно, но которому глубоко наплевать на стройку завода, на социалистическое соревнование. Воробьева не радуют перспективы соцстроительства, они чужды ему. И Голубков, и Воробьев — мелкие люди, принадлежащие к худшей части интеллигенции. Лучшие ее люди — инженер Кожин, заявляющий Воробьеву: «Руководить монтажом мартена должен человек, страстно желающий пуска этого мартена», и учительница Мария Федоровна. В «Больших днях» нет примитивного противопоставления лучших худшим, ибо формирование тех и других дается художником как процесс, а не как готовая схема. И Мария Федоровна не сразу пришла в ликбез и газету, и Кожин не свободен от остатков интеллигентщины. В «Больших днях» Финн правдивее, чем прежде, показывает людей. Повесть захватывает читателя своей эмоциональной напряженностью. Если в некоторых ранних вещах Финна диалог статичен и однообразен, то в «Больших днях» (хотя и эта вещь не свободна от недостатков и оставляет впечатление некоторой незаконченности) диалог «звучит», он выразителен.

Финн уделяет большое внимание и прошлому, капиталистической России. При чем и здесь он пишет об «окраинных» местах и людях. Повесть «Окраина», переработанная автором вместе с

Бор. Бернетом для экрана, как и «Большие дни», является бесспорным достижением Финна. Она основана на одном из «маленьких» конфликтов, порожденных империалистической войной. Мария Грешина, дочь портного, влюбляется в военнопленного Фридриха Раскоттена. Неприязнь к немцу со стороны приятеля ее отца — сапожника Филова — постепенно исчезает, когда он узнает, что Раскоттен — сапожник. Но шовинистический угар, добравшийся и до окраины, грубо разрушил намерения Марии и Фридриха о возможности их супружества. Раскоттена избивают угоревшие от «патриотизма» обыватели. В «Окраине» есть замечательное по силе и правдивости место, когда Раскоттена спасает находчивость Филова («Он не немец, — закричал отчаянно Филон, — он не немец, он — сапожник»).

«Окраина» — талантливая повесть, в которой художник тонко и мастерски вскрыл российскую действительность, повесть, в которой без натурализма даны ужасы империалистической войны, зависимость личной жизни от социальных условий. Такова тема «Окраины». И самоубийство Раскоттена, и женитьба Филова на Марии, и пассивность Грешина, и нападение извозчика Смелчакова, лишившегося последней пролетки, слепо возненавидевшего Раскоттена, — все это сущ е с т в е н н ы е черточки дореволюционной российской действительности. Интернационально-классовое звучание «Окраины» с экрана усиливается благодаря тому, что сценарий отличается еще более убедительной и типичной постановкой классовых сил. Передовой рабочий-революционер, затем солдат, свободный от шовинистических иллюзий, Коля — изумительный образ, созданный авторами и артистом театра Мейерхольда Боголюбовым, — является воплощением передовых, большевистских идей. Зритель не знает, умрет ли раненый Коля, останется ли жив, но это не так важно, ибо победила революция, победило дело Коли.

Унылая, в сущности, жизнь проходит перед нами, но такова она и была до революции в этих глухих углах. Разве несчастная Мария, тяготившаяся одиноче-

ством, не имеет прототипов в капиталистической России? Разве слепая ненависть извозчика Смельчакова к немцу сапожнику Раскоттену не делает наглядными очаги шовинистического угара?

Трудящийся ремесленник, барахтающийся в противоречиях, которые он не в состоянии разрешить и ликвидировать, — вот герой повести «Окраина». Таким же, в сущности, ремесленником является и «писатель» Ушаков, убажующий души своих соседей, жаждущих любви, писанием любовных посланий («Любовная история» — повесть, напечатанная во второй книге «Красной нови» за 1933 г.). Ушаков однако не мог ни перестроить свою жизнь, ни убажовать соседей, потому что любовь оказалась лишь иллюзией лучшей жизни. Жизнь влюбленных, которых «венчал» Ушаков («клиенты его — мастеровые, сапожники, портные»), быстро становилась далекой от счастья. Муж избивал жену, «точно не сидел он с ней две недели назад в саду и не говорил тщательно заученной фразы: «Цветет акация. Вы не удивляйтесь, Поля, акации нет, но она цветет в моем сердце». Это потому, что я люблю вас».

Правда, и здесь, прочитав хотя бы приведенные фразы, мы невольно вспоминаем А. П. Чехова. Однако влияние Чехова носит в «Любовной истории» «местный» характер и не распространяется на отношение Финна к изображаемой действительности. Капитализм поработал все — даже любовь. Таков смысл хорошего лирического рассказа «Любовная история», написанного в приподнятых, взволнованных тонах.

Социализм раскрепощает человеческие чувства — таков смысл другого рассказа Финна «Василиса» («Правда» от 17 марта 1933 г.). «Степенный и тихий Николай Степанович Терентьев, который, казалось, даже побаивался расторопного своего сына, избил его, когда тот объявил ему, что хочет жениться на Тоне Светловой, хорошей девушке, примерной комсомолке. Да и тайны, собственно, в этом ни для кого, в том числе и для Николая Степановича, не было: вся деревня знала, что Сергей и Тоня влюблены друг в друга». Тем не

менее колхозник Терентьев избил своего сына-комсомольца. Конфликт между отцом и сыном (позже Терентьев старается загладить вину), основанный на столкновении двух разных эпох, двух миров, нашел в «Василисе» яркое, художественное разрешение. Здесь нет замкнутого круга людей, зато есть типические черты действительности. И не приходится упрекать Финна в том, что он копается в душе своих персонажей, ибо «Василиса» — рассказ действенный, жизненный, ибо в «Василисе» воплощены прогрессивные идейно-художественные устремления Финна, позволяющие ему углублять свои творческие искания.

Герои Финна часто машинально повторяют уже сказанное. Они предпочитают не отвечать собеседнику на вопрос, а говорить о чем-либо другом. Автор старается придать этой привычке, этому «чуждачеству» особый, иногда потаенный смысл. Прием этот у Финна не всегда мотивирован и часто однообразен. Особенно это заметно бывает, когда он пишет на незначительную тему или интересную тему делает незначительной. Когда же он подчиняет приемы жизненной правде, например в «Василисе», он не позволяет им становиться назойливыми, а пользуется ими умеренно (следовательно, они выигрывают в качестве).

Можно было бы еще указать на ряд достоинств и ряд недостатков в произведениях Финна. Но более важны тенденции развития творчества Финна.

Исключительное пристрастие к окраинным темам — а темы эти Финн варьирует по-разному — опасный для писателя путь. Опасен он потому, что писатель может остаться во власти «мелких людей» и «мелких дел», которые перестали быть характерными для советских окраин, но которые автор «Второй ступени» нередко выискивал и неправильно обобщал. Очень заметно стремление К. Финна — главным образом на первых этапах его работы — фиксировать свое художественное внимание не на узловых участках жизни или же находить на этих участках опять-таки окраину. Неслучайно поэтому большее влияние Чехова на него, переkre-

живающееся кое-где («Мой друг») с влиянием Бабеля.

Лучшие произведения Финна последнего времени хороши потому, что писатель понял: нельзя отображать новую жизнь в старом свете, ибо это ведет к реакционности, к буржуазной литературе. Советский художник, пишущий о Беликовых новой формации, об их остатках и остацках, должен показать их обреченность и активную враждебность революции. Советский художник должен рассматривать Беликовых как прошлое, упорно сопротивляющееся настоящему и будущему и побеждаемое настоящим.

Такую идейную позицию и занял Финн в своих последних вещах. Поэтому сильно разнится интеллигент Колокольников («Третья скорость») от интеллигента Воробьева («Большие дни»). Колокольников показан как бесполозный и безвредный мелкий человек, Воробьев же показан как человек, вредящий строительству, хотя формально он — честный работник. Принципиальная разница в подходе к людям, в частности к интеллигентам, которых столь тщательно «выписывает» Константин Финн, совершенно обязательна для советского писателя.

Любопытно, что и манера письма изрядно отличается в «Больших днях» от «Третьей скорости», хотя и в последних вещах Финна нетрудно заметить налет «чеховщины», но ее становится все меньше и меньше. Финн начинает говорить своим голосом. Это связано с наметившимся его отходом от самодовлеющей темы — окраины. Сейчас, даже

продолжая изображать окраину, он находит в ней типичное, существенное. Поэтому повесть «Окраина» выражает идейно-художественный рост писателя. Поэтому рассказ «Василиса» — полнокровное произведение.

Стремление сблизиться с новым материалом, изучить и понять новые человеческие отношения в условиях строительства социализма и классовой борьбы связано у Финна с более реалистическим изображением людей, с большим разнообразием художественных средств. Если в «колхозных портретах» Финн концентрировал внимание на чудаках, на необычных положениях, которые в конце концов угрожали стать однообразными, то в «Василисе» перед нами люди, действия, мысли и чувства которых образно выражают борьбу подлинных страстей, рождение подлинно новых отношений.

Задача Финна, как крепнущего советского писателя, идти дальше по пути «Василисы», поднять пласты новых тем, нового материала и отказаться от вариаций «Второй ступени», от Глюков и Колокольниковых, от вариаций, нашедших место в рассказе «Гитара», где колоритность персонажей снова выражается лишь в чудачествах.

Если Константин Финн критически отнесется к своему прошлому, он сумеет развить те стороны творчества, которые ведут его к социалистической литературе, к созданию образов, еще более полноценных, чем образы «Василисы», «Больших дней» и «Окраины» — произведений, выражающих передовые устремления писателя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1934 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕР.-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Н О В Ы Й М И Р

РЕДАКЦИЯ:

X ГОД
ИЗД.

А. И. Безыменский,
Ф. В. Гладков,
В. В. Григоренко,

И. М. Гронский
(отв. редактор),
Л. М. Леонов,
А. Г. Малышкин,
В. П. Ставский.

X ГОД
ИЗД.

В ВЫШЕДШИХ КНИГАХ журнала „НОВЫЙ МИР“ №№ 1-9
за 1933 г. НАПЕЧАТАНО:

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ:

Ал ТОЛСТОЙ. — Петр I, кн. 2-я. А. С. НОВИКОВ-ПРИВОЙ. — «Орел» в бою. В. ЗАЗУБРИН. — Горы. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Человек меняет кожу. Бор ПИЛЬНЯК. — Камни и корни Г НИКИФОРОВ. — Единство. Вела ИЛЛЕЦ. — Тисса горит, кн. 3-я. Г. СЕРЕБРЯКОВА. — Юность Маркса. Л. ГРОССМАН. — Бархатный диктатор. И. ВВДОКИМОВ. — Архангельск. А. ВОРОНСКИЙ. — Бурса И. СКИЯРОВ. — На разезде. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Львы и солнце МАКС ЗИНГЕР. — Тагам. И СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Ленкорань Вл. ЛИДИН. — Верность. А. БЕЛЫЙ. — Начало века. Л. НИКУЛИН. — Дело Жуковского. К ГОРБУНОВ. — Лень Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — В плену у англичан.

ПЬЕСЫ:

Ал. ТОЛСТОЙ и А. СТАРЧАКОВ. — Патент № 119 Вс. ВИШНЕВСКИЙ. — Оптимистическая трагедия. П. СУХОТИН. — Человеческая комедия. В. КИРШОН. — Суд. К. ТРЕНЕВ. — Опыт.

СТИХИ И ПОЭМЫ:

Н. НЕЗЛОБИН. Ник. АСЕЕВ. П. ОРЕШИН. В. КАМЕНОКИЙ. Павел ВАСИЛЬЕВ. Влад. НАРБУТ. Ник. РЫЛЕНКОВ. Г. САННИКОВ.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

А. ЛУНАЧАРСКИЙ. К. РАДЕК. И. М. ГРОНСКИЙ. В. БОГДАНОВ - БЕРЕЗОВСКИЙ. А. БЕЛЫЙ. Б. КОВАЛЕНКО. А. СЕЛИВАНОВСКИЙ. А. СТАРЧАКОВ. А. ГВОЗДЕВ. И. НУСИНОВ. Е. БРАУДО. А. ВИНОГРАДОВ. В. Е. ЛЬВОВ. Проф. НЕМЕНОВ. В. ВАСИЛЕНКО. В. ЗАРЗАР. Л. ВАРИШАВСКИЙ. Е. ГНЕДИН. Н. ПИКСАНОВ. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Д. ГОРБОВ. М. ПОЛЯКОВА. Н. ВОГОСЛОВСКИЙ. Инн. ОКЕНОВА. П. РОЖКОВ. К. ЛОКО. Л. НЕКОНА. Е. ВИХРЕВ. А. ЭФРОС. П. ШИРЯЕВ. Н. ШКЛЯР Викториа ПОПОВ. Р. ФАТУЕВ Д. ФИБИХ.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

ЖЕЛАЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ журналом «НОВЫЙ МИР»
с первой книги должны **ПОСПЕШИТЬ ПОДПИСКОЙ.**

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 1934 год:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
30.—	22.50	15.—	7.50	2.50

Цена отдельной книги — 2 руб. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Всеми почтовыми отделениями СОЮЗА,
ОРГАНИЗАТОРАМИ ПОДПИСКИ,
ПИСЬМОНОСЦАМИ.

НА ТРАНСПОРТЕ подписка принимается
уполномоченными „ГУДКА“.

Главн. контора: Москва, 6, Пушкинская пл., изд-во „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“.